

Интерпретация как фундаментальная операция познания

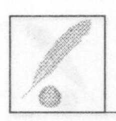
Л. А. МИКЕШИНА



1. ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Интерпретативная деятельность человека неотъемлема от его бытия, которое всегда предстает как истолкованное каким-либо образом. Объективная потребность в истолковании вызвана не только различными позициями, «перспективами» в отношении субъекта к миру, но и бесконечной изменчивостью самого мира. Для понимания природы интерпретативной деятельности значимо то, что человек выходит к миру не непосредственно, а через знаковые, в особенности языковые, объективации – в целом через «символические универсумы», «чеканящие бытие» (Э. Кассирер), задающие предметные смыслы при осуществлении не только познания, но любого вида деятельности.

Интерпретация в естественных науках. Посвящая интерпретации отдельную главу в фундаментальном исследовании «Человеческое познание, его сфера и границы», Б. Рассел подчеркивал, что к вопросу об интерпрета-



ции незаслуженно относились с пренебрежением. Все кажется определенным, бесспорно истинным, пока мы остаемся в области математических формул; но когда возникает необходимость интерпретировать их, то обнаруживается иллюзорность определенности, точности той или иной науки. Требуется специальное исследование природы интерпретации. Для Рассела интерпретация (эмпирическая или логическая) состоит в нахождении наиболее точного, определенного значения или системы значений для того или иного утверждения. В современных физико-математических дисциплинах интерпретация в широком смысле может быть определена как установление системы объектов, составляющих предметную область значений терминов исследуемой теории. Она предстает в качестве логической процедуры выявления денотатов абстрактных терминов, их «физического смысла». Один из распространенных случаев интерпретации – содержательное представление исходной абстрактной теории в предметной области другой, более конкретной, чьи эмпирические смыслы установлены. Такая интерпретация занимает центральное место в дедуктивных науках, теории которых строятся с помощью аксиоматического, генетического или гипотетико-дедуктивного методов[1]. Дальнейшее развитие и усложнение проблема интерпретации получила в теории относительности и в квантовой механике, что нашло отражение, например, в продолжающейся дискуссии о парадоксе Эйнштейна–Подольского–Розена, от понимания которого зависит истолкование квантовой механики.

В другой области – программе искусственного интеллекта (ИИ) во второй половине 20 века – теоретики вышли на проблему интерпретации как на фундаментальную составляющую эпистемологии, теории значения и языка. Известны, в частности, исследования американских специалистов Т. Винограда и Ф. Флореса, которые стремились преодолеть стандартную теорию ИИ, опирающуюся на традиционную эпистемологию и методологию. Высоко оценивая значимость интерпретации, они выявили ее бытийную природу и универсально-синтетическую сущность, ее особую атрибутивно-имманентную роль в познавательной деятельности. При этом в основу нового подхода ученые положили герменевтические идеи М. Хайдеггера и Х.-Г. Гада-

[1] Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. Киев, 1997. С. 252–259; см. также: Carnap R. Foundations of Logic and Mathematics. Chicago, 1939 (здесь дается анализ интерпретации как семантической процедуры), а также работы Н. Кемпбелла (словарь, связывающий теоретические термины и термины наблюдения), Г. Маргенау и Р. Карнапа (о правилах соответствия), Ф. Нортропа (об эпистемических корреляциях как специальном виде интерпретативных утверждений).



мера, которые переосмыслили герменевтическую идею интерпретации, вывели ее за пределы анализа текстов в сферу фундаментальных основ бытия и познания человека понимающего[2].

Интерпретация в гуманитарных науках. Все богатство, разнообразие и специфика интерпретации как базовой операции в полной мере проявляются в гуманитарных науках. Так, конкретные логико-методологические особенности интерпретации раскрывает К. Гемпель при исследовании функции общих законов в истории в связи с более широкой проблемой объяснения и понимания. Интерпретации исторических событий представляют собой подведение изучаемых явлений или под научное объяснение, или под некоторую общую идею, недоступную эмпирической проверке. В первом случае интерпретация является объяснением посредством универсальных гипотез; во втором случае она, по существу, выступает псевдообъяснением, обращенным к эмоциям, зрительным ассоциациям, не углубляющим, собственно теоретическое понимание события. Особая проблема, рассматриваемая Гемпелем, – это интерпретация теории как аксиоматизированной системы, требующей эмпирической экспликации теоретических терминов с помощью формальных правил дедуктивной логики[3].

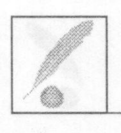
Проблему интерпретации в сфере социологии исследовал М. Вебер, сочетая ее с герменевтическими понятиями истолкования, интерпретирующего понимания, интеллектуальной интерпретации, вчувствования, существенно углубляя понимание проблемы в связи с введением понятий целерациональности и ценности. Его концепция «понимающей социологии» тесно связана также с особым типом интерпретации – *поведения* и *действия* человека, – феномена, отличного от текстов, языковых сущностей вообще. Вебер осуществил тонкое различение разных видов и форм интерпретации; в частности, толкования лингвистического смысла текста и толкования его духовного содержания, историческое толкование и толкование как ценностный анализ. Как основатель «понимающей социологии», он разработал методологию на базе определенной концепции интерпретации и новых понятий «идеального типа» и «целерационального действия»[4]. Она стала базовой в методологии социального познания и культуры, что в целом оказало существенное влияние на развитие этих областей социального знания.

---

[2] Winograd T., Flores F. Understending Computers and Cognition. New Jersey, 1987. P. 27–29.

[3] Гемпель К. Г. Логика объяснения. М., 1998. С. 28, 161.

[4] Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Культурология. XX век. Антология. С. 48–49; он же. Основные социологические понятия // Избранные произведения. М., 1990. С. 603–604.



Общеметодологические параметры и особенности интерпретации исследовались также на стыке гуманитарного знания и герменевтики в направлении выяснения ее канонов, обоснованности и неопределенности, соотношения с критикой и реконструкцией. Итальянский ученый Э. Бетти, известный работами по общей теории герменевтики, а также герменевтическим манифестом, разрабатывал герменевтику, в отличие от Гадамера, преимущественно в качестве методологии понимания и интерпретации, трактуя последние как эпистемологические процедуры. Один из его последователей – современный американский литературовед Э. Д. Хирш – развивая теорию обоснования интерпретации, опирался на работы лингвистов, представителей герменевтики и философов науки и стремился найти и реализовать методы «строго» научного обоснования интерпретации[5]. По-видимому, для исследования природы интерпретации должны быть учтены обе когнитивные практики, представленные в герменевтике и методологии гуманитарного знания – экзистенциально-онтологическая Хайдеггера–Гадамера и методологическая Бетти–Хирша, которые в определенном смысле могут рассматриваться как взаимодополнительные.

В когнитивных науках, исследующих феномен знания в аспектах его получения, хранения и переработки, интерпретация понимается в качестве процесса, результата и установки в их единстве и одновременности. Интерпретативные процедуры опираются на знания о свойствах речи, о человеческом языке вообще, на локальные знания контекста и ситуации, на глобальные знания конвенций, правил общения и фактов, выходящих за пределы языка и общения. Для этой операции существенны личностные и межличностные аспекты: взаимодействие между автором и интерпретатором, между различными интерпретаторами одного текста, а также между намерениями и гипотезами о намерениях автора и интерпретатора[6].

Процедура интерпретации рассматривается как базовая в этнометодологии, этносоциологии и этнопсихологии. Поскольку коммуникация между людьми содержит больший объем значимой информации, чем ее словесное выражение – ибо в ней необходимо присутствуют неявное, фоновое знание, скрытые смыслы и значения, подразумеваемые участниками общения, то требуется специальное истолкование и интерпретация. Американский исследователь Г. Гарфинкель представил этнометодологию как общую методологию социальных наук, где интерпретация рассматривается в качестве ее универсального метода, а социальная реальность – как продукт интерпретацион-

---

[5] Hirsch E. D. The Aims of Interpretation. Chicago, L., 1972.

[6] Демьянков В. З. Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование. М., 1994; Cognitive Science. An Introduction. Cambridge (Mass.), L., 1987.



ной деятельности, использующей схемы обыденного сознания и опыта[7]. Интерпретация является основным методом и в «интерпретативной антропологии», где, в частности, в поисках «интерпретативной теории культуры» американский ученый К. Гирц полагал, что анализировать культуру должна не экспериментальная наука, занятая выявлением законов, а теория, сочетающая как собственно методологический, так и экзистенциально-герменевтический подходы при осуществлении интерпретации[8].

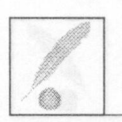
2. Философское понимание интерпретации

Обращение к опыту философии и методологии науки убеждает в том, что интерпретация не может быть представлена только как логико-методологическая процедура; она существует как многоликий феномен на различных уровнях бытия субъекта. Соответственно, философское рассмотрение интерпретации предполагает выявление онтологических предпосылок этого феномена, понимание природы интерпретации в различных философских концепциях, особенно в герменевтике и аналитической философии. На онтологические аспекты интерпретации обращал внимание еще Ф. Ницше, для которого человек «полагает перспективу», т.е. конструирует мир, меряет его своей силой, формирует, оценивает; само разумное мышление предстает как «интерпретирование по схеме, от которой мы не можем освободиться», и ценность мира оказывается укорененной в нашей интерпретации. Размышляя об этом в «Воле к власти», он предлагает объяснения данному феномену, в частности утверждая, что всегда остается «зазор» между тем, что есть мир, бесконечно изменчивый, становящийся, и устойчивыми, «понятными» схемами и логикой. Всегда возможно предложить новые смыслы, «перспективы» и способы «разместить феномены по определенным категориям», т.е. не только «схемы» действительности, с которыми работает философ, но и сама действительность открыты для бесконечных интерпретаций. «Перспективизм», способность к интерпретации, обосновывается им как неотъемлемое, фундаментальное свойство бытия субъекта, его сознания. Для него «существует только перспективное зрение, только перспективное «познавание», поэтому интерпретация принимается как фундаментальный момент познания, отношения к жизни и миру[9].

[7] Garfinkel H. Studies in Ethnometodology. Englwood, Cliffs, 1967.

[8] Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004; Geertz C. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1973.

[9] Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 491; он же. Воля к власти. М., 1994. С. 224, 241.



В контексте феноменологической философии принципиально важным для понимания укорененности интерпретации в бытии является положение Э. Гуссерля о том, что «сознание (переживание) и реальное бытие – это отнюдь не одинаково устроенные виды бытия, которые мирно жили бы один подле другого, порой «сопрягаясь», порой «сплетаясь» друг с другом. …Между сознанием и реальностью поистине зияет пропасть смысла»[10]. Он настаивает на том, что любая реальность обретает для нас существование через «наделение смыслом», а любые реальные единства – это «единства смысла», которые предполагают существование наделяющего смыслом сознания. В более поздних работах, как известно, наряду с абсолютным, трансцендентальным сознанием он будет размышлять и об «историческом горизонте», о человеческих смыслах науки, о «жизненном мире», что существенно изменит представления об источниках задаваемых смыслов. Однако очевидно, что смыслополагание и расшифровка смыслов, составляющие суть интерпретационной деятельности, рассматриваются Гуссерлем в сфере такого типа бытия, как сознание, а реальность – другой тип бытия – существует для нас через наделение смыслом. Абсолютным здесь является то, что человеческое бытие есть бытие осознанное, всегда осмысленное, проинтерпретированное.

Философская герменевтика как учение об интерпретации. Наиболее обстоятельно интерпретация, как известно, разрабатывалась в герменевтике, начиная с правил и приемов истолкования текстов, методологии наук о духе, и завершая представлениями понимания и интерпретации как фундаментальных способов человеческого бытия. По Г. Г. Шпету, который одним из первых дал исторический обзор герменевтики, проблема понимания предстает как проблема рационализма. На его основе должны быть выявлены место, роль и значение всякой разумно-объективной интерпретации. Вопросы о видах интерпретации, в том числе исторической и психологической, также тесно связаны с этой проблемой. В. Дильтей, объединяя общие принципы герменевтики и разрабатывая методологию исторического познания и наук о культуре, показал, что связь переживания и понимания, лежащая в основе наук о духе, не может в полной мере обеспечить объективность, поэтому необходимо обратиться к искусственным и планомерным приемам. Именно такое планомерное понимание «длительно запечатленных жизнеобнаружений» он называл истолкованием или интерпретацией.

[10] Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1994. С. 10–11.



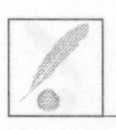
Онтологический «поворот» Хайдеггера в трактовке интерпретации переводит ее рассмотрение на экзистенциальный уровень, где само понимание определяется как способ бытия, Dasein. Истолкование формирует понимание, которое становится «не чем иным, но самим собою», «усваивает себе свое понятое»[11]. Онтологический «поворот» вывел герменевтическую интерпретацию за пределы анализа текстов в сферу «экзистенциальной предструктуры понимания». Были выделены первичное – дорефлексивное – понимание как сам способ бытия человека, тот горизонт предпонимания, от которого никогда нельзя освободиться, и вторичное понимание, возникающее на рефлексивном уровне как философская или филологическая интерпретация, укорененная в первичном предпонимании. Сам Хайдеггер дал блестящие образцы интерпретации филологических и философских текстов Анаксимандра, Декарта, Канта и ряда других мыслителей и авторов художественных текстов, руководствуясь, в частности, принципом «понимать автора лучше, чем он понимал себя сам».

Для Гадамера понимание и интерпретация осуществляются в языке как в универсальной среде, в которой отложились «схематизмы опыта». Объективная необходимость интерпретации языковых и символических объектов, текстов коренится в их неполноте, незавершенности и многозначности, в существовании скрытых довербальных и дорефлексивных феноменов, неявных идей и предрассудков. Как подчеркивает Гадамер, «интерпретатор не в состоянии полностью воплотить идеал собственного неучастия»[12], поэтому в интерпретацию вместе с историческим мышлением входит и его «горизонт истолкования», включаются принадлежащие ему понятия и представления. Одна из традиционно обсуждаемых философских проблем интерпретации – временная диспозиция текста (автора) и интерпретатора, или проблема оценки плодотворности истолкования в связи с временным *отстоянием*. Временная дистанция между текстом и интерпретатором рассматривается Гадамером не как помеха, но как преимущество позиции, позволяющей задать новые смыслы сообщениям автора, проявиться подлинному смыслу события. Но если речь идет о подлинном смысле *текста*, то его проявление не завершается, – это бесконечный процесс во времени и культуре.

Возможность множества интерпретаций ставит проблему истины, «правильности», гипотетичности интерпретации. Обнаруживается, что вопрос об истине не является более вопросом о методе, но становится вопросом о проявлении бытия для понимающего бытия. Отмечая

[11] Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 148.

[12] Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 461.



этот момент, П. Рикёр, чьи идеи лежат в русле онтологического «поворота», предлагает такую трактовку интерпретации, которая соединяет истину и метод и реализует единство семантического, рефлексивного и экзистенциального планов интерпретации. Он полагал, что множественность и даже конфликт интерпретаций являются не недостатком, а достоинством понимания, выражающего суть интерпретации, и можно говорить о текстуальной полисемии по аналогии с лексической[13].

Концепция «радикальной интерпретации» в аналитической философии. Иной опыт и иная традиция рассмотрения интерпретации сложились в одном из ведущих сегодня направлений – в аналитической философии, в частности в ее лингвистической версии, для которой, по словам Д. Дэвидсона, за общими особенностями языка стоят общие «параметры» и свойства реальности[14]. Именно эти онтологические идеи служат предпосылкой и основанием его теории интерпретации, являющейся наиболее разработанной и аргументированной в аналитической философии сегодня. Он существенно расширил понимание метафизических, онтологических предпосылок интерпретации, сделав предметом внимания собственно проблемы бытия субъекта. Реальность – не только объективная, но и субъективная – формируется и существует с помощью языка и интерпретации. Сознание не носит личного характера, основой познания являются интерсубъективность, наша коммуникация с другими людьми и объектами, а также ситуации и события, интегрированные в один и тот же «контекст значения», с необходимостью предполагающий интерпретативную деятельность. Теория Дэвидсона получила название «радикальной интерпретации». Как и У. Куайн, он исходил из того, что понимание отдельного предложения связано со способностью понимания всего языка как единой концептуальной системы; интерпретируя фразу говорящего, мы должны проинтерпретировать всю систему. Принцип доверия, или «максима интерпретативной благожелательности» (charity), должен лежать в основе понимания и интерпретации, обеспечивая возможность коммуникации[15]. Метафизическое обоснование теории радикальной интерпретации включает как важнейшую составляющую семантическую теорию истины, по-новому развиваемую Дэвидсоном в аспектах соотношения истины и значения, истины

---

[13] Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002. С. 37–41.

[14] Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., 2003.

[15] Davidson D. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford, 1984. P. 195–197.

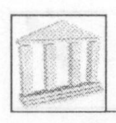


и факта, метода истины в метафизике и других. Поскольку мнение и значение не могут быть реконструированы из речевого поведения единственным способом, то интерпретация всегда будет неопределенной. Однако это не должно рассматриваться как недостаток интерпретации, – это ее неотъемлемая особенность, связанная со свойствами самого языка, в качестве концептуальной схемы влияющего на результаты интерпретации.

Итоги. Проблема интерпретации, возрастание значения которой было отмечено за рубежом в связи с лингвистическим и даже «интерпретативным поворотом»[16], не может рассматриваться как дань герменевтической моде, как частный метод или произвольная, нестрогая процедура. Признание фундаментальности интерпретативной деятельности субъекта понимающего, интерпретирующего, познающего – одна из основных черт современной парадигмы познания. Она должна по-прежнему разрабатываться как в традиционном логико-методологическом, аналитическом ключе, так и в собственно философском контексте – как фундаментальный атрибут познания и деятельности субъекта, его бытия среди людей, в языке и культуре. Еще более значимой проблема интерпретации становится в связи с изменением природы философии в наше время. Ю. Хабермас обращает внимание на то, что «философия, даже если она устраняется от проблематичной роли указчика места и судьи, все-таки может – и должна – сохранить за собой притязание на разумность, выполняя более скромные функции местоблюстителя и интерпретатора»[17].

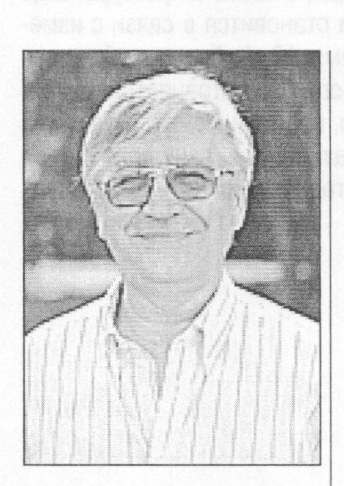
[16] Rabinow P., Sullivan W. (Eds.) Interpretative Social Science. Berkeley, 1979

[17] Хабермас Ю. Философия как «местоблюститель» и «интерпретатор» // Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2000. С. 12.



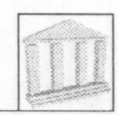
Нанотехнологии. Эпистемологические проблемы теоретического исследования в современной технонауке (Статья 2)

В. Г. ГОРОХОВ



МАТЕРИЯ – ФОРМА – МАТЕРИАЛ

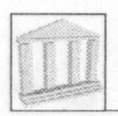
С функциональной точки зрения безразлично, каким образом материализованы (или из какого материала изготовлены) элементы в той или иной системе, в частности в наносистеме. Однако функции обязательно должны быть отнесены к материальным элементам, что, в известном смысле, детерминирует способ расчленения данной сложной системы. В истории философии это представление наиболее полно было разработано в аристотелевской теории материи (бесструктурной, бесформенной субстанции) и формы, оформляющей материю в конкретную вещь, предмет. Аристотель в «Метафизике» на поставленный им самим же вопрос, что значит делать отдельную вещь из имеющегося в качестве материала субстрата, отвечает: «Реализовывать эту форму в другом (т.е. в субстрате)». Например, делать медь круглой – значит реализовывать



эту форму в материале: «Человек делает медный шар... так, что из этого вот (материала), именно – из меди, он делает вот это – именно шар... он вносит форму в этот материал», и в результате получается медный шар, т.е. фигура, всюду одинаково отстоящая от центра (1033a12-1034b12). Человек «создает и производит из этой вот основы вещь с таким-то качеством», а «целое, это уже – такая-то форма в этих вот костях и мясе (1033b13-1034a10)», т.е. в материале[1]. Только для Аристотеля форма, как, впрочем, и материя, заданы до всякой вещи. В «Физике» он продолжает эту тему: «Как относится медь к статуе, дерево к ложу или материя и неоформленное вещество до принятия формы, так и лежащая в основе природа относится к сущности, определенному и существующему предмету» (191a). Человек производит «переоформление», и именно таким образом статуя (отдельная вещь) возникает из меди (материала). Далее Аристотель подробно обсуждает понятие «место»: «Физику необходимо знать и относительно места, существует оно или нет, и как существует, и что оно такое» (186a). Эта проблема возникает у Аристотеля в связи с главной проблемой в его физике – определением причины движения, понимаемого как механическое перемещение (изменение места). «Что место есть нечто, это ясно из взаимной перестановки вещей: где сейчас находится вода, там после ее выхода, как из сосуда, снова находится воздух, а иногда то же самое место занимает другое тело... Ясно, что было место как нечто (пространство) отличное от них обоих, в которое и из которого они переходили» (208b). Таким образом, место, по Аристотелю, представляет собой нечто, существующее наряду с телами, и всякое чувственно воспринимаемое тело находится в месте. Место – это граница в ограничиваемом теле, это граница каждого. Оно не является ни формой, ни материей, т.к. «последние неотделимы от предмета, а для места это возможно» (209b). «По-видимому, место есть нечто вроде сосуда, так как сосуд есть переносимое место, сам же он не имеет ничего общего с содержащимся в нем предметом» (209b). Далее он обсуждает вопрос о том, что означает выражение

---

[1] Аристотель. Метафизика. М.-Л., 1934. Таким образом, первоначально для Аристотеля материя и форма – это «просто материал и оформление: бронзовая сфера – стандартный пример для Аристотеля – составлена из определенного материала, а именно из бронзы, и определенного оформления, а именно сферичности. (Конечно, бронза и сферичность не являются в буквальном смысле *частями* бронзовой сферы, и единство бронзовой сферы не подобно единству, так сказать, стола, который составлен из крышки и четырех ножек)». Позже, однако, отношение материи и формы имеет у него зачастую мало общего с соотношением материала и его оформления» (Barnes J. Metaphysics // The Cambridge Comparison to Aristotle. Cambridge University Press, 1995. P. 97).



«одно содержится в другом»: во-первых, как палец на руке и вообще часть в целом; во-вторых, как целое в своих частях (не существует целого помимо частей); в-третьих, как род в виде; в-четвертых, как форма в материи, в-пятых, как вообще в цели (а это есть то, «ради чего») и т.д.; а в своем собственном значении – как в сосуде и вообще в каком-либо месте[2].

Эта проблема заново формулируется в нанотехнологии, например при исследовании нанотрубок: углеродную нанотрубку можно представить как лист графита, свернутый в цилиндр. Таким образом, однослойная нанотрубка представляет собой, с одной стороны, квазиодномерную структуру, которая может служить, например, проволокой, а с другой – «границу в ограничиваемом теле», «место», приобретающее различную структуру (кресельную, зигзагообразную или хиральную – см. рис. 1) в зависимости от способа изготовления.

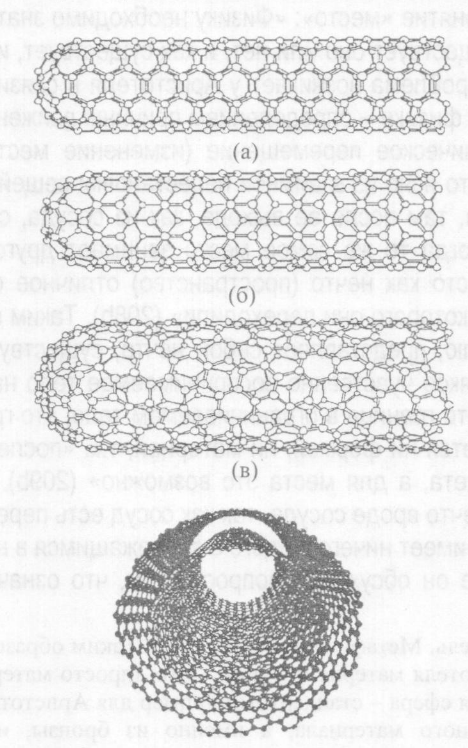
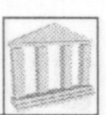


Рис. 1. Примеры некоторых из возможных структур углеродных нанотрубок, зависящих от способа сворачивания графитового листа: (а) – кресельная структура, (б) – зигзагообразная структура, (в) – хиральная структура. Внизу показана схема вложенных нанотрубок, когда одна трубка находится внутри другой.

[2] Аристотель. Физика. М.–Л., 1937.



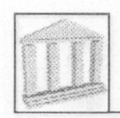
Хотя механизм роста нанотрубок до сих пор неясен, обычно при синтезе получается смесь, состоящая из разных типов трубок с различным характером и величиной электропроводности, т.е. неоформленное вещество приобретает форму. В металлическом состоянии нанотрубки служат прекрасными проводниками, по которым, подобно воде в сосуде в примере Аристотеля, протекает электрический ток: поскольку у них мало дефектов, вызывающих рассеяние электронов, низкое сопротивление и большая теплопроводность (вдвое выше, чем у алмаза), о их проводимость очень высока, и они могут пропускать миллиард ампер на квадратный сантиметр. Большой ток не нагревает трубку так сильно, как, например, медный провод, который расплавляется уже при миллионе ампер на квадратный сантиметр[3]. В данном случае человек использует различный материал (медь или графит) для выполнения одной и той же функции, или же, согласно Аристотелю, реализует форму в том или ином субстрате. Человек именно таким образом и создает из «вот этой» основы (лист графита) вещь (нанопроволока) с определенным качеством (низкое сопротивление и большая теплопроводность), а «целое» – это уже определенная форма (нанотрубка) в данном материале (графит).

В то же самое время нанотрубки могут сами служить субстратом или наполнением для выполнения определенных функций (функциональных элементов); например, для создания транзисторов, являющихся переключающими элементами. При этом функциональные свойства элементов являются свойствами первого порядка, поскольку позволяют включаться в систему для выполнения общей цели, стоящей перед ней и всеми ее элементами. В данном случае речь может идти о малом времени переключения и высокой тактовой частоте у полупроводниковых углеродных нанотрубок, что обеспечивает быстродействие в 1000 раз большее, чем у существующих процессоров[4]. Свойства же второго порядка – это те нежелательные характеристики, которые привносит с собой элемент в систему (как, например, низкая теплопроводность у медного провода). Совокупность свойств первого порядка, рассмотренных обособленно от свойств второго порядка, в теории систем называется функциональным местом элемента. Функциональные места могут быть спроецированы на определенный материал (по-разному наполнены), в результате чего отношения между ними заменяются реальными связями (металлическими нанотрубками в качестве проводников), а сами они превращаются в элементы (переключающие элементы, составленные из полупроводниковых нанотрубок). Таким образом, нанотрубки в различных системах выпол-

---

[3] Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М., 2006. С. 112–117.

[4] Там же. С. 121.



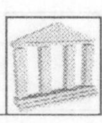
няют разные функции – они многофункциональны. Углеродные нанотрубки очень прочны (модуль Юнга углеродной нанотрубки почти в десять раз больше, чем у стали) и упруги при изгибе (гнется, как соломинка, но не ломается и может распрямиться без повреждений; они примерно в 20 раз прочнее стали). Поэтому они должны оказаться очень хорошим материалом для упрочнения композитов[5]. Теоретические оценки показывают, что при оптимальной доле трубок в материале около 10 объемных процентов его прочность на разрыв должна увеличиться в шесть раз. Поскольку нанотрубки плохо пропускают электромагнитные волны, то их можно применить для экранирования, например, электронных устройств с целью защиты от оружия, генерирующего электромагнитные импульсы, могущие вывести из строя компьютерные системы управления стратегического назначения. Другим возможным использованием нанотрубок является хранение в них водорода, что может быть использовано при конструировании топливных элементов как источников электрической энергии в будущих автомобилях[6]. В дальнейшем водород может использоваться для получения энергии в нескольких вариантах, однако наиболее перспективным в настоящее время считается получение электрической энергии в топливных элементах, с последующим ее направлением напрямую в электрический привод – «мотор-колесо».

Математика – природа – техника

Неожиданно актуально выглядят сегодня некоторые идеи неоплатоников, попытавшихся объединить несоединимое – платоновское учение об идеях с философией природы Аристотеля – с помощью

[5] Композит (*composit*) – это любой материал, сделанный из более чем одной составляющей и обладающий свойствами всех своих составляющих. Современные композиционные материалы обычно состоят из двух компонентов: волокна и матрицы, т.е. из непрерывной фазы. Композиционные материалы, усиленные волокнами (волокниты), имеют два важных достоинства – они прочные и легкие. В настоящее время проводятся комплексные исследования служебных характеристик композиционных материалов, которые теперь рассматриваются как *сложные системы* (в частности, наноструктуры). В Исследовательском центре г. Карлсруэ ведутся работы по созданию (с помощью целенаправленного изменения наноструктур материалов и их слоев) так называемых нанокомпозитов, используемых в микросистемотехнике, биологии, медицине и самой нанотехнологии, в аэрокосмической индустрии, автомобиле- и судостроении и т.д. (См.: http://spamfb6x1.land.ru/, http://www.pslc.ws/russian/composit.htm).

[6] Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. С. 118–120, 125, 121.



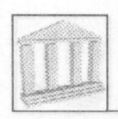
учения об эманации. В то время как у Платона идеи являются самостоятельными и существуют в высшем мире независимо от вещей, для Аристотеля они являются сущностью вещей, находящейся в самих вещах. Плотин над Мировым умом с его многообразием идей расположил Единое, а под миром идей – подчиненное ему многообразие вещей и, наконец, материю. Этим ступеням соответствуют и степени совершенства, уменьшающиеся при движении вниз. Мир образовался в результате эманации первоначально Единого – потенции всех вещей, – подобного Солнцу, излучающему тепло. Тем самым неоплатонизм с помощью понятия эманации соединил мир идей с реальным миром природных вещей. Отсюда вытекает все, что касается места и роли математики и ее соотношения с физикой. Этой проблеме посвящены комментарии к «Началам» Евклида Прокла, который считал, что математическое бытие не принадлежит «ни к самым первым, находящимся в сущем родам, ни к низшим и – в отличие от простого бытия – разделенным», а занимает «среднюю область между не имеющими частей, простыми, несоставными и неделимыми реальностями и реальностями, состоящими из частей и находящимися во всевозможных сочетаниях и разнообразных разделениях». Наличие в рациональных построениях геометрии того, что «вечно тождественно, неизменно и неопровержимо, показывает, что она стоит выше так называемых вещественных видов»[7].

Прокл критикует Аристотелевское представление о математических сущностях как о производных от чувственно воспринимаемых вещей путем их отвлечения, или путем сведения частностей в единое обобщенное рациональное построение. Он склоняется к интерпретации математических сущностей Платоном как обладающих самостоятельной реальностью, существующих еще до самих вещей. Они получаются из Души, придающей совершенство несовершенному и точность неточному, и не могут быть абстрагированы из вещественных фигур, которые, по определению, являются неточными и несовершенными. Именно Душа порождает математические виды и рациональные построения, которые существуют в ней первично, а затем уже порождают чувственно воспринимаемые предметы. «Следовательно, доказательные науки отнюдь не должны обращать внимание на чувственно воспринимаемое – позднее возникшее и более неясное, а должны рассматривать постижимое разумом и более совершенное, нежели ведомое ощущению и мнению»[8]. Тогда математика – это наука о рациональных построениях разума, а изучение ее сво-

---

[7] Прокл Диадох. Комментарий к Первой книге «Начал» Евклида. Введение. М., 1994. С. 43–59.

[8] Там же. С. 65.



дится к припоминанию вечных рациональных построений, которые уже находятся в душе. Таким образом, математика, соприкасаясь сверху с постижением первых начал, со знанием, существующим в чистой мысли, спускаясь вниз доходит до чувственно воспринимаемых результатов.

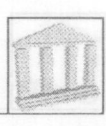
Прокл соотносит математику с реальным Космосом. Платоновы пять основополагающих фигур, являющиеся основанием пяти тел-элементов, из которых состоит все в этом мире, называются у Прокла «космическими фигурами». Он, как и Евклид в рамках своей геометрии, вписывает пять простых тел в представляемый в виде шара Космос, поскольку шарообразная фигура является тем, что обнимает собой все находящиеся в мире фигуры: «Поэтому также Тимей сделал Космос в целом шаром, организовал, однако, его с помощью пяти фигур, которые единственно являются равносторонними и равноугольными, пять его составных частей, причем все их он вписал одну в другую и в шар»[9]. Такое соотношение математического и физического, разумеется, выглядит совершенно иначе, чем это представлено в классической физике и математике.

Основываясь на учении Прокла, Кеплер в своей работе «Гармония мира» описывает Вселенную как построенную с помощью шести высших фигур, а именно из шара и пяти правильных тел[10]. Для человека эпохи Ренессанса это строение мира представлялось божественным откровением, божественным планом, проектом устроения Космоса. Кеплер верил, что нашел решение упорядочения пяти известных тогда планет: додекаэдру соответствует земная орбита, тетраэдру – орбита Марса, кубу – Сатурна (точнее, в сферу Сатурна вписан куб, а в него вписана сфера Юпитера), икосаэдру – Венеры, а октаэдру – Меркурия[11]. Однако существует кардинальное различие в понимании отношения между математикой и физикой у Кеплера и Прокла. В то время как для Кеплера математика является вторичной именно в силу того, что она служит подсобным средством для обсчета физических явлений, у Прокла математика, в противоположность физике, рассматривается как ее причина, ее онтологическая предпосылка, поскольку для него физические вещественные связи являются лишь отражением математических отношений.

[9] Schmitz M. Euklids Geometrie und ihre mathematiktheoretische Grundlegung in der neoplatonischen Philosophie des Proklos. Würzburg, 1997. S. 171.

[10] Freiesleben H. Kepler als Forscher. Darmstadt, 1970. S. 57.

[11] После открытия новых планет солнечной системы и более точного расчета их орбит это учение о пяти платоновских телах потеряло свое значение.

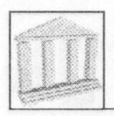


Таким образом, Прокл, в соответствии с восходящим к Плотину учением об эманации, мыслит физический мир как следствие математики: она, так сказать, сверху упорядочивает этот мир. При этом Космосу придается шаровидность не из-за того, что это соответствует нашим чувственным восприятиям и повседневному опыту (или эксперименту), а потому, что это – исходное и простейшее тело вообще, которому соответствует определенная математическая фигура, существовавшая еще до возникновения всякого физического тела, – шар. Тогда математические схемы – это своего рода априорные схемы, в соответствии с которыми построен мир, а не средство для расчетов[12]. Для Кеплера астрономия и физика тесно связаны между собой, однако иным способом. Огромная заслуга Кеплера состоит в том, что он на место формальной схемы, лежащей в основе всей существовавшей до него астрономии, положил динамическую модель, в которой вместо математического правила описывался природный закон, геометрическое описание движения планет выводилось из данных наблюдения за реальными планетными движениями. Тем самым не математическая схема, а физическая реальность становится основой небесной механики.

В этом контексте весьма интересен приводимый Ч. Пулом и Ф. Оуэнсом пример из нанотехнологии, связанный с открытием молекулы, «похожей на футбольный мяч и состоящей из 60 атомов углерода» (см. рис. 2). Это открытие явилось результатом исследований природы материи в Космосе, а именно «поглощения света межзвездной пылью, т.е. малыми частицами вещества, находящимися в межзвездном и межгалактическом пространстве… Это поглощение приписывалось рассеянию света на гипотетически малых частицах графита, находящихся в межзвездной среде… Дональд Хаффман из Университета Аризоны и Волфганг Крачмер из Института Ядерной Физики имени Макса Планка не были удовлетворены этим объяснением». Они продолжили исследования и с помощью электрической дуги между двумя графическими электродами в атмосфере гелия создали мельчайшие частицы сажи, которые осадили на пластинку из кварцевого стекла и стали измерять колебательные частоты молекул с помощью спектроскопии. «Хотя похожую на футбольный мяч молекулу из 60 атомов углерода с химической формулой C_{60} химики-теоретики предсказали уже много лет назад, никаких доказательств ее существования обнаружено не было… К удивлению Хаффмана и Крачмера, четыре наблюдаемые полосы поглощения осажденного «графитового» вещества хорошо соответствовали предсказанным для молекулы C_{60}». Для подтверждения были проведены и другие

---

[12] Schmitz M. Указ. соч. S. 176–177.



эксперименты иными методами, что дало твердое доказательство существования новой молекулы, состоящей из 60 атомов углерода, связанных в виде определенной геометрической фигуры – сферы. Результаты были опубликованы в 1990 году в журнале *Nature*. Эта молекула получила название фуллерена C_{60} по имени архитектора Р. Бакминстера Фуллера, сконструировавшего геодезический свод, напоминавший структуру C_{60}. Другими учеными также были проведены эксперименты, например, с целью получения малых кластеров атомов при помощи высокоэнергетических лазерных импульсов, что, как считалось, имитировало условия во внешних слоях звезд – красных гигантов. «Хотя данные этого эксперимента не дают информации о структуре углеродного кластера, авторы предположили, что молекула может быть сферической, и построили ее геодезическую модель»[13]. Так что же в данном случае было первичным – техническая модель геодезического свода, геометрическая фигура (она имеет 12 пентагональных (пятиугольных) и 20 гексагональных (шестиугольных) симметрично расположенных граней, образующих форму, близкую к шару – рис. 2), данные эксперимента или наблюдения астрономических объектов? Никто, в сущности, не видел эту молекулу ни до, ни после проведения подтверждающих экспериментов; видели лишь спектральные линии разного цвета и показания приборов (например, масс-спектрометра, предназначенного для измерения массы молекул) и интерпретировали их. Геодезический свод Фуллера был лишь отправным образом для математической модели, да и сам он был, видимо, ее конструктивной реализацией. Таким образом, получается, что исходной является математическая модель в духе Платона и Прокла, а не Аристотеля и Кеплера.

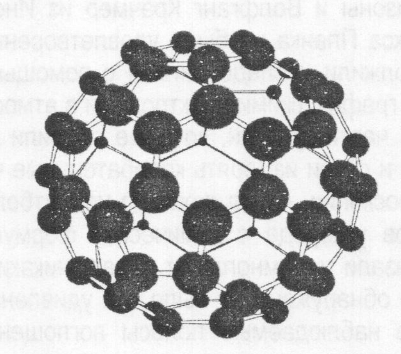


Рис. 2. Структура молекулы фуллерена C_{60}

---

[13] Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. С. 106–108.



Сами эти шарообразные молекулы, как утверждают нанотехнологи, могут соединяться друг с другом в твердом теле, образуя гранецентрированную кристаллическую решетку (ГКЦ), т.е. опять же особую геометрическую фигуру (см. рис. 3). Далее на основе этой абстрактной геометрической модели строятся некоторые предположения и осуществляются определенные технические действия: предполагается, что в ГКЦ-структуре фуллеренов 26% объема элементарной ячейки пустует, так что щелочные атомы могут легко разместиться в пустотах между сферическими молекулами вещества; далее кристаллы C_{60} и металлический калий помещают в трубку, из которой откачивается воздух, и нагревают до 400^0, после чего пары калия диффундируют в пустоты, а кристаллы C_{60}, бывшие до этого диэлектриком, при легировании щелочными атомами становятся проводником. «В 1991 году, когда А.Ф. Жебард с группой в Bell Telephone Laboratory залегировал кристалл C_{60} калием по вышеописанной методике и проверил полученное таким способом вещество на сверхпроводимость, то ко всеобщему удивлению были найдены свидетельства перехода в сверхпроводящее состояние при температуре 18 К»[14].

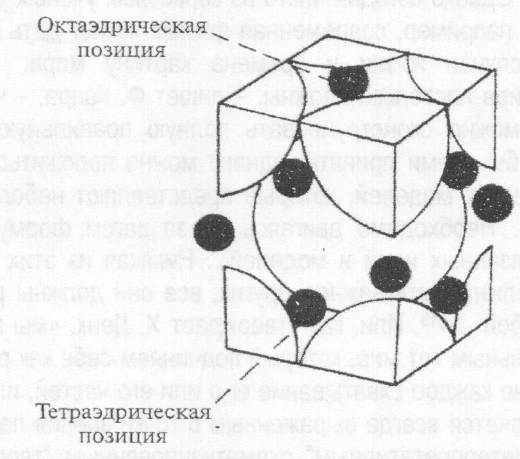


Рис. 3. Элементарная ячейка кристаллической решетки молекулы фуллерена C_{60} (большие шары), легированного щелочными атомами (темные кружки)

Итак, манипуляции с квазиприродным объектом (кристалл C_{60}) показали конструктивность исходной геометрической модели и позволили получить и выявить его новые свойства, не существовавшие до того в природе, а в дальнейшем оперировать с ним для решения различных проектных задач (например, заткнуть этим мячеподобным предметом нанотрубки).

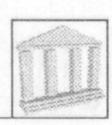
[14] Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. С. 109–110.

Наноонтология как научная картина мира и регулятив технического действия

Все, что мы воспринимаем, не является «действительной реальностью», а лишь явлением или кажимостью. Кант обсуждает именно эту проблематику, когда рассуждает о «вещах в себе», или самих по себе, которые располагаются «за» или «позади» наблюдаемых нами явлений. Именно поэтому для того, что «реально само по себе», следовало бы применять иное понятие действительности, чем то, которое мы используем для обозначения нашей повседневной реальности. В действительности существуют атомы – далее не разложимые частицы и ничто, – должны мы провозгласить вслед за Демокритом, или квантовые точки, проволоки, ямы и т.д. – вслед за современными нанотехнологами. Таким образом, в отличие от открытой нам, обыкновенным людям, повседневной действительности именно научная картина мира выступает в этом случае репрезентантом действительной реальности. В это верили ученые-естествоиспытатели классического периода. Однако сегодня никто из серьезных ученых уже не утверждает, что, например, современная физика может дать нам готовую на все случаи жизни и времена картину мира. «Явления субатомного мира настолько сложны, – пишет Ф. Капра, – что, несомненно, невозможно сконструировать полную правильную теорию, которая была бы всеми принята; однако можно положиться на ряд частично успешных моделей, которые представляют небольшой радиус действия... Необходимо, двигаясь шаг за шагом, формулировать сеть взаимосвязанных идей и моделей... Никакая из этих теорий и моделей не должна быть важнее других; все они должны резонировать между собой ...»[15]. Или, как утверждает Х. Ленк, «мы представляем себе реальным тот мир, который подчиняем себе как реальный: “мир реален”, но каждое схватывание ег,о или его частей, или сущностей в нем, является всегда выраженным с точки зрения перспектив, т.е. является “интерпретативным”, схематизированным, “теоретически пропитанным”...»[16]. Таким образом, мы должны развести социокультурно структурированную реальность, с которой имеет дело нормальный человек в данном обществе, и научную картину мира, создаваемую и навязываемую обществу через систему научного образова-

[15] Capra F. Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. B., München, W., 1982. S. 102–103.

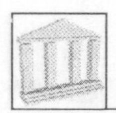
[16] Lenk H. Erfassung der Wirklichkeit. Eine interpretationsrealistische Erkenntnistheorie. Würzburg, 2000; Lenk H. Interpretation und Realität. F/M., 1993; Lenk H. Zu einem methodologischen Interpretationskonstruktionismus // Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie. № 22. 1991 u.a.



ния учеными. Познав ее в школе и скорректировав через средства массовой информации и научно-популярную литературу, мы верим в ее истинность, как древние верили мифам. Об этом очень хорошо написал Т. Кун в своей первой и почти не известной российскому читателю книге «Коперниканская революция»: «Готовность ученого основывать свое объяснение на определенной научной картине мира является указанием на его связь именно с этой картиной мира, является знаком его веры в то, что его картина мира является единственно верной. Такая привязка или такая вера, однако, рискованна, поскольку упрощенное описание и космологическая удовлетворенность ни в коей мере не может гарантировать того, что всегда обозначается как "истина". *История науки пестрит бесконечным числом реликтов представлений, в которые сначала горячо верят, а потом заменяют совершенно новой теорией.* Нет возможности доказать, что какая-либо теория является окончательной. Есть ли в этом риском или нет, можно, однако, утверждать, что *эта привязка к определенной картине мира является общим и, возможно, неустранимым феноменом,* придающим картине мира новую и важную функцию. Картины мира являются универсальными, их следствия не ограничиваются уже известным… Двухшаровый универсум информировал ученого об отношениях солнца и звезд в таких частях мира, как южное полушарие и полярные регионы, которые он никогда не посещал. Дополнительно он информировал его о движении звезд, которые он еще не наблюдал систематически… Это – *новые знания, которые первоначально были получены не из наблюдений, а непосредственно из картины мира…* Это давало Колумбу основание верить, что кругосветное путешествие возможно. Никакие путешествия не были бы предприняты и никакие наблюдения не были бы сделаны, если бы картина мира не указала путь… Путешествие Колумба – это лишь один из примеров продуктивности научной картины мира. *Она, как и теории, ведет ученого в область неизвестного и говорит ему, на что он должен обратить внимание и что он ожидает открыть»*[17].

И с этой точки зрения неважно, как, собственно говоря, выглядит действительная реальность. Важно лишь то, что ученый с ее помощью может правильно спланировать и реализовать свою деятельность и получить желаемые результаты. Это вполне отвечает и устремлениям современной технонауки, в частности нанотехнологии, и интенциям технической деятельности в целом. Еще в начале 20 века российский философ техники П. К. Энгельмейер писал: «Сущность техники заключается не в фактическом выполнении намерения,

[17] Kuhn T. Kopernikanische Revolution. Braunschweig, Wiesbaden, 1981. S. 40–41 (курсив мой. – *В.Г.*).



но в возможности выполнить путем воздействия на материю... Явления природы между собой сцеплены так, что следуют друг за другом лишь в одном направлении... Человек... желал бы, чтобы наступило явление *E*. Он знает такую цепь *A-B-C-D-E*, но не в состоянии своею мускульною силой вызвать к жизни *E, D, C, B*, но ее достаточно, чтобы привести в действие явление *A*. Тогда он вызывает явление *A*, цепь вступает в действие, и запланированное явление *E* автоматически наступает. Именно в этом и состоит сущность техники»[18]. Сегодня мы должны добавить: и сущность технонауки, ибо так все и происходит при так называемой самосборке наноструктур. Сущность данного явления может быть еще не до конца понята и теоретически объяснена, но уже имеющиеся в нанотехнологии представления позволяют найти точку приложения силы, запускающей природную цепь, которая сама собой выстраивается в необходимую упорядоченность. Эти предельно общие представления о наносистемах и наноструктурах, по сути дела, представляют собой некоторую «универсальную» для данного класса исследуемых и проектируемых объектов теоретическую схему: нанокартину мира – наноонтологию, подобно тому как некоторое время назад на передний край науки выдвигалась системная картина мира и системная онтология. Теоретические схемы «имеют две неразрывно связанные между собой стороны: 1) они выступают как особая модель экспериментально-измерительной практики» и, добавим, проект основанного на этой модели технического действия; и 2) одновременно служат системным изображением предмета исследования, выражением сущностной связи исследуемой реальности»[19].

За последние десятилетия в философии науки сформировался своего рода конструктивный реализм, наиболее яркими представителями которого являются Р. Гир и И. Хакинг[20], что – по мнению Х. Ленка – является своего рода акцентированием на «технологической теории науки» под влиянием философии техники и новых веяний в самой науке и технике[21]. Основная идея этого направления, считает

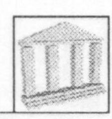
---

[18] Engelmeyer P. K. Philosophie der Technik // Ann. IV Congresso Internationale de Philosofia. Bologna, 1911. Vol. 3. Nendeln, Lichtenstein, 1968. S. 591–592.

[19] Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. С. 163.

[20] Giere R.N. Science Without Laws. Chicago, 1999; Giere R.N. Constructive Realism// Churchland D.M., Hooker C.A. (Eds.). Images of Science. Chicago, 1985. P. 75–98; Hacking I. Representing and Intervening. Cambridge, N.Y., 1983.

[21] Ленк Х. Эпистемологические заметки относительно понятий «теория» и «теория проектировании» // Философия, наука, цивилизация. М., 1999; Он же. Оперативные и теоретико-деятельностные аспекты технологической теории науки // Человек. Наука. Цивилизация. М., 2004.

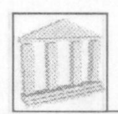


М. Бунге[22], состоит в переориентации современной науки с субстантивных на оперативные теории, описывающие не столько сам объект исследования, сколько способы манипуляции с ним. Основополагающие принципы такого взгляда на научную теорию Х. Ленк видит в рассуждениях Канта, которые в известном смысле инициировали «реалистический методологический интерпретационизм» современной философии науки. В основе кантовского представления о науке лежит идея о том, что познающий субъект получает с помощью органов чувств неструктурированнй материал, который научно оформляется в формах созерцания: «Необходимо свои понятия делать чувственными (т.е. присоединять к ним в созерцании предмет), а свои созерцания постигать рассудком (т.е. подводить их под понятия)»[23]. С точки зрения нанотехнологии следует еще добавить: не только с помощью органов чувств, но и с помощью приборов, их усиливающих, дополняющих или даже замещающих.

Кант совершенно в духе нанотехнологии ставит на первое место синтез: «Мы ничего не можем представить себе связанным в объекте, что прежде не связали сами», что является деятельностью рассудка[24]. В отличие, например, от Кондильяка, который считал, что «только анализ определяет идеи, и мы очень далеки от точных идей, когда мы знакомы лишь с употреблением синтетических определений», и «понять какую-нибудь вещь можно по-настоящему, лишь когда умеешь произвести анализ ее», поэтому синтез «приписывает идеям происхождение, совершенно отличное от того, которое они имеют в действительности»[25]. В нантехнологии, напротив, именно синтез наноструктуры позволяет понять и объяснить ее функционирование в природе. Так что получается совсем в духе Канта: «Где рассудок ничего раньше не связал, ему нечего и разлагать»[26]. Именно сконструированные априори модели нанотехнологического действия позволяют найти соответствующие им «операции природы», а не наоборот, как утверждал Кондильяк. Теоретическая модель, или схема, наноструктуры и нанопроцедуры ее создания и одновременно исследования «есть продукт способности воображения». «Они суть как бы *монограммы*, представляющие собой лишь отдельные, хотя и не определимые никакими правилами черты, которые составляют, скорее, как бы смутное изображение различных данных опыта, чем определенную картину»[27].

---

[22] Bunge M. Scientific Research. Vol. I, II. B., Heidelberg, N.Y., 1967.
[23] Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. М., 2006. С. 139.
[24] Там же. С. 201.
[25] Кондильяк Э.Б. де. Трактат о системах, в котором вскрываются их недостатки и достоинства. М., 1938. С. 177–182 .
[26] Кант И. Цит. соч. С. 201.
[27] Там же. С. 261, 739.

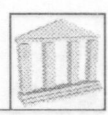


Таким образом, для теоретических схем, как считает Х. Ленк, характерна конструктивная или «созерцательно конструируемая» интеграционная стратегия, обеспечивающая новый подход к природе. Именно такой подход характерен для современной технонауки.

По сути дела, нанонаука имеет дело с «вещами-в-себе», находящимися «за» явлениями, создавая совершенно иное представление о действительности, чем повседневная реальность. Но для Канта, подчеркивает Х. Ленк, «вещь-в-себе» вводится не онтологически, а в теоретико-познавательном плане, как «познание, занимающееся вообще не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов». «Когда я говорю, – пишет Кант: – созерцание внешних объектов… представляет нам эти объекты так, как они действуют на наши чувства, я этим вовсе не хочу сказать, будто эти предметы суть лишь *видимость*. Ибо в явлении объекты и даже свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное, но поскольку эти свойства зависят только от способа созерцания субъекта в отношении к нему данного предмета, то мы отличаем этот предмет *как явление* от того же предмета как объекта самого по себе»[28]. В нанонауке сплошь и рядом описывается эмпирический объект (например, данные, представленные с помощью спектрального анализа, просвечивания образцов лазерным лучом или измерения разности потенциалов между сканируемой поверхностью образца и иглой сканирующего устройства и т.п.) на основе его априорного схематического пространственно-временного представления. Сами же эти исходные измерительные данные часто вообще не дают никакого представления о схематизме, открывающегося исследователю лишь на основе косвенных данных объекта («вещи-в-себе»). Затем на основе той же априорной схемы, частично скорректированной с помощью ряда альтернативных экспериментально-измерительных процедур, строится проектная деятельность и, если она является успешной, т.е. позволяет получить новые материалы или новые заранее заданные (а часто лишь предполагаемые и иногда даже неожиданные) их свойства, то данная теоретическая схема рассматривается как репрезентант существующей лишь в воображении «вещи-в-себе» и объект оперирования.

Таким образом в нанотехнологии постоянно осуществляется движение в трех различных оперативных полях: *математическом* (геометрическая фигура из 12 пятиугольных и 20 шестиугольных симметрично расположенных граней, образующих форму, близкую к шару), *созерцательно-техническом* (модель геодезического свода молекулы фуллерена) и *квазиприродном* (данные экспериментов, измере-

[28] Кант И. Цит. соч. С. 79, 131.



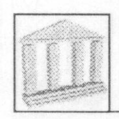
ний и наблюдений). Р. Карнап, который во время Первой мировой войны работал в военном институте над проблемой разработки беспроволочного телеграфа и телефона, после войны в докторской работе «Пространство. Вклад в учение о науке»[29] анализирует понятие «пространство» в трех различных смыслах, а именно в формальном, созерцательном и физическом. Формальное пространство представляет собой абстрактную систему, поэтому наши знания о нем – логического свойства. Созерцательное пространство аналогично кантовскому «чистому созерцанию», основанному, однако, не на трехмерной евклидовой структуре, а на топологических свойствах[30]. Знание о физическом пространстве является полностью эмпирическим. В нанотехнологии этот тип пространства охватывает не только физические, но и химические, биологические и т.д. свойства исследуемых объектов. Этим трем типам пространства соответствуют, фактически, три типа теоретических схем: математические, структурные (конструктивно-технические) и поточные, описывающие природные процессы, протекающие в наноструктурах, или (если их рассматривать с искусственной точки зрения) процессы их создания и функционирования. Причем математические схемы задают средства описания как структурных, так и поточных схем. Это связано с тем, что в нанотехнологии любые измерительные или проектные процедуры опосредованы компьютерным моделированием, в основе которого лежат алгоритмические описания и кибернетические представления.

Таким образом, как во всякой современной технической теории, в нанотехнологии важную роль играют *абстрактные структурные схемы*, которые, как, например, в системотехнике, развиваются в структурном анализе сложных систем и позволяют изучать объект в наиболее чистом виде, анализировать конфигурацию системы, степень связности и надежности ее элементов безотносительно к их конструктивному исполнению. Тогда при структурных исследованиях, например, систем автоматического регулирования в них не остается иного содержания, кроме связей, их числа, дифференциального порядка, знака и конфигурации; уделяется особое внимание выявлению взаимных связей между элементами системы. Берталанфи говорил о математизации биологии с помощью особой неколичественной или «образной математики», в которой ведущую роль будет играть не понятие величины, а понятие формы или порядка[31]. «Каждая отдельная

[29] Carnap R. Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre. B., 1922.

[30] В более поздних работах Карнапа созерцательное пространство, введенное явно под влиянием философии Канта, исчезает.

[31] Problems of Life. An Evaluation of Modern Biological Thought. L., 1952. P. 159.



вещь, которую мы непосредственно видим и узнаем, обладает определенными качественными свойствами… она имеет форму или конфигурацию или структуру»[32].

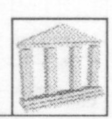
Однако абстрактные структурные схемы в современной технической теории обязательно дополняются *абстрактными алгоритмическими схемами*[33], обобщенными в кибернетике и описывающими преобразования потока субстанции (вещества, энергии и информации) независимо от его реализации. Эти схемы дают идеализированное представление функционирования любых систем (в том числе и наносистем и самого нанотехнического исследования) и могут стать исходным пунктом компьютерного моделирования. «Увеличение вычислительных мощностей компьютеров и разработка новых теоретических подходов сделали возможным определение геометрической и электронной структуры больших молекул… с высокой точностью». Например, в нанотехнологии для реконструкции изображений субстрата и наночастиц для увеличения количества информации явным образом описывается алгоритм обработки такого рода изображений, в результате чего строится «модель наночастицы, воссозданная на основе полученных данных». В нанотехнологии активно используется и соответствующая алгоритмическим схемам кибернетическая терминология: например, «тонкая структура края поглощения» «*дает информацию* о состоянии связей рассматриваемого атома», «микроволны могут *нести полезную информацию* о материале», «в образце, состоящем из наночастиц, площадь поверхности много больше, а размеры частиц – порядка глубины проникновения, что делает возможным *регистрировать сигнал от электронов* проводимости» (курсив мой. – *В.Г.*). Как видим, даже электрон посылает сигнал исследователю, передавая полезную информацию о себе самом и своем поведении, что весьма схоже с тем, как обстоит дело в теории информации и кибернетике. Остается лишь отделить сигнал от шума, как это делается в спектроскопии на основе магнитного резонанса (исследование микроволновых и радиочастотных переходов), «представляющей информацию о наноструктурах»[34]. В установке молекулярно-лучевой эпитаксии можно даже непосредственно «управлять плотностью и размером островков германия, если германий растет на

---

[32] Scheldrake R. Das Gedächtnis der Natur. Das Geheimnis der Entstehung der Formen in der Natur. München, 1996. S. 83.

[33] По сути дела, и у Канта речь идет о двух типах схематических представлений: как о фигурах в пространстве и как о схематическом представлении во времени, к которому Кант относит, например, каузальное объяснение (см.: Lenk H. Schemaspiele: über Schemainterpretation und Interpretationskonstrukte. F/M., 1995, S. 17–18).

[34] Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Цит. соч. С. 60, 83, 74, 77, 75.



поверхности кремния со слоем оксида толщиной в несколько атомных слоев»[35]. В нанотехнологии, как и в системотехнике, даются не только алгоритмические описания исследовательской деятельности, как это показано выше, но и строятся алгоритмы проектирования наноструктур; например, формирования квантовой проволоки или точки методом электронно-лучевой литографии (см. рис. 4)[36]. Поэтому, наряду с макросистемотехникой, говорят о микро- или наносистемотехнике.

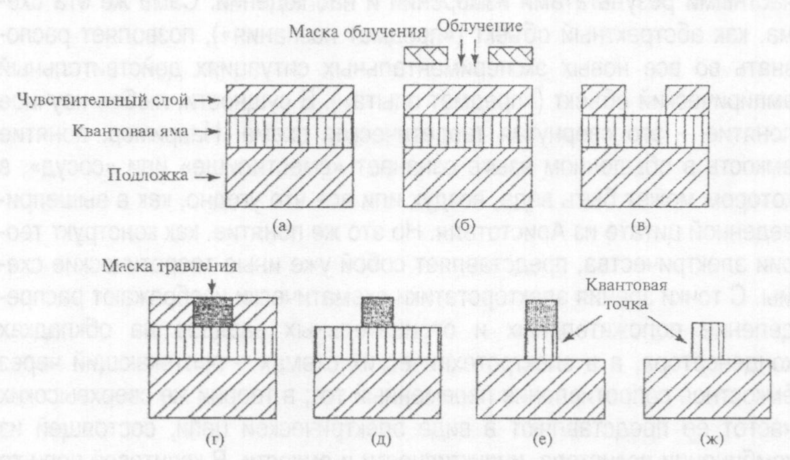


Рис. 4. Этапы формирования квантовой проволоки или точки методом электронно-лучевой литографии: а) – изначальная покрытая защитным слоем квантовая яма на подложке; б) – облучение образца через маслу; в) – конфигурация после растворения проявителем облученной части радиационно-чувствительного защитного слоя; г) – формирование маски для последующего травления; д) – состояние после удаления оставшейся части чувствительного защитного слоя; е) – состояние после стравливания частей материала квантовой ямы; ж) – окончательный вид наноструктуры после удаления маски травления.

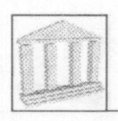
Таким образом, в основе нанонауки и нанотехнологии лежат схематические представления, замещающие «предмет опыта» «предметом познания», т.е. интерпретационным конструктом, представляющим собой идею или понятие, причем содержащим то, что еще и не найдено в опыте, выражающем извечное стремление человека к построению единой картины мира[37]. Это стремление проявляется и на

---

[35] Асеев А.Л. Нанотехнологи в полупроводниковой электронике // Вестник РАН. Т. 76. № 6. 2006. С. 606.

[36] Пул-мл. Ч., Оуэнс Ф. Цит. соч. С. 200–201.

[37] Lenk H. Vernunft als Idee und Interpretationskonstrukt. Zur Rekonstruktion des Kantischen Vernunftbegriffs // Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalität. Freiburg, München, 1986. S. 269, 271.



уровне общенаучной картины мира, и на уровне отдельных научных понятий. По Канту, в основе научных понятий лежат не образы, но схемы: «Представление о всеобщем способе, каким способность воображения доставляет понятию его образ, я называю схемой [для] этого понятия»[38]. В этом смысле схема понятия, например, фуллерена возникает в нанотехнологии еще до всяких или, по крайней мере, до полноценных опытных данных, которые лишь дополняют эту схему частными результатами измерений и наблюдений. Сама же эта схема, как абстрактный объект («предмет познания»), позволяет распознать во все новых экспериментальных ситуациях действительный эмпирический объект («предмет опыта»). В сущности, любое научное понятие – это свернутая теоретическая схема. Например, понятие емкость в обыденном языке означает «вместилище» или «сосуд», в котором может быть вода, воздух или все что угодно, как в вышеприведенной цитате из Аристотеля. Но это же понятие, как конструкт теории электричества, представляет собой уже иные теоретические схемы. С точки зрения электорстатики схематически изображают распределение положительных и отрицательных зарядов на обкладках конденсатора, а в электротехнических схемах – протекающий через ёмкостное сопротивление переменный ток; в теории же сверхвысоких частот ее представляют в виде электрической цепи, состоящей из комбинации резистора, индуктивности и емкости. В квантовой цепи то же самое понятие выражает емкостную связь между электродом и квантовой точкой (см. рис. 5).

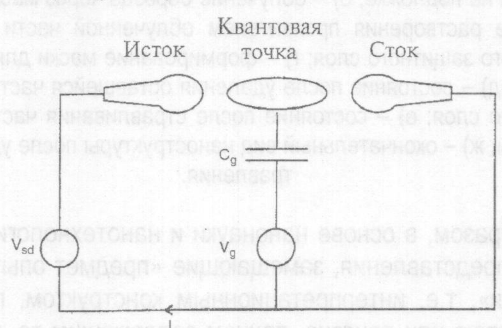
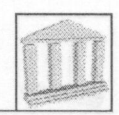


Рис. 5. Трехэлектродное управляемое устройство на основе квантовой точки. Подключение к внешней цепи осуществляется с помощью электродов «исток» и «сток», на которые подается напряжение Vsd. Подавая на третий электрод – «затвор», емкостно связанный с квантовой точкой, напряжение Vg, можно управлять сопротивлением электрически активной области.

---

[38] Кант И. Цит. соч. С. 259; см. также: Lenk H. Denken und Handlungsbindung. Mentaler Gehalt und Handlungsregeln. Freiburg. München, 1986. S. 35–36.



Как отмечает Х. Ленк, «Иммануил Кант сделал понятие схемы продуктивным для теории познания, поскольку он использовал его для описания процедурно характеризуемой и операционно «реализуемой» связи между чувственным восприятием, с одной стороны, и понятийным схватыванием, с другой»[39]. Такая схема является необходимой для представления множества результатов измерения в обозримом виде и в нанотехнологии, где результаты измерений соотносятся с самыми различными научными теориями (и построенными на их основе экспериментами) и по определению являются трудно стыкуемыми между собой. Такая абстрактная теоретическая схема, например молекулы фуллерена, может, в сущности, и не иметь ничего общего с реальным эмпирическим объектом.

Можно представить себе гипотетическую ситуацию, когда ученик сталевара, изучая технологический процесс приготовления стали, сидит в изолированной комнате, наблюдая за дисплеем компьютера, на который заведены всевозможные данные измерений в печи в режиме реального времени, но отображены они в виде абстрактной картинки. Ученик слышит передаваемые ему по радио команды мастера и регистрирует изменения, происходящие на экране. Он может, в принципе, никогда и не увидеть реальный технологический процесс, но научится варить сталь. В сущности, и мастер видит лишь показания многочисленных приборов и какие-то картинки через окошко в сталелитейной печи, по показаниям которых он принимает решения, когда и что добавить в печь и т.п. Точно так же Галилей интерпретировал изображение Луны в телескопе, указывая на наличие гор и впадин на ней, хотя ни он, ни его тогдашние коллеги не могли видеть действительного изображения этих объектов. Коллеги Галилея иначе интерпретировали то же самое изображение, говоря о сочетании темных и светлых пятен на гладкой поверхности. И только облетевшие Луну или приземлившиеся на ней космонавты смогли достоверно подтвердить, что Галилей был прав. В случае же с нанотехнологией вряд ли предвидится возможность «посмотреть» на «вещи-в-себе», составляющие наноструктуры, но и без этого вполне достаточно того, что с помощью сконструированных благодаря способности воображения априорных теоретических схем и моделей имеется возможность осуществлять успешные технические действия.

По образному сравнению Х. Ленка, все получается как с картинкой в калейдоскопе: когда его встряхивают, картинка меняется. Точно так же и радуга зависит от перспективы, с которой ведется наблюдение. В этих случаях мы имеем дело не с «воспринимаемыми объектами», а с некоторыми объективными феноменами, которые можно даже сфотографировать и интерсубъективно зафиксировать, но они и их регистрация зависят от способа их возникновения и представления. Нанофеномены, как и объекты квантового мира, являются изме-

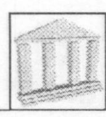
[39] Lenk H. Schemaspiele: über Schemainterpretation und Interpretationskonstrukte. S. 16–17.

римыми, но не всегда локализуемыми и отделимыми как «объекты» макромира. Например, электрон часто представляется не в виде локализованного в пространстве сферического тела, а как оболочка, растекающаяся по различным орбитам внутри атома. Мир же в целом, заключает Ленк в духе учения Парменида (о едином, вечном и неизменном бытии, никуда не стремящемся и нерасчлененном целом) и американского физика Давида Бома, – это «единственный, ограниченный, неделимый объект»[40]. Мир, по Бому, – это неразложимое целое, некая тотальность, в которой части могут быть выделены нашим мышлением лишь условно и упрощенно. Общей же мыслительной схемой физики, критикуемой им, до сих пор была именно фрагментация. «Два импульса соподчиненной полевой структуры спаиваются в едином неразбиваемом целом и протекают совместно. Такое представление в лучшем случае оставляет идею отдельных и независимо существующих частиц абстракцией, только в ограниченной области дающей удовлетворительное приближение. В конченом счете, весь универсум (со всеми его "частицами", включая те, что люди получили в своих лабораториях с помощью своих инструментов) должен быть понят как единственное нерасчлененное целое, в котором анализ по отдельным и независимым частям не получит никакого основополагающего значения... Весь универсум должен рассматриваться как неразбиваемое целое. В этом целом каждый элемент, который мы можем мысленно абстрагировать, демонстрирует свои основные свойства (волны или частицы и т.д.), которые зависят определенным образом от его общего поля так, что они в большей мере напоминают соединенные вместе органы живого существа, чем интегрированные вместе части машины». Д. Бом считает, что именно целостность мира – реальность, а фрагментарность задана лишь фрагментарными воздействиями человека на эту реальность. Природа реальности должна быть «понята как взаимосвязанное целое, которое никогда не является статическим или завершенным и представляет собой бесконечный процесс движения и развертывания». Д. Бом использует в данном случае образ «нерасчлененного целого в текучем движении», «универсального текущего потока», который невозможно схватить явным образом, но можно представить имплицитно, и субстанция которого в каком-либо одном месте никогда не является одной и той же. «Современная физика утверждает, что действительно из атомов образуются потоки (подобно тому, как течет вода)». Сами дух и материя становятся лишь различными аспектами единого целостного и неразложимого на части движения, хотя в этом никогда не расчленяемом и находящемся в текущем движении целом и могут быть выделены различные фигуры, имеющие некоторую стабильность и автономию[41].

---

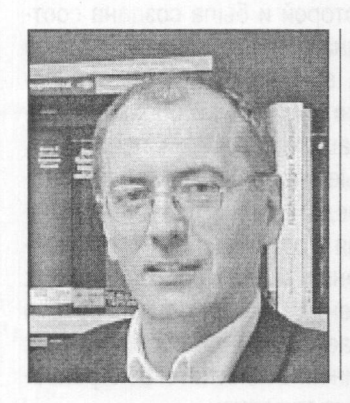
[40] Lenk H. Einführung in die Erkenntnistheorie. München, 1998. S. 269–271.

[41] Bohm D. Die implizite Ordnung. Grundlagen eines dynamischen Holismus. München, 1985. S. 226–231, 9, 31–32, 77–78.



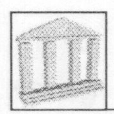
На пути к теории социальной оценки техники

А. ГРУНВАЛЬД[1]



Теория социальной оценки техники нацелена на рефлексию практики социальной оценки техники под влиянием теоретического познавательного интереса. Однако она возможна только при том условии, что в различных практических формах социальной оценки техники можно будет реконструировать нечто общее: тогда в перспективе социальную оценку техники можно будет воспринимать как таковую и отличать ее от

[1] Армин Грунвальд (Armin Grunwald) родился 20 июня 1960 года в Германии, изучал физику в университетах Мюнстера и Кёльна, а после защиты диплома по теоретической физике и защиты диссертации по теории термических процессов в сильных магнитных полях в 1987 году он защищает докторскую диссертацию по философии в Марбургском университете по теме «Культурологическая теория планирования и теоретико-деятельностная реконструкция планирования» (1998). В 1987–1991 годах он работает в сфере системных исследований и программного обеспечения, а затем – системного анализа и оценки техники в Германском аэрокосмическом агентстве (1991–1995). С 1995 по 1999 годы он становится заместителем директора Европейской академии исследования последствий научно-технического развития, а затем, директором Института оценки техники и системного анализа Исследовательского центра г. Карлсруэ Сообщества Г. Гельмгольца и одновременно профессором факультета прикладных наук Фрайбургского университета. С прошлого года А. Грунвальд стал профессором университета г. Карлсруэ. Одновременно он возглавил Бюро по оценке техники Германского Бундестага и СТОА – Бюро по оценке техники Европарламента.



других форм общественной практики. Это общее мы видим в направленности на следствия, научности, а также в ориентации на общественную необходимость (политического) консультирования. Данная статья посвящена в первую очередь обоснованию и раскрытию методологических и концептуальных начал теории социальной оценки техники.

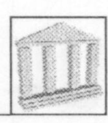
1. Теория и социальная оценка техники – непонятное взаимоотношение

Теории социальной оценки техники пока не существует, хотя известен целый ряд концепций и методов с более или менее явным теоретическим фоном и теоретическими диагнозами той или иной общественной ситуации, для описания которой и была создана соответствующая объяснительная схема. Однако притязания на теорию социальной оценки техники с этим пока еще не связаны. Если посмотреть на почти сорокалетнюю историю социальной оценки техники, то можно увидеть покрытый трещинами понятийный ландшафт, весьма различные и даже противоречивые определения целей социальной оценки техники, гетерогенные представления о ее предмете и адресате, а также выявить противоречия в рассуждениях о теоретико-познавательных возможностях получения знаний о последствиях техники и о роли нормативных представлений[2]. Теоретическая работа в этой области в первую очередь означает введение обоснованных различий и следование им, а также соединение понятий и выстраивание их в непротиворечивую концептуальную структуру.

Понятие «социальная оценка техники» редко используется в связи с понятием «теория». Словосочетание «теория социальной оценки техники» до сих пор либо не использовалось вовсе, либо ему не придавалась первостепенное значение[3]. Зачастую социальная оценка техники считается практикой, для которой теория вовсе не играет ни-

[2] О сорокалетней истории социальной оценки техники можно говорить, если обратиться к ее истокам в известных дискуссиях в Конгрессе США в 1966 году, которые в итоге привели к основанию при нем Бюро по оценке техники.

[3] Книга под названием «Теории и практика социальной оценки техники» (Weyer J. (Hg.) Theorie und Praktiken der Technikfolgenabschätzung. W., 1994) порождает впечатление, что предлагаются одновременно несколько теорий социальной оценки техники. Однако более внимательное ознакомление с этой книгой показывает, что здесь имеются в виду перспективы теоретического рассмотрения лишь определенных аспектов социальной оценки техники.



какой роли, но для которой важнее «хороший» проектный менеджмент, ориентация на потребности потребителя и необходимые в связи с этим действия. Теория считается даже иногда чем-то «мешающим», пустым времяпрепровождением. Аргументация данной позиции в том, что теория социальной оценки техники может, в лучшем случае, привести к более или менее интересным научным дискуссиям, которые, однако, всегда останутся отчуждены от практики и тем самым, неважны для самой социальной оценки техники. Другими словами, теория социальной оценки техники, как иногда считается, – это всего лишь академическая игра без особого практического смысла[4].

Но теоретический дефицит социальной оценки техники фиксируется некоторыми учеными, которые связывают его с социальными науками и философией. Одна из позиций в этом контексте звучит так: практика социальной оценки техники в исследовании и консультировании возможна, по некоторым мнениям, только в непонятной и, вероятно, вообще в теоретически не обучаемой работе по договорам (например, для парламентов). Так как не хватает теории социальной оценки техники, которая была бы ориентирована на практику, дверь к произволу в практике социальной оценки техники открыта. Нехватка теории социальной оценки техники ощущается также в дискуссиях о социальной оценке техники с дисциплинарными теоретическими образованиями. Основной упрек при этом состоит в том, что практика социальной оценки техники в сферах исследования и консультирования часто вовсе не имеет никакого отношения к соответствующим научным познаниям и формированию теории.

В обзорах по социальной оценке техники чаще всего пропускается раздел «теория». Так, например, в книге «Справочник по социальной оценке техники»[5] вообще ничего не сказано о «теории социальной оценки техники»[6]. Во введении в социальную оценку техники не было выдвинуто требование о теории, а вместо этого было описано, как принято понимать термин «социальная оценка техники»[7]. Что конкретно означает практика социальной оценки техники – так до конца –

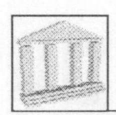
---

[4] Тот, кто познакомился с участниками сети социальной оценки техники в Интернете, мог увидеть там позиции именно такого рода.

[5] Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung. B., 1999.

[6] Там можно, однако, найти, как и в других обычных сборниках по социальной оценке техники (см., например: Petermann T. (Hg.). Technikfolgen-Abschätzung als Technikforschung und Politikberatung. F/M., 1991) целый ряд концептуальных работ, претендующих на то, чтобы внести вклад в развитие ее теоретических основ.

[7] Grunwald A. Technikfolgenabschätzung – eine Einführung. B., 2002.



не ясно, хотя в литературе и можно обнаружить некоторые сходства в этом вопросе[8].

Как показывает литература, теоретико-практические взаимодействия социальной оценки техники систематизированы в особенности в оживленных дебатах о концепциях социальной оценки техники. К ним можно отнести споры о «правильной» социальной оценке техники, о роли нормативности, о возможности генерации знания о будущем, о взаимодействии социальной оценки техники с такими уже устоявшимися дисциплинами, как, например, социология, технические науки и этика. Также споры велись и о моделях консультирования и об адресатах социальной оценки техники, что, в свою очередь, частично повлияло на ее практику. Так, например, по образцу социально-конструктивистской программы «Social Construction of Technology» (SCOT) была основана программа конструктивной социальной оценки техники – «Constructive TA» (CTA). Формулировка исследования генезиса техники, как новая программа социологического исследования техники, привела к формулированию «образцовой оценки», которая, в свою очередь, нашла широкий отклик в сфере самóй социальной оценки техники. Теоретические размышления о демократичности социальной оценки техники мотивировали концепции «участия общественности в социальной оценке техники», в то время как научно-теоретические и этические размышления стоят за рациональной оценкой последствий техники[9] и анализом практики социальной оценки техники[10]. Взаимодействие между практикой социальной оценки техники и теоретическими размышлениями можно доказать, несмотря на отсутствие развитой теории социальной оценки техники.

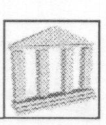
Существующее положение не очень понятно: спектр позиций о полезности или ненужности теории социальной оценки техники показывает, с одной стороны, осторожное отношение к теории некоторых практиков социальной оценки техники, скептическую оценку взаимоотношений теории и практики в этой области[11]. С другой стороны,

[8] См, например: Westphalen Graf R. von (Hg.). Technikfolgenabschätzung als politische Aufgabe. Oldenbourg, München, 1997; Grunwald A. Technikfolgenabschätzung – eine Einführung (Глава 2); Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung. Bd. 2.

[9] Gethmann C. F. Rationale Technikfolgenbeurteilung // Grunwald A. (Hg.). Rationale Technikfolgenbeurteilung. Konzeption und methodische Grundlagen. B. et al., 1999. S. 1–11.

[10] Decker M. Angewandte interdisziplinäre Forschung in der Technikfolgenabschätzung. Graue Reihe 41, Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler, 2006.

[11] См., например: Weyer J. Theorie und Praktiken der Technikfolgenabschätzung. W., 1994.



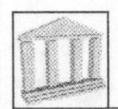
весьма пылко и с фактическим использованием теоретических рассуждений ведутся дебаты о социальной оценке техники, ставится диагноз относительно необходимости такой теории. Подобное положение на начальном этапе теоретической работы не является необычным, оно выглядит, скорее, заманчивым. На некоторые позиции можно сослаться, прислониться к теоретическим дебатам и в итоге – при успешном исходе – переубедить скептиков своей работой.

Главная и центральная задача, таким образом, – сформулировать первые понятия теории социальной оценки техники, которые могут стать опорными для нее. В таком случае одновременно укрепляется позиция и звучит призыв к теоретическим дебатам по социальной оценке техники. Это всегда случается в случае «самонаблюдения». Авторами являются, как правило, сотрудники Института оценки техники и системного анализа Исследовательского центра г. Карлсруэ, принадлежащего к Сообществу им. Гельмгольца, которые занимаются этими проблемами уже несколько лет. Можно сказать, что данная статья является попыткой вычленить теорию социальной оценки техники из накопленного практического опыта. Это неудивительно, если учесть, что, например, начало теоретической физики лежит также в практической сфере. Так, первые физики-теоретики, например Исаак Ньютон, были практиками, которые «теоретически» начали задумываться о своей практической деятельности.

2. Исходный пункт

Исходный пункт в теоретической работе социальной оценки техники объединяет в себе описание того, что мы понимаем под ее практикой, которая, в свою очередь, становится предметом формирования теории. Также идет речь и о прозрачном описании базовых предположений и установок в определении предмета теории социальной оценки техники, и выделение возможных связей с теоретическими аспектами дебатов по социальной оценке техники. При этом предположения и установки, как и должно быть на данном этапе, всего лишь *временные*. Они являются «предрешением» разрабатываемой теории[12], в которой эти предварительные предположения нужно сначала еще укрепить в теоретическом плане.

[12] Lorenzen P., Schwemmer O. Logische Propädeutik. Braunschweig, 1973.



2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ

Социальная оценка техники, если следовать соответствующей литературе[13], представляет собой общественную подтвержденную наукой практику, которая отвечает потребностям современного общества в генерации, посредничестве и внедрении определенных типов последовательного знания в отношении науки и техники[14]. Парламентские институты социальной оценки техники[15], университетская и внеуниверситетская исследовательская и совещательная активность в этой области[16], свободные институты и Think Tanks («мозговые центры»), а также некоторые экономические действия и подходы[17] указывают, хотя бы в общих чертах, на существующую уже в течение десятилетий и развивающуюся ныне практику социальной оценки техники. Эту практику можно обнаружить в институтах, которые уже в своем названии содержат понятие социальной оценки техники или же родственные ему понятия, находящиеся в контексте научного социально-политического консультирования, в которых лейбл «социальная оценка техники» также играет некоторую роль. Практика социальной оценки техники обнаруживается и в проектах, в которых употребляется это понятие или родственные ему понятия[18]. Кроме того, практическую

[13] См., например: Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung.

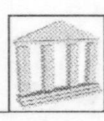
[14] Petermann T. (Hg.). Technikfolgen-Abschätzung als Technikforschung und Politikberatung. F/M., 1991; Westphalen Graf R. von (Hg.). Technikfolgenabschätzung als politische Aufgabe; Grunwald A. Technikfolgenabschätzung – eine Einführung.; Decker M., Ladikas M. (Eds.). Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assessment – Methods and Impacts. B., 2004.

[15] Bimber B. A. The Politics of Expertise in Congress: the Rise and Fall of the Office of Technology Assessment. N.Y., 1996; Vig N., Paschen H. (Hg.). Parliaments and Technology Assessment. The Development of Technology Assessment in Europe. Albany, 1999; Petermann T., Grunwald A. (Hg.). Technikfolgen-Abschätzung für den Deutschen Bundestag. Das TAB – Erfahrungen und Perspektiven wissenschaftlicher Politikberatung. B., 2005.

[16] Nentwich M. (Hg.). Technikfolgenabschätzung in der österreichischen Praxis. W., 2002.

[17] Malanowski et al. Technology Assessment in der Wirtschaft. F/M., N.Y., 2003.

[18] Родственными понятиями можно считать следующие: «оценка технологического развития», «исследование социальных последствий техники» и т.п., а также не родственные, но близкие понятия, такие как «анализ технических инноваций», «анализ будущего развития техники» и т.д. К этой области можно, в конечном счете, отнести исследования проблем устойчивого развития, исследование рисков и другие.



работу в области социальной оценки техники выполняют и отдельные лица; они представляют свои результаты на конференциях, посвященных социальной оценке техники, или публикуют их в таких журналах, как, например, журнал «Социальная оценка техники. Теория и практика»[19]. Все поле различных и даже частично конкурирующих концепций социальной оценки техники также принадлежит к данному контексту[20]. «Netzwerk TA» и «European Parliamentary Technology Assessment Network» (EPTA) – форумы, в которых использование лейбла социальной оценки техники закреплено институционально[21]. Такого рода характеристика возможна постольку, поскольку отдельные лица и институты, потребители, покровители и поставщики знания и умения использовать социальную оценку техники каким-либо образом связывают себя, либо свою деятельность, с социальной оценкой техники или же дают возможность связывать себя с ней.

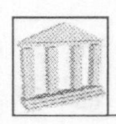
Стремление дать предписания практике социальной оценкой техники, ради которых необходимо разработать теорию, не может обеспечить четкие различия теории и практики на уровне «элементов» социальной оценки техники (проекты, темы, институты и т.д.). Вышеупомянутое замечание о родственных или близких к социальной оценке технике понятиях делает эту нечеткость более понятной, так как априори не ясно, до какой степени «родственность» и «близость» этих понятий существует на самом деле. Достижение четкости различения в данном случае является завышенным требованием. *Отправным пунктом* для построения теории является всего лишь то, чтобы в отношении к практике социальной оценки техники было ясно, о каком предмете в самом начале построения теории должна будет идти речь. Это можно выяснить, обратившись к использованию понятия социальной оценки техники в институтах, проектах, публикациях и в дебатах по социальной оценке техники, и это в достаточной степени реализовано в имеющемся наборе текстов. Если получится разработать теорию для практики, схваченной таким образом, то одновременно появится возможность использовать лейбл социальной оценки техники также и для других практик, не связанных изначально с социальной оценкой техники, и таким образом (возможно) освободиться, хотя бы

---

[19] Журнал *Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis* выходит параллельно в печатном и в электронном виде (см.: http://www.itas.fzk.de/deu/tatup/inhalz/htm).

[20] См.: Grunwald A. Technikfolgenabschätzung – eine Einführung (Гл. 5).

[21] О сети социальной оценки техники (Netzwerk TA) см: www.netzwerk-ta.net, а о «Европейской парламентской сети социальной оценки техники» (EPTA): www.eptanetwork.org.



частично, от привязки к данному лейблу. Это является сверхзадачей. Потребность приступить к построению теории предполагает лежащий в основе такого стремления обоснованный оптимизм, так как практика социальной оценки техники содержит и теорию, а не является всего лишь эпизодичным объединением случайных практических форм через несодержательный лейбл социальной оценки техники. Реализуется сверхзадача в итоге или нет, – это может стать понятным только при удаче, либо провале, построения теории.

Определенные знаки, показывающие, что цель, в принципе, достижима, имеются. Прочность лейбла социальной оценки техники, который на первый взгляд (и может, даже на второй) является весьма объемным из-за разных исторических констелляций, а также общественного и технического развития на протяжении нескольких десятилетий, однако, показывает, что за этим стоит нечто субстанциальное. Многие модные сегодня понятия, в сущности пустые по своему смыслу, не настолько живучи. К тому же практика социальной оценки техники сопровождалась (и всегда будет сопровождаться) теоретико-концептуальными дебатами. Примеры таких дебатов:

– о возможности добывания «опережающего знания о последствиях» для своевременного обнаружения технических опасностей[22];

– о соотношении социальной оценки техники с различными науками, и в особенности о роли меж- и трансдисциплинарности[23];

– об обращении с нормативными аспектами, такими как, например, акцептация технических рисков[24]; а также

– о вопросах взаимоотношения экспертов и дилетантов в ходе социальной оценки техники[25].

По этим вопросам велись и ведутся споры (иногда жаркие) с явными или неявными аргументами.

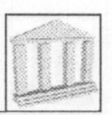
---

[22] Bechmann G. Frühwarnung – die Achillesferse der TA? // Grunwald A., Sax H. (Hg.). Technikbeurteilung in der Raumfahrt. Anforderungen, Methoden, Wirkungen. B., 1994. S. 88–100.

[23] Decker M. (Hg.). Implementation and Limits of Interdisciplinarity in European Technology Assessment. Heidelberg et al., 2001.

[24] Grunwald A. Zur Rolle von Akzeptanz und Akzeptabilität von Technik bei der Bewältigung von Technikkonflikten // *Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis*, 2005. Bd. 14. №. 3. S. 54–60.

[25] Saretzki T. Welches Wissen – wessen Entscheidung? Kontroverse Expertise im Spannungsfeld von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik // Bogner A., Torgersen H. (Hg.). Wozu Experten? Ambivalenzen der Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik. Wiesbaden, 2005. S. 345–369.



2.2. КОНСТИТУТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ – ВРЕМЕННЫЕ УСТАНОВКИ

Вышеупомянутое определение практики социальной оценки техники, для которой необходимо разработать и теорию, нуждается к тому же и в заострении основных различий и установок[26]. Исходя из часто встречающихся формулировок в литературе, социальную оценку техники можно охарактеризовать так: она возникла как научная и общественная реакция на то, что техническое развитие порождает комплексные проблемы в виде социальных последствий и неопределенности, которые должны быть конструктивно отработаны наукой и техникой.

Опыт показывает, что в современную эпоху социальные последствия науки, техники и технизации могут принять угрожающие размеры, и их результаты могут быть весьма ощутимыми и неожиданными. Вопрос заключается в том, как знание о возможных или вероятных последствиях может быть (и может ли вообще) интегрировано в процесс принятия решений. Незамедлительно возникают и другие проблемы; например, проблема обращения с ненадежными знаниями, проблема социально-технических конфликтов и проблема легитимности в отношении той области, в которой применяется социальная оценка техники. Социальные последствия научно-технического развития при этом воспринимаются в рамках оценки политических опций, которые способны обеспечить самодостаточность в сложном обращении с данными последствиями. По крайне мере, это утверждение весьма распространено в литературе по социальной оценке техники[27]. Итак, мы имеем три базовых определения социальной оценки техники:

---

[26] Данное определение содержит в себе различные истолкования и носит конструктивный характер – исходя из иной перспективы «сущность» социальной оценки техники могла бы быть «сконструирована» подругому. Это тот самый шаг, в отношении которого, вероятно, у научного сообщества не будет консенсуса, и это, в свою очередь, может вести к контроверзам.

[27] Petermann T. (Hg.). Technikfolgen-Abschätzung als Technikforschung und Politikberatung. F/M., 1991; Grin J., van de Graaf H., Hoppe R. Technology Assessment through Interaction. Amsterdam, 1997; Rip A., Misa T., Schot J. (Hg.). Managing Technology in Society. L., 1995; Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung.; Grunwald A. Technikfolgenabschätzung – eine Einführung; Decker M., Ladikas M. (Hg.). Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assessment – Methods and Impacts. B., 2004.

1. *Ориентация на социальные последствия техники*. Главной предметной областью социальной оценки техники являются *последствия*. Если мы говорим о социальных последствиях техники, мы не имеем в виду только последствия самой техники, так как терминологически у техники нет последствий; а речь идет о *человеческих решениях и действиях, связанных с техникой*. Особенностью социальной оценки техники является фокусировка на различии ожидаемых и неожиданных последствий и признание возросшего общественного значения неожиданных последствий. Однако неожиданные последствия не должны быть использованы в принятии решений, так как это ведет к неопределенности. Без опыта долгосрочных, частично непредвидимых последствий в отношении науки и техники социальная оценка техники, как говорит литература, непредставима. Исследование вопроса *возникновения* техники служит, прежде всего, цели не допустить непредвидимые последствия, а целенаправленно регулировать соответствующий процесс[28].

2. *Научность*. Последствия действий и решений в рамках современной техники, как предмет социальной оценки техники, невозможно проанализировать с помощью имеющегося мирового жизненного опыта в области последствий человеческой деятельности. Часто речь идет о «проспективных» и «гипотетических» рассуждениях о последствиях инновационных технологий, о которых именно из-за их инновационности нет опытного знания, либо просто знания, которое можно было бы перенести на определенную конкретную ситуацию. Кроме того, имеется еще системная сложность последствий в «сложном мире»[29]. Обращение с предметной областью «последствия» должно происходить в социальной оценке техники *научным способом*. Научный взгляд на проблемы принятия решений, ориентированные на последствия, добавляет некую специфику: дистанцируемость (научного) *наблюдателя* от ожидаемых или неожидаемых, предвидимых и непредвидимых, вероятных или невероятных последствий какого-либо решения приводит, как по крайней мере ожидается, к новым открытиям для лиц, принимающих решения, или для заинтересованных

---

[28] Dierkes M., Hoffmann U., Marz L. Leitbild und Technik. Zur Entstehung und Steuerung technischer Innovationen. B., F/M.,N.Y., 1992; Weyer J. Partizipative Technikgestaltung. Perspektiven einer neuen Forschungs- und Technologiepolitik // Weyer J., Kirchner U., Riedl L., Schmidt J .F. K. Technik, die Gesellschaft schafft. Soziale Netzwerke als Ort der Technikgenese. B., 1997. S. 329–346.

[29] Bechmann G., Decker M., Fiedeler U., Krings B. TA in a Complex World // International Journal of Foresight and Innovation Policy, 2007. Vol. 3. № 1. S. 5–21.

лиц. То, что исследования следствий техники в социальной оценке техники должны производиться с помощью научного или опирающегося на науку метода, принадлежит не к принципиальным, а, в лучшем случае, к постепенно выдвигаемым признакам социальной оценки техники. Подтверждения этого утверждения можно обнаружить в литературе по социальной оценке техники[30]. Кроме того, со стороны общественных потребителей социальной оценки техники постоянно выдвигается требование в *научном* исследовании последствий социальной оценки техники[31]. Тем самым социальная оценка техники занята производством знаний о последствиях и является, таким образом, *частью научной системы*[32]. Любая наука должна кроме того, хотя бы периодически и особенно в переломные периоды, рефлексировать по поводу собственной научности. Прояснение стандартов научной работы, формулировка стабильного каркаса базовых понятий, так же как и разъяснение измерительно-теоретических проблем в эмпирических науках, принадлежат к такого рода «самоосознанию»[33]. Научность социальной оценки техники также нуждается в таком рефлексивно-теоретическом проникновении в суть своей собственной деятельности.

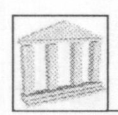
3. *Консультирование*. Предоставление знаний о последствиях в области социальной оценки техники не является самоцелью, и не столько стимулируется познавательными интересами, сколько происходит с оглядкой на «общественные потребности». Социальная оценка техники – это специфический трансферт достижений научной системы вне-научным адресатам. Чтобы формировать общественное мнение, а также информировать и ориентировать политические круги с целью поиска приемлемых решений, предоставленное обществу

[30] Свидетельством этому является проект TAMI (Decker M., Ladikas M. (Hg.). Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assessment – Methods and Impacts.). В этом проекте был достигнут консенсус между различными участниками проекта в определении социальной оценки техники, в которое было включено слово «научная».

[31] Burchardt U. Parlamentarische Technikfolgenabschätzung und globale Herausforderungen // Bora A., Bröchler S., Decker M. (Hg.). Technology Assessment in der Weltgesellschaft. B., 2007.

[32] Это определение пока еще ничего не утверждает о том, в каком виде социальная оценка техники является частью системы науки: как проблемно-ориентированное или трансдисциплинарное исследование, например, или же как «постнеклассическая наука» (см. обзор: Decker M. Angewandte interdisziplinäre Forschung in der Technikfolgenabschätzung. Graue Reihe 41. Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler, 2006).

[33] Это «самоосознание» отчасти осуществляется или поддерживается как «осознание извне» с помощью философии науки (см., например: Janich P. Kleine Philosophie der Naturwissenschaften. München, 1997).



знание о последствиях должно найти выход в общественную практику при условии, что «публичная сцена» является социальным местом для дискуссий по социальным последствиям научно-технического развития. Тут, среди прочего, идет речь и о внимательном отношении к различным социальным перспективам рассмотрения проблемы социальных последствий; в первую очередь, к различиям между лицами, принимающими решение, и теми, кого эти последствия и эти решения затрагивают. Таким образом, социальная оценка техники действует на *открытой политической арене*. Поэтому в литературе по социальной оценке техники изначально речь идет об «общественном уровне» взаимодействия с (непредвиденными) последствиями научно-технического прогресса; т.е. о содействии и консультировании определенных решений на политико-общественном уровне. Передача научного знания во вне-научные подсистемы общества является, однако, нетривиальным делсм[34]. На практике социальная оценка техники нуждается в «моделировании» – при том также всегда теоретическом – системы ее применения, т.е. исходя из представлений о «потребностях» в социальной оценке техники, ожиданиях со стороны ее адресатов и о соответствующем интерфейсе между (научной) социальной оценки техники и ее адресатами.

Эти предписания сами по себе не обладают пока еще теоретическим статусом, но являются установкой на начало теоретической работы; т.е. это некое «предвосхищение», с помощью которого в дальнейшем объясняется, на какие предпосылки опирается теория и к чему она относится. Одновременно эта установка претендует на достоверность, которую обеспечивает практика социальной оценки техники и литература в этой области, благодаря чему обеспечивается состыковка нашего подхода с дебатами по социальной оценке техники[35].

2.3. Возможности стыковки с дебатами по социальной оценке техники

Обобщающую рефлексию практических форм социальной оценки техники, которые изначально соединены с контекстом, будем называть «теорией». Эта теория нуждается в специфической предметной

[34] Luhmann N. Soziale Systeme. F/M., 1984; Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. F/M., 1990.

[35] То, что здесь можно ожидать (и что было бы вполне осмысленным), так это найти в традиции и в будущем развитии социальной оценки техники конститутивные аспекты для нее. В данной статье, в силу ограниченности ее объема, мы этим заниматься не будем.

области, на которую она будет опираться. О предметной области уже говорилось в параграфах 2.1 и 2.2 данной статьи. Приведенные там определения сами по себе еще не являются теоретически обоснованными, а представляют собой лишь исходную точку формирования теории. Их обоснование возможно только при наличии убедительных аргументов и ссылок на литературу по социальной оценке техники.

Если предъявленная аргументация является убедительной, тогда социальная оценка техники без теории становится невозможной – как вследствие ее научности, так и из-за ее направленности на внешние адресаты. Даже если практика социальной оценки техники утверждала бы, что она не нуждается в теории, она все равно должна, хотя бы неявно, работать с теоретически обоснованными предпосылками. При таком раскладе теорию социальной оценки техники не нужно придумывать заново, а она должна основываться на теоретических дебатах о социальной оценке техники, которые велись и в этой области, и в науках, ею занимающихся (особенно в политологии, социологии и философии). Примерами таких теоретических дебатов являются:

– разъяснение понятия социальной оценки техники и его отличение от других форм общественного рассмотрения науки и техники[36];

– вопрос о принципиальной возможности общественного формирования техники[37], связанный с последующим вопросом, нужна ли тогда вообще ориентация социальной оценки техники на ее последствия или генезис[38];

– вопрос об «оптимальном» адресате социальной оценки техники в сфере политики, экономики и в области работы с общественностью[39];

– теоретико-демократический вопрос[40];

– теоретико-познавательные вопросы знаний о будущих послед-

[36] Rader M. Synthesis of Technology Assessment // Tübke A., Ducatel K., Gavigan J. P., Moncada-Paternò-Castello P. (Hg.). Strategic Policy Intelligence: Current Trends, the State of Play and Perspectives. Sevilla, 2002. S. 27–37; Zweck A. Technologiefrüherkennung. Ein Instrument zwischen Technikfolgenabschätzung und Technologiemanagement // Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung. S. 155–163.

[37] Grunwald A. (Hg.). Technikgestaltung zwischen Wunsch und Wirklichkeit. B. et al., 2003.

[38] Ropohl G. Ethik und Technikbewertung. F/M., 1996.

[39] TADBN – TA-Datenbank-Nachrichten (2001): Schwerpunktheft "Technikfolgenabschätzung und Industrie" // TA-Datenbank-Nachrichten. Karlsruhe, 2001. Bd. 10. № 2. S. 3–71.

[40] Grin J., van de Graaf H., Hoppe R. Technology Assessment through Interaction. Amsterdam, 1997.

ствиях научно-технического развития, проблематика обращения с ненадежным знанием и не-знанием[41];

– напряженность между притязанием социальной оценки техники на полноту рассмотрения последствий научно-технического развития и необходимостью селективного подхода к их исследованию; и, наконец,

– вопрос о роли нормативного в области социальной оценки техники[42].

Так что теория социальной оценки техники может основываться и на теоретических дебатах, и на теоретически ориентированных традициях практики социальной оценки техники. Таким образом, закрепляется предпосылка, что социальная оценка техники не распадается на единичные и лишь контекстно связанные виды деятельности, а что контекстно связанные концепции социальной оценки техники, проекты и институты могут быть восприняты как выражение чего-то общего.

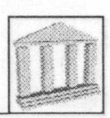
3. Вызовы и ожидания

В начале любой теоретической работы есть определенные ожидания: что должна теория социальной оценки техники сделать, на какие вопросы она должна отвечать и о каких темах говорить, какие области и аспекты она должна проработать. В общем, можно спросить так: что нужно ожидать от теории социальной оценки техники?[43] Сначала можно привести мнение, что работоспособность каждой теории может быть оценена лишь в итоге – тогда, когда она уже есть и когда может быть исследовано, «насколько далеко с ней можно продвинуться». Эта способность теории должна быть оценена в связи со всеми критериями, по которым рассматривают вообще любые науч-

[41] Bechmann G. Frühwarnung – die Achillesferse der TA? // Grunwald A., Sax H. (Hg.). Technikbeurteilung in der Raumfahrt. Anforderungen, Methoden, Wirkungen. S. 88–100; Böschen S., Kratzer N., May S. (Hg.). Nebenfolgen. Analyse zur Konstruktion und Transformation moderner Gesellschaften. Weilerswist, 2006.

[42] Skorupinski B., Ott K. Technikfolgenabschätzung und Ethik. Eine Verhältnisbestimmung in Theorie und Praxis. Zürich, 2000; Grunwald A. Technology Assessment or Ethics of Technology? Reflections on Technology Development between Social Sciences and Philosophy // Ethical Perspectives, 1999. Vol. 6. № 2. S. 170–182.

[43] Здесь речь идет о том, чтобы сформулировать общие ожидания от теории социальной оценки техники. Мы в данной статье не преследуем цель удовлетворить всем этим ожиданиям. Наша задача заключается в том, чтобы сделать «первый шаг» в построении такой теории.



ные теории: объяснительная способность, способность унификации и систематизации, непротиворечивость, адаптивность, плодотворность в отношении к новым исследованиям социальной оценки техники, или к различным взаимоотношениям техники и общества и т.д.

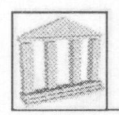
Нужно признаться, что есть веские причины, чтобы поговорить о вызовах и ожиданиях еще до начала теоретической работы в области социальной оценки техники. Ожидания от теории социальной оценки техники влияют на направленность этой работы и регулируют ход разработки. Они составляют «направленность сознания интересов» (Хабермас)[44], описание которых является для начального понимания теории заповедью научной прозрачности. Таким образом, можно было бы вести дебаты в сообществе социальной оценки техники об ожиданиях от ее теории.

По этим причинам в дальнейшем будут указаны вызовы и ожидания, которые мы свяжем с теорией социальной оценки техники. Какие из них будут в итоге реализованы, а какие пока непонятые возможности такой теории просто однажды будут продемонстрированы, можно будет оценить только после формирования теории. Таким образом, теоретическая работа в области социальной оценки техники находится в легко узнаваемой общей теоретико-деятельностной ситуации, что ожидания и цели должны быть обозначены с самого начала, но ход развития и результат работы при этом скорее всего не будут соответствовать всем заранее заявленным ожиданиям и целям. Одновременно результат может, вероятно, принести новые плоды и «новые, заранее не подмеченные», возможности.

3.1. «ЕДИНСТВО» СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ

Теории нуждаются в перспективе, в которой предмет теории может рассматривается как *единство*. Это единство базируется на фундаментальных различиях и установках, которые принимают вначале, так сказать, «пред-теоретически». Формулировка фундаментальных различий имеет конструктивный характер: нельзя претендовать на онтологически предустановленное единство социальной оценки техники, так что единство должно быть сконструировано при указании оснований. Эта конструкция «единства» социальной оценки техники была обозначена во второй части статьи временными понятиями «ориентация на последствия», «научность» и «направленность на общественную потребность консультирования». В теории важно

[44] Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. F/M., 1996 (1. Aufl. 1962).



в итоге закрепить эти пред-понятия теоретически и через реконструкцию практических форм.

То, что пока нет теории социальной оценки техники, отражает ситуацию, что через единство социальной оценки техники еще не обязательно возникает некий консенсус. Практика социальной оценки техники не является единой – это хотя и тривиальное, но, тем не менее, значимое исходное наблюдение. Какие проблемы принадлежат к спектру задач институтов и проектов социальной оценки техники, что ожидать от социальной оценки техники и какие методы и концепции применять – все это изменяется от случая к случаю. Социальная оценка техники реагирует на различные проблемные планы, на разнородные структуры ожидания, а также на различные институциональные контексты в сфере исследования и консультирования[45]. Как следствие, со временем образовывается многомерный ландшафт тематических, концептуальных и институциональных подходов к социальной оценке техники[46]. Существенной задачей теории социальной оценки техники является реконструкция общего (сначала предполагаемого) в практических формах. Теория и практика были бы тогда поставлены в прозрачное взаимоотношение с соответствующими следствиями; например, в случае изучения и обучения (см. об этом параграф 3.3).

3.2. Разъяснение возникновения и развития социальной оценки техники

От теории социальной оценки техники (как и от всех иных теорий[47]) ожидают объяснительной работы[48]. Эта теория привлекла бы

[45] Decker M., Ladikas M. (Hg.) Bridges between Science, Society and Policy. Technology Assessment – Methods and Impacts.

[46] Westphalen Graf R. von (Hg.). Technikfolgenabschätzung als politische Aufgabe; Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung. Это можно было хорошо видеть на конференции «Социальная оценка техники в мировом обществе» (NTA2 «TA in der Weltgesellschaft») в ноябре 2006 года в Берлине, что и стало предметом заключительной дискуссии. При этом «многоцветность» была тематизирована позитивно как «многоаспектность», но так же и негативно, как «произвольность».

[47] См.: Charpa U. Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie. Paderborn et al., 1996. S. 93ff.

[48] Под объяснением в данном случае понимается не причинное объяснение событий и процессов, как это обычно бывает в отношении научных теорий, а ответ на вопросы «почему» (Fraassen B. v. Die Pragmatik des Erklärens. Warum-Fragen und ihre Antworten // Schurz G. (Hg.). Erklären und Verstehen in den Wissenschaften. München, 1988. S. 31–89). Этот ответ,

в качестве наблюдаемого предмета практику социальной оценки техники, которая насчитывает уже около сорока лет, и реконструировала бы на основе этой практики – или, лучше сказать, разнообразных практик социальной оценки техники – нечто «общее». Это общее объяснило бы тогда с оглядкой на требования всех специфических ситуаций, как и почему произошли те или иные формы социальной оценки техники. Ее теория в социально-научном смысле является, в первую очередь, объясняющей теорией специфической общественной практики под названием социальная оценка техники. Первой задачей в рамках объясняющей работы было показать *возникновение* социальной оценки техники в качестве реакции на определенные общественные проблемные расклады (проблематика побочных следствий, кризис оптимизма в отношении прогресса, возрастающая сложность решений, технические конфликты и т.д.).

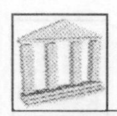
С течением времени социальная оценка техники изменилась и развилась в концептуальном и методическом смыслах, частично под напором практики, частично из-за изменений общественных рамочных условий, а также ввиду собственного концептуального и методологического прогресса[49]. Теория социальной оценки техники должна быть в состоянии реконструировать этот исторический процесс в течение последних десятилетий и соотнести практику социальной оценки техники и ее изменения с реконструированным общим. Специфические концепции социальной оценки техники (как, например, конструктивная оценка техники), или же определенные стратегии ее институционализации (при парламентах, например), фиксируются как контекстуально связанные средства решения общих задач социальной оценки техники в специфических контекстах[50].

В общем и целом речь идет о том, чтобы сформулировать социальную оценку техники как специфический и различаемый ответ на кризисную общественную ситуацию на стыке науки/техники и общества и разъяснить ее концептуальные и методические трансформации

однако, не должен обязательно оперировать с цепью причина/следствие во всех случаях. Если же речь идет об объяснении социальной практики, то это – «теория рационального объяснения» (Schwemmer O. Theorie der rationalen Erklärung. München, 1976; ср. также применительно к теории планирования: Grunwald A. Handeln und Planen. München, 2000).

[49] Bechmann G., Decker M., Fiedeler U., Krings B. TA in a Complex World. P. 5–21

[50] О конструктивной социальной оценке техники (Constructive Technology Assessment) см.: Rip A., Misa T., Schot J. (Hg.). Managing Technology in Society. О стратегиях институализации в особенности парламентской социальной оценки техники см.: Vig N., Paschen H. (Hg.). Parliaments and Technology Assessment. The Development of Technology Assessment in Europe. Albany, 1999.



и контроверзы в связи с общественными изменениями. Это обнимает как формы производства знания в рамках социальной оценки техники[51], так и предложенные и практикуемые способы взаимодействия с общественными адресатами этой оценки[52]. Пока, например, социальная оценка техники представляется как консультационная практика, к ее теории принадлежит теория специфических консультационных отношений, отношений управления и их развития во времени. Поэтому теория социальной оценки техники должна быть присоединена к теоретическим построениям в различных условиях.

Речь, главным образом, идет о двух группах теоретических построений:

– теории *общественного контекста*, в которых работает социальная оценка техники; к ним принадлежат, прежде всего, общественные теории функциональной дифференциации[53] и рефлексивной модернизации[54], теории технического развития[55], теоретические построения в области управления и политического консультирования[56], а также теории политической общественности[57];

– теоретические интерпретации актуального и *релевантного относительно социальной оценки техники развития*, прежде всего теории глобализации, сетевого общества[58], общества знаний[59] и устойчивого развития[60].

---

[51] Decker M. Angewandte interdisziplinäre Forschung in der Technikfolgenabschätzung. Graue Reihe 41. Europäische Akademie Bad Neuenahr-Ahrweiler, 2006.

[52] Bröchler S., Simonis G., Sundermann K. (Hg.). Handbuch Technikfolgenabschätzung. Bd. 2.

[53] Luhmann N. Soziale Systeme. F/M., 1984; Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. F/M., 1990.

[54] Beck U. Entgrenzung und Entscheidung: Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung? F/M., 2004.

[55] Dolata U. Unternehmen Technik. Akteure, Interaktionsmuster und strukturelle Kontexte der Technikentwicklung: Ein Theorierahmen. B., 2003; Bender G. Technologieentwicklung als Institutionalisierungsprozess // Zeitschrift für Soziologie, 2005. Jg. 34. H. 3. S.170–187.

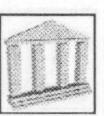
[56] Ср. с: Bröchler S., Schützeichel R. (Hg.). Politikberatung. Ein Handbuch für Studenten und Wissenschaftler. Stuttgart, 2007.

[57] Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.

[58] Castells M. Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Teil 1 der Trilogie «Das Informationszeitalter». Opladen, 2001.

[59] Stehr N. Wissenspolitik. F/M., 2003

[60] Grunwald A., Kopfmüller J. Nachhaltigkeit. F/M., N.Y., 2006.



3.3. Работа по систематизации

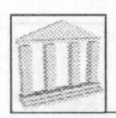
В науке теории берут на себя, кроме других функций, работу по систематизации на различных уровнях[61]. Систематизация знания в форме унифицированной структуры, систематизации опыта и элементов практики, систематизация институциональных форм и форм передачи научных знаний обществу – являются примерами деятельности такого рода. Соответствующую работу по систематизации можно поэтому ожидать также и от теории социальной оценки техники. Кроме того, в социальную оценку техники и в ее рефлексию включаются элементы различных уровней агрегации, для которых пока не было выработано связных и всеобъемлющих представлений:

- *Макро-уровень*: общественно-теоретическое местонахождение социальной оценки техники, ее связь с «большими вопросами» диагноза настоящего и соответствующими формами теоретического образования.
- *Мезо-уровень*: теоретически направленные концепции социальной оценки техники, которые связываются со специфическими констелляциями, предпосылками, диагнозами и целями как «конструктивная оценка техники» («Constructive Technology Assessment»)[62].
- *Микро-уровень*: конкретная практика социальной оценки техники, характеризующаяся ситуативными и контекстуальными обстоятельствами, как, например, в парламентской социальной оценке техники[63].

Теория социальной оценки техники связана со всеми этими тремя уровнями. Главное – и это ее вклад в систематизацию – свести все происходящее и отрефлексированное на этих уровнях в разумную и объяснимую взаимосвязь с точки зрения единства социальной оценки техники.

Существенным элементом работы по систематизации является построение теоретических понятий. Неоспоримо, что образование *общего понятийного каркаса* социальной оценки техники принадлежит к обязанностям теории. Существенный элемент эффективной практики социальной оценки техники в области исследования, консультирования и обучения – это понятийный каркас, который обеспечивает надежное понимание. Понятиями, или понятийными парами, которые должны принадлежать к такой понятийной базе социальной

[61] Charpa U. Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie. S. 93 ff.
[62] Rip A., Misa T., Schot J. (Hg.). Managing Technology in Society.
[63] Vig N., Paschen H. (Hg.). Parliaments and Technology Assessment. The Development of Technology Assessment in Europe; Petermann T., Grunwald A. (Hg.). Technikfolgen-Abschätzung für den Deutschen Bundestag. TAB – Erfahrungen und Perspektiven wissenschaftlicher Politikberatung.



оценки техники, являются (без притязания на полноту) понятие техники, различные понятия ее следствий или последствий, понятия риска, потенциала, «акцептации» и «акцептабельности»[64], легитимности, консультирования и оценки.

3.4. Поддержка практики социальной оценки техники

Теории играют в научном процессе функциональную роль: они нужны для систематизации и уплотнения знаний, для объяснения наблюдений и опыта, для создания обобщенного учения, выходящего за пределы единичных случаев, для генерации новых исследовательских проблем или новых методологических подходов, для структуризации научных споров, а также для образования и стабилизации специфических сообществ[65]. Задачей построения теории является тем самым и поддержка практики[66]. Такая теория должна давать практике социальной оценки техники определенную ориентацию и иметь нормативный характер относительно имеющихся и будущих практик. Именно в силу своей «общности» она может помочь извлекать полезный опыт и учиться на отдельных конкретных примерах. Наконец, теория может, как ожидается, внести существенный вклад в формирование и стабилизацию сообщества социальной оценки техники.

Перевод А. В. Гороховой
под редакцией В. Г. Горохова

[64] Речь идет об обеспечении признания (признаваемости) или принятия (принимаемости) общественным мнением, общественностью тех или иных технических инноваций с учетом их негативных и позитивных последствий с целью устранения возможных социальных конфликтов, которые могут возникнуть в связи с ее внедрением и распространением в обществе (подробнее об этом см.: Grunwald A. Zur Rolle von Akzeptanz und Akzeptabilität von Technik bei der Bewältigung von Technikkonflikten // *Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis*, 2005. Vol. 14. № 3. S. 54–60).

[65] Charpa U. Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie.

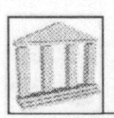
[66] Janich P. Die methodische Konstruktion der Wirklichkeit durch die Wissenschaften // Lenk H., Poser H. (Hg.). Neue Realitäten – Herausforderung der Philosophie. B., 1995. S. 460–476.

От редакции. Социальная оценка научно-технического развития проводится сегодня во многих развитых западноевропейских странах, где она институализирована в виде различных организационных форм при парламентах или правительствах с целью научной поддержки принимаемых государственных решений в области научно-технической политики. Она имеет уже почти полувековую историю и накопленный в разных странах и областях науки и техники богатый опыт.

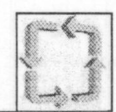
Оставаясь принципиально междисциплинарной, оценка техники (ТА – от английского «Technology Assesstment» или немецкого «Technikfolgensabschätzung») в то же самое время постепенно приобретает черты новой научной дисциплины. Это доказывается институализацией социальной оценки техники во многих западноевропейских странах, прежде всего в Германии. В Институте оценки техники и системного анализа Исследовательского центра г. Карлсруэ совместно с Бюро по оценке последствий техники Германского Бундестага, которыми руководит профессор Армин Грунвальд, работает междисциплинарная группа ученых – представителей естественных, общественных и технических наук, с целью улучшения информационной поддержки принимаемых решений и интенсификации взаимодействия между парламентом, наукой и общественными группами. Публикуемая ниже статья Грунвальда отражает результаты многолетних практических исследований, проводимых в вышеназванных институтах, а также обобщает международный опыт социальной оценки техники.

В. Г. Горохов

Тринадцатого сентября 1972 года президент США подписал закон об оценке техники, создавший бюро по оценке техники при Конгрессе США, чьей задачей стало обеспечение сенаторов и конгрессменов объективной информацией в данной области с целью раннего предупреждения негативных последствий техники. Одновременно в самом Конгрессе был создан Совет по оценке техники (Technology Assesstment Board – TAB). В 1986 году в ФРГ была учреждена аналогичная комиссия для оценки следствий техники и создания рамочных условий технического развития с акцентом на проблемы охраны окружающей среды. 16 ноября 1989 года постановлением Бундестага на базе отдела прикладного системного анализа (сегодня Институт оценки техники и системного анализа) Центра ядерных исследований г. Карлсруэ (с 1995 года переименован в Исследовательский центр сообщества Г. Гельмгольца) организовано Бюро по оценке последстcovered-



вий техники Германского Бундестага (ТАВ). После закрытия в 1995 году ТАВ в США лидирующее положение в области оценки техники занимает Западная Европа. Впервые в 1975 году был основан «European Office of Technology Assessment», который в 1992 году был включен в структуру административного управления европейского парламента в виде особого подразделения «Scientific and Technological Options Assessment» (STOA) с целью научной поддержки принимаемых Европарламентом решений. Аналогичные организации, возникшие независимо от германских, существуют сегодня во многих странах Западной Европы. Например, в Дании социальная оценка техники для правительственных органов возникла в 1980-е годы как результат длительных дебатов, связанных с критикой технического развития в 1970-х годах, и так же, как и в Германии, в значительной степени под влиянием американского опыта. В Австрии в 1994 году Федеральным министерством науки и исследований был учрежден Институт оценки техники Австрийской академии наук в Вене в качестве консультационного органа в области технической политики, который работает в сотрудничестве с Советом по техническому развитию, созданным в 1988 году, возглавляемым министром этого ведомства и включающим в себя представителей различных парламентских партий. Аналогичная структура «Parliamentary Office of Science and Technology» (POST) существует в Великобритании. В Нидерландах – это Rateneu Institut, выросший из основанного в 1986 году ТА-офиса. В 1990 году эти и другие, например, французские, итальянские, швейцарские, греческие, норвежские и финские парламентские структуры, объединились в общую сеть «European Parliamentary of Technology Assessment Network».



Рациональная коммуникация как проблема эпистемологии[1]

В. Н. ПОРУС

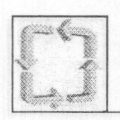
Проблему, обозначенную в заголовке, я представлю в виде оппозиции: «рациональная коммуникация» – «коммуникативная рациональность». Иногда значения этих терминов смешиваются или пересекаются, что приводит к путанице. Но различия между ними настолько важны, что их фиксация может рассматриваться как обозначение рубежа, от которого отправляются главные тенденции развития эпистемологии.

Рациональная коммуникация

Говоря формально, этот термин – спецификация термина «коммуникация». О значении последнего написаны трактаты, предприняты попытки построения *общей теории коммуникации*[2]. Эти попытки, сколь бы ни были они различны, соответствуют общему плану: принимается *исходное определение* коммуникации, на его основе конструируется *модель*, которая затем становится основой для расширения, уточнения, конкретизации исходного определения, то есть для построения новых, более содержательных моделей. Так возникает то, что, подражая И. Лакатосу, можно условно назвать «исследовательской программой»; когда построенные таким образом модели

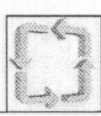
[1] Доклад и последующая дискуссия – при поддержке РГНФ, проект 06-03-00301а «Коммуникативная рациональность как эпистемологическая проблема».

[2] См. например: Почепцов Г. Теория коммуникации. М., 2001.



сталкиваются с процессами, которые интуитивно считаются коммуникативными, но не подпадают под исходное определение, «трудные» процессы «доопределяются» так, чтобы вводимые уточнения охватывали собой и эти «трудности». Но могут встретиться случаи, когда приходится так расширять смысл термина, что это входит в противоречие с его исходным определением. Можно сказать, что тогда смысл исходного понятия трансформируется, и получается иное понятие, которое заслуживает иного именования.

Так, Г. Почепцов называет коммуникацией «процесс перекодировки вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы». Это означает, что обмен значениями выражений некоторого языка совершается в процессе коммуникации для того, чтобы с помощью слов вызвать некоторые действия. Переход от знания значений слов к выполнению некоторых действий не является чем-то само собой разумеющимся, а предполагает выполнение правил, причем, как полагает Почепцов, смыслы этих правил известны до начала коммуникации (их известность считается «априорным» условием самой коммуникации). Всегда ли выполнимо это общее требование, действительно ли «априорно» знание правил коммуникации? Скорее всего, это не так, и часто «ознакомление» с правилами происходит уже в процессе коммуникации, который поэтому можно представить как ряд стадий – от «прото-коммуникативной» до собственно коммуникативной, то есть отвечающей исходному определению. Чтобы признать правила, то есть согласиться с неизбежностью их соблюдения, коммуникантам иногда приходится также признать свое неравенство: тот, кто передает сообщение, должен обладать некоторой *властью* над тем, кто это сообщение принимает, – властью, достаточной для того, чтобы «рецепиент» не имел возможности «понимать» переданное «по-своему», переиначивая его смысл. Является ли эта власть априорным условием, также не всегда очевидно. Можно представить такие ситуации, когда отношение власти возникает только в процессе коммуникации и благодаря ему. Далее, не все коммуникации (подпадающие под исходное определение) равны по своей *интенсивности*; например, при недостаточном знакомстве со смыслами сообщений или с правилами коммуникации, а также при неясности вопроса о принудительности этих смыслов и правил, процесс передачи информации и ее перекодировки в действия только до извест-

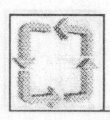


ной степени может считаться коммуникативным (интенсивность коммуникации оказывается условием самого ее существования). В таких случаях называть информативный процесс коммуникативным можно, лишь серьезно расширяя исходное определение, рискуя при этом вообще выйти за его рамки.

Когда говорят о *рациональной* коммуникации, имеют в виду такие ограничения коммуникативных процессов, которые накладываются нашими представлениями о том, что такое рациональность. Но эти представления могут различаться. Например, исходя из одних, можно считать условия коммуникации (императивность понимания смыслов передаваемых сообщений, однозначность связи между знанием этих смыслов и действиями, соблюдение правил коммуникации и т.д.) рациональными, если они подчинены определенным *критериям, разумность которых не оспаривается и признается коммуникантами* априорно.

Исходя из других представлений, рациональными будут те коммуникации, с помощью которых удается достичь *целей*, выступающих как *общие ценности* для ее участников (успех совместного действия, взаимопонимание, консенсус и прочее); критерии рациональности отнесены к этим целям, контекстуальны, «апостериорны» и могут меняться при переходе от одних коммуникаций к другим. Таким образом, эпистемологическое содержание термина «рациональная коммуникация» может быть сведено к выбору между этими (основными) типами представлений о рациональности, который, как было сказано, сам во многом зависит от того, что понимается под коммуникацией как таковой.

Сравнивая эти типы, замечаем, что они различаются своим отношением к пониманию рациональности как того, что может быть описано, объяснено, исчерпано указанием на некоторые критерии. На крайних полюсах этого понимания – две стратегии: *абсолютистская* и *релятивистская*. Первая – поиск единой и единственной системы критериев рациональности, применение которых не ограничено никакими конкретными условиями. Такая стратегия направлена на определение сферы рациональности, «изнутри» которой можно оценивать действительность, осуществлять ее реконструкцию и критику. В философии науки, например, такая стратегия реализовалась в программе демаркации между наукой и ненаучным (в частности, метафизическим) мышлением. Вторая стратегия исходит из

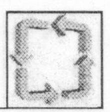


равноправия различных, даже противоречащих друг другу систем критериев рациональности, выбор между которыми зависит от множества конкретных условий и факторов, влияющих на решения действователей (акторов).

Первая стратегия исторически связана с классической (в частности, трансценденталистской) философией субъекта: границы рациональности совпадают со сферой знания, обладающего универсальностью, необходимостью и истинностью; рациональность – это общая характеристика деятельности (познавательной и практической), ведущей к такому знанию и направляемой им. Вторая стратегия характерна для неклассической гносеологии, в которой характеристики знания признаются относительными, зависящими от конкретных условий его получения и использования. Для этой стратегии выбор той или иной системы критериев рациональности обусловлен внешними, по отношению к ней, целями и ценностями. Само понятие рациональности определяется через них.

Абсолютистская стратегия не может быть принята без допущений о существовании «последних», «окончательных», укорененных в самом бытии или в свойствах познающего ума оснований рациональности. Без таких допущений она попадает в ловушку reduction ad infinitum; если основания рациональности могут *меняться*, необходимо решить вопрос о рациональности перехода к иной рациональности и т.д. до бесконечности. Наиболее серьезный удар по этой стратегии наносит наука в своем историческом развитии, важнейшие вехи которого связаны с пересмотром, сменой критериев рациональности. Поэтому и говорят об *исторических типах научной рациональности*, то есть признают рациональность исторически относительной.

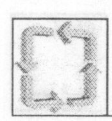
Это как будто говорит в пользу релятивистской стратегии. Если не оправдывается надежда на отыскание критериев, обладающих безусловной властью над участниками любой коммуникации, то надо взяться за более реальную задачу: понять, какие силы заставляют этих участников считать разумными *вот эти*, конкретные процессы обмена смыслами, влекущего за собой определенность действий. При этом надо признать, что силы эти действуют только в ограниченном коммуникативном пространстве, а за его границами это действие прекращается. Все, на что можно претендовать, это – найти такие критерии рациональной коммуникации, которые не подвергались бы со-



мнению и критике на возможно более обширном коммуникативном пространстве.

К попыткам такого рода относится, например, концепция «формальной рациональности» М. Вебера. Она относится к коммуникативным пространствам, в которых определены критерии успешного действия. Действие считается успешным, если оно достигает цели или способствует ее достижению; соответственно, определяются нерациональные (не достигающие цели) или иррациональные (уводящие от цели) действия. Понятно, что в основе такой концепции лежит априорный образ «разумного актора»: рационален тот, кто правильно соизмеряет свои действия с определенными целями и со способами их достижения. В этом смысле образцом рационального действователя может служить робот, управляемый программой, в которой дан конечный перечень целей, необходимых для их достижения действий и запретов на те действия, которые могли бы этому помешать. Границы его рациональности определены программой, а сама программа оценивается как рациональная, если робот успешно работает; она была бы нерациональной, если бы допускала такое поведение робота, которое выходило бы за ее рамки; например, если бы роботу «вздумалось» ставить под сомнение цели, ради осуществления которых он, собственно, и предназначен. Идеальной, то есть наиболее отвечающей определению «формальной рациональности», коммуникацией можно было считать обмен информацией и командами между техническими устройствами любой степени сложности (включая и такие устройства, которые способны в известных пределах модифицировать свои программы в зависимости от фиксируемых результатов предыдущих действий, или так называемые системы «искусственного интеллекта», способного к «самообучению»).

Интересно, что в рамках коммуникативного пространства, образованного критериями «формальной рациональности», совершенно нерациональна коммуникация, в которой обсуждалась бы… рациональность этих критериев. Действительно, как можно было бы решить вопрос «рационально ли свести рациональность к целесообразности», если никакой иной рациональности, кроме «формальной», в данном пространстве просто нет? То же самое с вопросом о рациональности самого целеполагания: ведь способность видеть цель и направляться к ней в этом пространстве выступает как синоним рациональности.

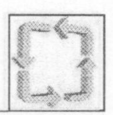


Если такие и подобные им вопросы все же возникают и обсуждаются, то это означает, что коммуниканты выходят за рамки «формальной рациональности» и общаются уже в другом коммуникативном пространстве, относительно которого также возникает вопрос о его границах.

К версиям «формальной рациональности» примыкают такие концепции, в которых рациональность сводится не к одному или нескольким «интуитивно ясным» понятиям (логичность, целесообразность, согласованность и прочее), а к общности «методологических установлений», достигаемой различными способами (например, путем практической проверки действенности тех или иных методологических правил, принципов, соглашений), но в итоге означающей только следующее: по тем или иным соображениям та или иная группа критериев оценки суждений (прежде всего в науке) признается одинаково значимой для всех участников (субъектов) познавательных процессов. Такую систему критериев рациональности К. Хюбнер называет «интерсубъективной»; следовательно, и понятие «рациональность» заменяется «интерсубъективностью»[3]. Можно ли считать последнее более ясным и/или фундаментальным, чем понятие «рациональности»? Этот вопрос оставим без ответа, но заметим, что переключение внимания на интерсубъективность означает изменение философской позиции: «рациональность» утрачивает свои метафизические корни и переходит в разряд понятий, содержание которых пытаются определить чисто методологически с привлечением результатов различных исследований того, как именно происходит формирование общих (в данном историко-культурном контексте) представлений о том, что́ признавать или не признавать «рациональным» (речь идет об участии в этом процессе историков, социологов, психологов, «когнитивистов» и, конечно, методологов). Так «рациональность коммуникации» становится предметом междисциплинарных исследований.

Как бы то ни было, в таких концепциях критерии рациональности принимаются (или не принимаются) как нечто существующее вне самого процесса коммуникации. Отсюда, разумеется, трудные вопросы о статусе их существования. Где и как они существуют *до того*, как принимаются именно как критерии оценки? Невозможность точного указания на сферу

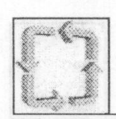
[3] См.: Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994.



их бытия – повод стать на путь, намеченный прежде всего Ю. Хабермасом в его концепции «коммуникативной рациональности».

Коммуникативная рациональность

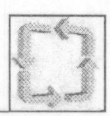
Это понятие специфицирует тип рациональности, не предшествующей коммуникации, а *возникающей* в ней. Просто говоря, коммуникативная рациональность – то, что позволяет участникам поддерживать общение, имеющее определенную целевую направленность даже в том случае, если по ходу дела обнаруживается, что их смысловые каркасы не общезначимы, что они вступили в коммуникацию, успех которой не гарантирован, но цели, к которым они стремятся, так важны, что ради них надлежит всеми силами стремиться к консенсусу, а для этого надо создавать новые смысловые каркасы (кстати, без уверенности в том, что они пригодятся в дальнейших коммуникациях, то есть будут обладать каким-то «запасом» прочности и общезначимости). Это, так сказать, весьма «демократическое» понимание рациональности; последняя лишается своей потенциальной или актуальной «репрессивности»: она не подчиняет себе коммуникантов, а подчиняется им. Тем самым вопрос о рациональности или нерациональности коммуникации окончательно переходит в плоскость анализа социальных отношений между коммуникантами; понятно, что такой подход к проблеме рациональности привел в восторг, прежде всего, теоретиков, занятых методологическими проблемами социальных наук. По выражению К.-О. Апеля, «коммуникативная» или «дискурсивная» рациональность измеряется способностью решать проблемы в ситуациях, когда участники коммуникации обнаруживают, что их смысловые каркасы не общезначимы, но они продолжают «языковую игру», предъявляя друг другу варианты ее правил, налаживая дискурс, в котором находят свое место различные, но *равноправные* системы аргументации. Принять такое понимание, по Апелю, значит перейти Рубикон «сциентистского объективизма» и признать, что «человек является сразу и субъектом, и объектом» социальных наук; иначе говоря, что рациональность подчинена *целям* и *ценно-*



стям, определяясь *решениями* участников коммуникативных актов.[4]

Решительнее других Рубикон переходят как раз те методологи, которые увидели в этом перспективу «трансформации философии». Действительно, анализ дискурсов, в которых рациональность обретает свое виртуальное существование, если и можно назвать *философским*, то только в том случае, если понятие «философии» употребляется в специфическом смысле. В предельном случае от него остается только словесная оболочка, которую почему-то не отбрасывают как скорлупу выеденного яйца, а сохраняют для каких-то надобностей. В соответствии с ней, вопрос о том, *что* представляет собой рациональность дискурса, не имеет *определенного* смысла хотя бы потому, что смысл меняется от дискурса к дискурсу. Вместо этого нужно спрашивать, *как* участники дискурса приходят к согласию относительно того, какие способы коммуникации, какие смыслы и связанные с ними действия признаются рациональными. Понятно, что ответ зависит от того, в каких ситуациях происходит дискурс, кто участвует в нем, каковы их цели, какова его интеллектуальная «аура». Например, в ситуациях так называемой «повседневности» рациональность дискурса может быть совсем иной, нежели в ситуации научного экспериментирования или обсуждения теоретических гипотез. Таким образом, анализ дискурсивных *ситуаций* открывает путь к пониманию и оценке *содержания* дискурсов. На этом настаивают те, кто интерпретирует «коммуникативную рациональность» прежде всего как процесс *конструирования* смыслов, описываемый в терминах социологии знания (хотя не только в них). Таковы, например, подходы А. Шюца или Н. Элиаса. Тяготеют к этому и британские «социальные эпистемологи» Д. Блур, А. Голдман и др. С точки зрения Н. Лумана, задача социолога состоит в том, чтобы эксплицировать процесс *отбора* как самих знаний, так и способов их оценки участниками «рациональной коммуникации». Результат экспликации очевиден: отбор совершается вовсе не только (а часто и не столько) в соответствии с какими-то «эпистемическими» (имеющими отношение к истинности или объективности знаний) критериями, а следуя иным, имеющим собственно социологическое содержание, требованиям (например, требованию продолжать дис-

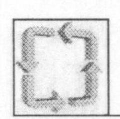
[4] См.: Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.



курс в ситуациях, когда от этого зависит успешность совместного действия, но нет общих смысловых оснований, вынуждающих принимать решения независимо от воли или взаимной расположенности его участников). Это относится к дискурсам любой природы, в том числе к научным или философским дискуссиям. Более того, эпистемические критерии могут быть переинтерпретированы в социологических терминах: «истинность» понимается как особого рода символический код, применяемый как средство конструирования и отбора знаний в процессах коммуникации; разумеется, такой код не предзадан коммуникации, а является ее продуктом. Следовательно, если у понятия «истина» есть точно определяемый смысл, то это смысл социологический, а попытки перевести его в философский регистр не могут дать ничего, кроме возобновления бесплодных и путаных спекуляций. А. Ю. Антоновский называет конструктивистскую интерпретацию «медиумом коммуникации»[5], полагая, что именно она связывает социологию с эпистемологией. Я думаю, что такая связь если и достигается, то обходится эпистемологии дорого: она оказывается не более чем терминологическим привеском к социологии. Иначе говоря, в соответствии с таким подходом социология – понятийная среда, в которой без остатка растворяются эпистемологические понятия, а сама она от этого не приобретает каких-либо новых значимых свойств.

Однако эта цена не кажется чрезмерной многим исследователям. Напротив, они приветствуют погружение старых философских проблем в тигель конкретных научных дисциплин, видя в этом едва ли не единственный способ продления существования самой философии. «Почти все исследователи сходятся в том, что истина не может быть трансцендентальной, что у нее нет независимого, вне-общественного или внечеловеческого критерия, отсутствует абсолютная, удостоверяющая инстанция или критерий истины. При наличии серьезных разногласий все также соглашаются с тем, что классическая корреспондентская схема в целом неприемлема и неплодотворна для теории познания, поскольку предполагает наличие *константного* и непосредственно доступного *внешнего мира*. Ибо то, что “интерпретируется” в качестве “внешне-

[5] Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем. М., 2007. С. 72.

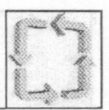


го", является лишь одной из интерпретаций или конструкций, оказывается следствием схематизации, разделяющей внутрисистемные события на внутренние и *как бы* внешние. Однако схема *внутреннее/внешнее* – внутреннее порождение самой наблюдающей инстанции, и именно поэтому действительно *внешний* мир по самому своему определению является когнитивно недоступным»[6]. Я привел длинную цитату, характерную по стилю и содержащую в себе суть излагаемой позиции. Она в следующем: поскольку абсолютный критерий истины «отсутствует», удалившись из мира познаваемого в мир «когнитивно недоступный» и не подавая о себе никаких вестей ввиду полной их невозможности, постольку *проблема истины*, порождаемая «старой философией», не избавившейся от предрассудков трансцендентализма, – только *иллюзия* проблемы, поддерживаемая специфической (и ошибочной, по *общему* якобы признанию!) «интерпретацией» субъект-объектной дихотомии. Если уже *все* согласны в том, что никакой дихотомии «на самом деле» нет, что никакого «независимого» от субъективных мнений критерия истины и быть не может, то *всем* следует согласиться и с тtм, что на долю философии выпадает только идти по стопам социологии и выяснять социальные условия, при которых за истину принимается нечто удовлетворяющее всех или, по крайней мере, большинство участников коммуникативных процессов. Это и означает, что философская проблема получает социологический смысл, вне которого о ней нечего сказать кроме того, что она иллюзорна.

Отказ от оппозиции «субъект–объект» сам по себе ни к чему интересному не приводит, а только погружает в тину разглагольствований по поводу относительности этих понятий или их привязанности к отжившим формам философствования. Понятие «коммуникативной рациональности» как будто открывает более привлекательную перспективу: если рациональность – это то, что *возникает* в коммуникации, а не *предшествует* ей, то есть является продуктом сознательного выбора коммуникантов, а сам этот выбор (по крайней мере, в таких коммуникациях, цель которых – знание и основанное на знании действие) не может быть произвольным (иначе, например, научные

---

[6] Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем. М., 2007.С. 73–74.

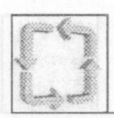


дискуссии нельзя было бы отличить от базарного трепа), то, во-первых, надо признать, что плюрализм рациональностей абсолютно неизбежен, а во-вторых, что именно это и является достоинством, а не недостатком; коммуникативное пространство и есть та среда, в которой осуществляется «сплав субъективности и объективности», то есть непрерывная выработка тех смыслов, вокруг которых (хотя бы на время) объединяются разрозненные до того мнения отдельных участников этого захватывающего процесса. Я уже обращал внимание на то, что рассуждения по поводу этого «сплава» часто характеризуются чрезмерной метафоричностью[7]. Если верно, что метафора – мост между различными смыслами, то есть подозрение, что в данном случае один конец моста повисает над пустотой или над неясными мечтаниями. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать только одно: либо философам удастся переосмыслить понятия «субъекта» и «объекта», сохраняя за ними значимость и ценность (а, следовательно, значимость и ценность фундаментальных идеалов науки – истинности и объективности знания), либо философия обречена на вырождение, и конец ее истории не за горами.

ФИЛОСОФИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ КАК ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ

Абсолютистская стратегия противоречит фактам исторически обусловленного *многообразия типов рациональности*. Она не справляется с подведением этого многообразия под *общее понятие*. Релятивистская – приводит к опустошению понятия рациональности как того, что объединяет различные типы и виды *рациональных* коммуникаций. Так, Н. Луман на самом деле мало озабочен понятием рациональности, оно у него выполняет исключительно служебную роль: коммуникация уже потому рациональна (если кому-то угодно держаться за этот термин), что позволяет некоторой социальной системе оставаться самой собой, т. е. отличаться от окружающей ее среды;

[7] См.: Порус В. Н. Философия науки и ее синергетическая интерпретация // Грани познания. Наука, философия, культура в XXI веке: В 2-х книгах. Кн. 2. М., 2007.

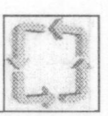


если такая цель достигнута, вопрос о рациональности тем и решен; дальнейшие расспросы о том, чем рациональность отличается от нерациональности, бесполезны и даже бессмысленны.

Несмотря на обилие точек зрения, распространенных в современной философии, практически все они вращаются на стержнях этих стратегий. Критика абсолютистской стратегии используется противниками философской классики – от прагматизма и лингвистической философии до постмодернизма. Направляясь против иллюзий универсализма, она якобы придает исследованиям рациональности научность, освобожденную от метафизических абстракций; в первую очередь, от категории «субъекта», которая замещается социологическими, психологическими, экономическими, политологическими или юридическими, да и какими бы то ни было еще конкретно-научными аналогами. Заодно и философия растворяется в комплексе междисциплинарных исследований, оставив после себя только свое название. Абсолютистская же стратегия – панцирь донкихотов, не желающих смириться с исчезновением философии, но беспомощных в столкновениях с новыми культурными реалиями.

Обе стратегии ущербны из-за того, что берутся в изоляции, как «разорванные противоположности», тогда как они могут и должны рассматриваться как дополнительные друг другу стороны исследования рациональности. Рациональная коммуникация обеспечивается одновременно и следованием определенным критериям (нормам, правилам, принципам), и выработкой этих критериев, которая была бы невозможна без их критики, и установлением консенсуса, и его разрушением, когда того требует продолжение коммуникации. Цели и ценности участников коммуникации, требующие то сохранения критериев рациональности, то их отбрасывания и замены, выступают как ориентиры, направляющие развитие коммуникации и удерживающие ее в рамках культуры. Рациональность сама есть ценность и цель *европейской* культуры (в системе иных ее целей и ценностей, сосуществующих в противоречивом единстве).

В этом смысле проблема «рациональная коммуникация и/или коммуникативная рациональность» является ключевой для определения перспектив современной философии. Повторю: эти перспективы зависят от того, удастся ли философам так определить свою проблемную область, чтобы была ясна исключительная роль философии в этой области, – роль, кото-

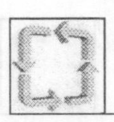


рую не сыграет никакая наука или ансамбль наук, которую вообще никто не способен сыграть, кроме самой философии.

Сегодня философия все больше уподобляется старому Лиру, оставшемуся с одними претензиями на царствование после того, как все владения он раздал своим дочерям. «Но если вся область познания сущего целиком уходит в науку, зачем вообще нужна философия?» – задает резонный и вполне очевидный вопрос В.М. Межуев. По его мнению, философия есть знание человека о собственной культуре; о том, что мы считаем в этой культуре важным и ценным. Это знание не может ни совпасть, ни быть замененным научным знанием, поскольку оно диктуется не опытом, не конвенцией большинства, а является осознанием собственно человеческого отношения к тому, что полагается вечным и абсолютным в данной культуре. Иначе говоря, философское знание – это знание особого рода: оно определяет границы человеческой свободы. Поэтому философия имеет ценность только там, где ценностью является свобода. И утрачивает эту свою ценность, если общество в целом и каждый человек в отдельности в свободе не нуждаются[8].

Эти, казалось бы, далекие от нашей темы рассуждения все же имеют к ней прямое отношение. Если философия вообще есть размышление об условиях, о смысле и формах человеческой свободы, то философское исследование рациональности есть частный случай этого размышления. Он относится к актам коммуникации, поскольку только в них и возникает проблематизация свободы. Не те характеристики коммуникаций (коммуникативного пространства), которые могут и должны устанавливаться специальными научными исследованиями (в том числе, и в первую очередь, социологией знания), являются ее предметом, а взаимосвязь между свободой и рациональностью, обладающая, как я пытаюсь показать в своих работах, особой парадоксальностью, – вот, собственный предмет такого исследования. Разумеется, оно не может обойтись без того материала, который дают различные науки о коммуникациях (не уверен, что возможна некая *общая теория коммуникации* как синтез этих наук, но речь сейчас не об этом). Этот материал необходим философии для ее собственных мыслительных конструкций. Но сами эти конструкции не сводятся к инвентариза-

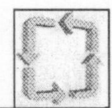
[8] См.: Новая газета. 2003. № 83.



ции и сортировке материала (еще хуже, когда они объявляются одним из источников этого материала, когда философию помещают в ряд специальных наук о коммуникациях, заставляя ее выполнять не свойственную ей роль и тем самым делая из нее посмешище). Проблематика автопоэзиса, методологического анализа, социологических, психологических и многих иных штудий входят в философию как «информация к размышлению», но не как само размышление, у которого, как уже сказано, другой предмет.

На мой взгляд, философская перспектива теории рациональности определяется следующим тезисом: рациональная коммуникация и коммуникативная рациональность суть одна и та же рациональность, но взятая в различных аспектах своего генезиса и функционирования. В основе рациональности не фиксированный набор неизменных онтологических, гносеологических или аксиологических принципов, а всеобщность и непрерывность процесса преодоления и воспроизведения присущего ей «движущего» противоречия. Оно заключается в следующем: мышление рационально, если способно преодолевать собственную рациональность, *трансцендируя*, «*превосходя себя*» в иной рациональности, которая также, в свою очередь, будет преодоленной, когда в этом назревает необходимость. И эта непрерывная череда умираний и воскрешений рациональности осуществляется в работе индивидуальных сознаний (носителями которых и являются коммуниканты), поэтому она имеет и экзистенциальное измерение. Это не безличная логика понятий гегелевского типа, но труд человеческого ума и души, без которого всякая коммуникация – это общение кукол со встроенным механизмом, имитирующим работу сознания.

Поскольку это действительно непрерывный процесс, можно сказать, что движение рациональной мысли подобно *свету*. Эта старинная метафора хорошо передает суть дела: у рациональности нет «массы покоя». Или, переводя на другой язык, рациональность есть форма человеческой свободы в сфере познания и действия.



Коммуникативная рациональность – внешняя и внутренняя[1]

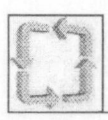
А. Ю. АНТОНОВСКИЙ

Владимир Натанович не уточнил понятие коммуникации, считая ее чем-то непроблематичным. Но, может быть, стоит попытаться разобраться с содержанием понятия коммуникации, уточнить ее внутреннюю структуру и встроенность во внешний контекст и уже на этой основе подойти к проблеме ее рациональности? Иначе как отличить рациональность специфически-коммуникативную от рациональности элементарного действия; рациональность познания, мышления и рассуждения от рациональности каких-то комплексных форм поведения? Я попытаюсь «вывести» рациональность из внутренней структуры коммуникации как таковой, при этом не упуская связь проблемы рациональности со спецификой конкретных типов коммуникаций.

Но для начала все-таки попробуем порассуждать и на предложенном уровне *глобальной* или абстрактной рациональности. Существо проблемы видится В.Н. Порусу в противоборстве двух истолкований рациональности, одно из которых предполагает ее ориентацию на абсолютные или априорные критерии. Другое же признает ее критерии релятивными и апостериорными. Я бы усомнился в самой предпосылке рассуждений, определяющей весь драматизм раскола рациональности, а заодно – и пафос автора. Почему, собственно, ориентированность на цели, определяемые ценностями, должна служить критерием именно второго типа рациональности – рациональности ре-

[1] Статья написана в рамках проекта РГНФ 07-03-00308(а) и гранта РГНФ 08-03-00239(а)

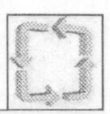




лятивистской? С моей точки зрения, как раз, наоборот, именно ценностная определенность цели как признак убежденности в единственности, в абсолютности, в непреходящем характере того или иного типа поведения, и согласованное с этой убежденностью, т.е. «должное», поведение предполагает рациональность абсолютную. Как раз принятие ценностных систем – неважно, подразумевается ли под ними ценность *денег, истины, закона, власти, интимных отношений* – и вытекающая ценностная мотивация поведения делает поведение абсолютно заданным этими ценностями.

Так, предпринимательская деятельность будет рациональной лишь в том случае, если максимизируется прибыль и оптимизируются издержки производства, и таковая шкала рациональности абсолютна в том смысле, что не учитывает прочие ценности; а если таковые и учитываются, то в этом случае мы просто-напросто сталкиваемся с другим типом деятельности, пусть даже ее агентом и остается тот же самый предприниматель. В этом смысле любая формальная рациональность, или целерациональность, всегда остается и ценностной рациональностью, ведь, по Веберу, чистые идеальные типы существуют лишь аналитически, будучи перемешанными в социальной реальности. При этом такая «экономическая рациональность» ничуть не релятивизируется и с точки зрения внешнего наблюдателя – скажем, ученого-социолога, рациональность которого, конечно, определена другими факторами, истинностью, непротиворечивостью и ценностью именно *нового* знания. Но было бы странным заявление, что предприниматель ведет себя не рационально или иррационально, если не учитывает ценности, разделяемые ученым сообществом. И ученый, и предприниматель способны зафиксировать чужие ценности и в этом смысле явно признать универсальность рациональности чужого поведения. Итак, я делаю вывод: ценностно-целевое определение рациональности вовсе не свидетельствует о его релятивности, но, как раз наоборот, говорит об априорности и абсолютности рациональностных критериев, освещенных ценностями.

Рискну заострить свой тезис. Релятивистской рациональности не может быть ex definition. То, что перестало быть рациональным с точки зрения какого-то наблюдателя, например физика, нашего современника, по отношению к системе взглядов прошлых, например к системе Птолемея, не следует истолковывать как *смену* критериев рациональности, а, скорее, надле-

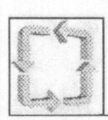


жало бы оценивать как переход от нерациональных, ошибочных взглядов с точки зрения *современника и данной современности* к истинно рациональному знанию. Рациональность в этом смысле, хотим мы того или нет, привязана к точке зрения некоторого данного современника, ведь современность это единственное, о существовании чего можно рассуждать с высокой степенью уверенности, и именно поэтому его и называют «настоящим» в отличие от как бы «ненастоящих» прошлого и будущего. И точка зрения представителя той или иной современности всегда будет задавать абсолютный в данный момент критерий рациональности.

В основании различения *рациональное/нерациональное* в этом смысле лежит временна́я дистинкция *современное/несовременное,* составляя, таким образом, ее *необходимое* условие: все, что отвечает современному знанию, то и рационально. Но есть и *достаточное* условие коммуникативной рациональности, коим и является уже указанная ориентированность на разделяемые тем или иным сообществом коммуникативные ценности, выражающие принадлежность дискурсу, т.е. разделяемым каким-то коллективом принципам интерпретации, какому-то обособившемуся типу коммуникативной практики или общения.

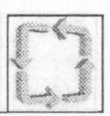
Очевидно, что обособившихся типов общения, или коммуникаций, существует столько же, сколько типов рациональности. В контексте общения в рамках научного дискурса, ориентированного на ценность истинного, достоверного, непротиворечивого знания, рациональным является вклад участника коммуникации (например, научная статья, доклад, гипотеза, теория), также ориентированный на эту ценность, учитывающий критерии научности. Участники политического общения подчиняют свои коммуникативные вклады, т.е. политические решения, ценности власти. Каждое политическое решение должно учитывать возможности усиления своей и ослабления чужой власти, что, в свою очередь, и является критерием рациональности.

Но здесь мы говорим лишь о внешней, или системной, рациональности. Ведь определяя рациональность через ее принадлежность к обособившемуся типу и задаваемые им правила коммуникации, мы не учитываем некую «рациональность вообще». Мы не учитываем то, что может быть названо рациональным применительно к любому акту коммуникации, безотносительно к его принадлежности к большим обособившимся



системам общения – к науке, любви, религии, хозяйству, искусству и даже к медицине и спорту. Очевидно, чтобы дать характеристику рациональности вообще, надо как-то зафиксировать и коммуникацию вообще, общение вообще.

(В скобках я бы хотел уточнить понятие рациональности, принятое в теории социальных систем. Под рациональностью подразумевается способность систем, обладающих рефлексией, к самонаблюдению, т.е. к восприятию себя самих не просто как сменяющихся коммуникативных одномоментных событий (решений, платежей и т.д.), а как некоторой целостности, отличной от внешнего мира, и фиксирующих не только себя и мир, но и само различие между ними. Рациональность с системно-теоретической точки зрения есть способность не просто воспроизводиться и продолжать автопоэзис, а фиксировать свою отличность (например, распознавать сами коммуникативные средства – власть, любовь, истину, – которые и делают возможным обособление некоторого специфического типа коммуникации), и главное – сопоставлять эти свои и чужие коммуникации, в итоге постигая, что системные средства наблюдения или коммуникации не являются чем-то необходимым и единственно возможным. Рациональность системы означает способность дистанцироваться от своего собственного средства наблюдения и выдвигать *предположения о будущем*, т.е. о том, что случилось бы, если бы оно было иным (скажем, политическая система коммуникаций способна подвергать рефлексии некую возможность, где политические решения регулировались бы не кодом власти, а, скажем, кодом денег (коррупция), или кодом личных предпочтений. Здесь коммуникативная система словно сталкивается с реальностью, ориентируясь на иные коммуникативные миры, и только поэтому может самокорректироваться и вытеснять из себя чужие средства коммуникации, но именно через их рефлексию. Это, безусловно, не отменяет факта чудовищного *дефицита рациональности* в современном обществе, связанного, в первую очередь, с закрытым характером сознания как внешнего мира социальных систем. Производимые социальной системой воспитания воздействия на миллиарды сознаний (насаждаемые ею компетенции, мотивации и способы поведения систем личности) уже по определению не могут контролироваться коммуникативно, т.е. с помощью какого-то специфического медиума наблюдения или коммуникации. Система образования и воспитания есть



единственная система, которая имеет в качестве функциональной области трансформацию и воспроизводство не самого общества, а личности, сознания, т.е. сферы, куда коммуникации дорога закрыта дефинитивно. Собственной задачей образовательной коммуникации не является оптимизация и воспроизводство самой этой коммуникации, поиск коммуникативного консенсуса. Поиск мотиваторов, заставляющих учеников принимать коммуникацию, предлагаемую преподавателем, бессмыслен в этих условиях. У учителя нет генерализованных ожиданий, что коммуникация будет принята автоматически; он ищет формы дополнительного, внешнего для системы стимулирования. *Другими словами, основная причина дефицита рациональности в современном обществе вытекает из того, что в образовании нет символических средств, мотивирующих и оптимизирующих коммуникацию, таких как власть в политике, истина в науке, деньги в экономике*. Эта система образования досталась нам в наследство от первичных форм социальной дифференциации – от интерактивного, т.е. неопосредованного общения; от семейных и цеховых форм коммуникации, т.е. недалеко ушедших от традиционных форм социализации, где еще отсутствовала системная рефлексия как базовое основание рациональности.]

Феноменологически, или, так сказать, фенотипически, мы можем представлять коммуникацию всего лишь как письменный, устный и другие типы разговора или диалога. Проблема же в том, чтобы распознать внутреннюю структуру общения, элементы, из которых выстраивается акт общения. Если мы знаем внутреннюю структуру общения, то можем поставить вопрос и о рациональности применительно к каждому элементу, входящему в любую коммуникацию.

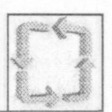
Первой составляющей коммуникативной структуры является экспрессия, или знаковая манифестация, коммуникации. Любая коммуникация состоит из экспрессивного начала. Только это позволяет коммуникацию как-то воспринимать, и только в этом состоит ее эмпирически-фиксируемая реальность. Сообщение можно прокричать, можно прошептать, можно использовать вербальные или невербальные формы. Речь на этом уровне идет о проблеме рациональности той или иной коммуникативной экспрессии. Выбор типа экспрессии эволюционно шел в направлении отказа от жестового общения, т.е. от общения через восприятие чужого восприятия (так, животное встает

в угрожающую позу и по чужой реакции на свою собственную позу усиливает или ослабляет свою собственную реакцию). Эти формы экспрессии хотя и сохранились, но оказались эволюционно менее успешными, нежели экспрессия вербальная. Только в этом смысле вербальная экспрессия более рациональна, чем невербальная.

Эволюционным преимуществом вербальной экспрессии, или языка, стало обогащение коммуникации новым элементом – интерпретацией, т.е. последующим и независимым от экспрессии преобразованием посланного манифеста. Все что сказано, может быть проинтерпретировано, между тем как раньше угрожающая поза как знак угрозы и сама угроза как смысл угрожающей позы совпадали в пространстве и времени. Где была поза, там была и угроза.

С появлением языковой экспрессии коммуникации, последняя раздвоилась на непосредственное проявление или знаковую манифестацию коммуникации, т.е. собственно речь, и интенции манифестирующего, которые образовали собственную закрытую, или субъективную, реальность. Основным приобретением в степени рациональности явилась возможность уточнения, т.е. возможность задать вопрос и уточнить интенцию, смысл сказанного. Ведь вне языка не было возможности как-то специфицировать или проблематизировать смысл телесной манифестации сообщения. Рациональность на этом уровне *есть проблема смысловой интерпретации*. Любая коммуникация теперь сталкивается с проблемой того, насколько рациональна интерпретация произнесенного. Именно на этом уровне возникает второй элемент коммуникативной структуры: *информация*, т.е. придание некоторой определенной формы некоторой телесной или знаковой экспрессии или манифестации коммуникации.

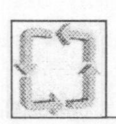
Очевидно, однако, что интерпретация как выявление внутренней интенции, собственного смысла сказанного безотносительно к его экспрессивной форме крайне проблематична, причем именно в силу возникающей раздвоенности коммуникативной экспрессии (речи) и потока сопровождающих эту речь переживаний, замкнутых в сознании произносящего. Это ставит ключевую проблему рациональности коммуникации, проблему связи сознания и речи. Иначе говоря, основной проблемой рациональности коммуникации является проблема сравнения гипотетических интенций участника коммуникации и



манифестируемых им знаковых форм. Речь здесь идет о проблеме понимания как третьего элемента коммуникативной структуры. Каждая коммуникация должна решить ключевую для себя проблему – соответствует ли одно другому, – скрытые мотивы и знаковые формы, выражающие эти мотивы. Если коммуникация решает эту проблему, если участники понимают друг друга, т.е. согласуют скрытые от них интенции и наличную речь, коммуникация и является рациональной.

Подведу итог. Внешняя рациональность коммуникации, как правило, зависит от ее принадлежности к тем или иным глобальным формам социальности – к политике, религии, науке и т.д. Данная рациональность универсальна для каждой формы, но и специфична, ограничиваясь рамками этой формы. Внутренняя же рациональность общения не зависит от глобальных форм социальности. Каждая коммуникация решает проблему своей рациональности. Это рациональность, во-первых, выбора той или формы экспрессии или проявления коммуникации. Во-вторых, это рациональность той или иной интерпретации этой знаковой манифестации на предмет выявления внутренних интенций или мотивов. И наконец, в-третьих, это рациональность понимания, т.е. сравнения и понимания различности того, *что* сказано, и того, *для чего* это сказано. Если такая различность зафиксирована, коммуникация понята.

Если участники общения все три выбора осуществили рационально, в соответствии с принятыми стандартами, говорили, когда надо говорить, и писали, когда надо писать, интерпретировали в согласии с принятыми правилами интерпретации и удачно выявили связь и различность сказанного и его скрытого смысла, т.е. еще и поняли зачем это было сказано, причем именно в данной форме, а не по-другому, – коммуникация является рациональной.



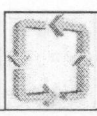
Спор о понятиях или различия по существу?

И. Т. КАСАВИН

По поводу текста В.Н. Поруса у меня возникает вопрос. Так что же все-таки обладает первичностью и самоценностью – рациональность или коммуникация? Для ответа на него следует, вероятно, определиться по поводу того, *где* происходит данная дискуссия: в «третьем мире» К. Поппера или в исторически определенном социуме и культуре? В первом случае говорить о самоценности рациональности можно, но лишь в том смысле, что рациональность – одна из важнейших ценностей европейской культуры наряду со свободой, истиной, справедливостью, духовностью. Во втором случае нам нужно учитывать параметры нашей культуры.

В.Н. Порус сожалеет о том, что «…на долю философии выпадает только идти по стопам социологии и выяснять социальные условия, при которых за истину принимается нечто удовлетворяющее всех или, по крайней мере, большинство заинтересованных участников коммуникативных процессов». Однако речь идет не о *редукции* философии к социологии, но об определенной социологизации методологической рефлексии. Это означает, в частности, что абстрактное понятие коммуникации требует постижения сути того, чем является ее особенная форма – коммуникация социальная или культурная. Именно от содержания самой социальности и культуры и нужно отправляться в рассмотрении форм коммуникации.

Выражение «рациональная коммуникация» вовсе не обязательно предполагает, что рациональность существует до и независимо от коммуникации, подобно тому как выражение «рациональная философия», например, не требует того, чтобы до и

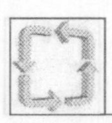


независимо от всякой философии существовала некая вневременная рациональность. Напротив, рациональность только и рождается в лоне философского размышления, рассуждения и коммуникации. Выражение «истинное знание» также не требует абсурдного допущения, что истина существует до и независимо от знания.

В.Н.Порус полагает, что если рациональность – это то, что *возникает* в коммуникации, а не *предшествует* ей, то она является продуктом сознательного выбора коммуникантов. Рациональность действительно возникает в коммуникации, потому что по сути является коммуникативным феноменом, но коммуникация отнюдь не сводится к сознательному выбору и даже не характеризуется им в сколько-нибудь существенной мере. Смысловой обмен между людьми осуществляется стихийно и лишь отчасти вербализуем и управляем. На мой взгляд, основной тезис докладчика обретает фундамент лишь тогда, когда рациональность привязывается к коммуникации, а не рассматривается просто как форма свободы. Стихийная, всеобщая и постоянная коммуникация как свойство, определяющее природу человека, как раз и есть первичная и свободная активность, от которой и производна рациональность как продукт философской рефлексии.

Нельзя, однако, не согласиться с докладчиком, что не в чем-то одном – в критико-рефлексивном промысливании, калькулируемости и выборе, в целесообразности или соответствии социальным потребностям – заключена рациональность человеческой деятельности. Это все локальные, конкретно-исторические измерения и ипостаси рациональности, в которых выражается определенная степень сбалансированности экспансии и соразмерности. Всеобщей рациональностью обладает лишь универсальная творческая деятельность реализующего себя субъекта, который прорывает наличные границы, открывает неведомое, но при этом все же остается человеком.

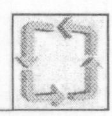
Деятельность с независимым от сознания объектом, вопреки влиятельному заблуждению, нельзя полностью отграничить от общения. Ведь всякая деятельность, использующая социально сформированные орудия и методы, сопровождается тем самым деятельностью с культурным артефактом, которая представляет собой свернутое, или снятое, общение. Значение коммуникативной природы деятельности было осознано в аналитической философии, идущей от Л. Витгенштейна, и в не-



мецкой социологии, соединившей элементы неомарксизма, феноменологии и герменевтики. Эти концепции, в частности теория рациональности и коммуникативного действия Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля, сегодня изучены достаточно хорошо. Учитывая их уроки, попробуем выделить основные параметры общения, с которыми обычно связывается рациональность, и одновременно обсудим вопрос о возможности рационального общения вообще.

Будем первоначально понимать под общением *обмен деятельностью*, опытом. Тогда необходимо выяснить условия, при которых подобный обмен в принципе возможен. Ведь общающиеся субъекты обладают, как правило, различным опытом (возрастным, профессиональным, моральным и пр.) и затруднены в нахождении «точек соприкосновения». Поэтому первым условием и первым шагом общения будет нахождение (изобретение) предметно-смыслового континуума, общего для данных субъектов («общего языка»). Этот процесс удачно смоделирован в компьютерных программах, предполагающих диалог с машиной на основе ряда «ключевых слов» (команд, имен программ, директорий, файлов и т.п.). Характерно, что нередко программируется и «предел ошибки», в силу которого нельзя использовать бесконечный перебор для нахождения нужного слова. Примером могут служить «персональные ключи» для ЭВМ или «тайные коды» для денежных автоматов: в обоих случаях трех неверных попыток достаточно для заблокирования системы. Аналогично и людям приходится иметь в виду «предел доверия»: иной раз в начале знакомства достаточно нескольких неверных фраз, чтобы воздвигнуть между друг другом непроходимую стену. Негативный опыт поиска «общего языка», так же как и отсутствие опыта вообще, однозначно блокируют общение.

Поэтому если мы имеем в виду ситуацию, когда по крайней мере одна из сторон заинтересована в общении, то условие ее возможности составляет ограничение, локализация личного опыта, приспособление его к опыту другого при том, что этот последний сам является своего рода неизвестной (хотя и самоценной) величиной. Конструирование общего языка представляет поэтому процедуру, никак не сводимую к логическим обобщениям с целью нахождения «общих воспоминаний», «общих знакомых», «общих интересов». Началом общения

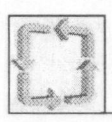


в условиях «тотального незнания» не может быть равноправный диалог в форме вопросов и ответов, предполагающий открытый и отчетливый обмен мнениями.

Таким началом выступает, скорее, некое непроблематизированное повествование на общую тему, позволяющее исподволь, неявно подойти к откровенным формулировкам. Так, в рассказе Бабеля «Мой первый гусь» очкастый кандидат прав, прикомандированный к шестой дивизии Конармии, своим видом и манерой общения обречен на неудачу. Об этом его предупреждают заранее: «Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия – из него тут душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...». Не будучи в состоянии иначе преодолеть недоверие и презрение солдат, герой совершает нарочито грубую экспроприацию гуся, приказывает старухе-хозяйке изжарить его и тем завоевывает авторитет у конармейцев. Активные и самостоятельные действия героя (убийство гуся) на общей территории (двор), его разговор с известным третьим (хозяйкой) на общедоступном (матерном) языке является своеобразным «рассказом о себе», неформальным «curriculum vitae», неявно создающим базу общения.

Если обратиться к предельной и в чистом виде не встречающейся ситуации «равноправного общения», когда ни одна из сторон не занимается навязыванием своего опыта другому, то в ней мы обнаружим «симметричное продуктивное общение». Классический пример такой ситуации – история Ромео и Джульетты, представителей враждебных родов, вынужденных силою любви преодолевать прежние и искать новые способы общения.

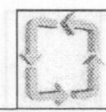
Понимающее общение, напротив, совершенно несвойственно таким ситуациям. Субъекты общаются здесь вопреки и несмотря на изначально непреодолимые условия (кровной вражды), благодаря стихийной страсти, не нуждающейся в понимании и возникающей, быть может, вопреки ему, при том что не существует каких-либо принципиальных интеллектуальных или культурных преград для понимания. Однако понимание друг друга как осмысление мира своего партнера вообще не является необходимым элементом общения; напротив, непонимающее общение – наиболее распространенный вариант сосуществования людей, обычно не ставящих задачу постижения истинных мотивов поведения, чувственных и интеллектуальных способностей, духовных ориентиров другого человека.



Потребность в понимающем общении возникает, в основном, тогда, когда самоценность духовного мира каждого рассматривается в качестве предпосылки общения. Как правило, в качестве подобных предпосылок выступает нечто иное; например, условия общения, личные потребности и цели общающихся субъектов. По крайней мере, в рамках локального опыта деятельности потребность в понимающем общении не возникает, поскольку люди живут в едином историко-культурном пространстве, и понятие о субъективности не существует в артикулированном виде.

Универсальный опыт, в рамках которого встречаются разные исторические типы культуры, иногда создает условия для того, чтобы момент явного несовпадения интеллектуальных и чувственных стереотипов предстал в качестве эмпирического факта сознания. Разрыв в понимании, осознанный, прочувствованный как таковой, является предпосылкой понимания. Что было на уме у древних египтян, когда они мумифицировали своих покойников и снабжали их всем необходимым для загробной жизни? Почему их современники в Элладе сжигали тела умерших? Этот вопрос не возникает у нас в связи с современным обрядом погребения, поскольку все мы примерно в равной степени не понимаем его смысла и, в основном, просто повинуемся традиции. Однородная и современная человеку реальность не нуждается в понимании, поскольку составляет контекст его жизни. В этом смысле понимание противоположно жизни; интерпретация иной культуры или духовного мира – это форма их искусственного воскрешения как своего иного, чужого, становящегося, но никогда до конца не ставшего своим. Понимание прекращается с окончательным преодолением разрыва культур: «Любящие не смотрят друг другу в глаза», – афористично описал эту ситуацию один психолог.

Таким образом, мы попытались понять рациональность общения не просто как осознанный процесс, базирующийся на понимании грамматики и смысла слов употребляемого языка, как это принято в некоторых концепциях аналитической философии. Понимание – это, скорее, способность контекстуализации речи и текста, исходя из некоторой культурной традиции. Тогда рациональность предстает в форме дискурса и диалога, реализующих собой коммуникативные правила и фундаментальные условия коммуникации данной культуры.



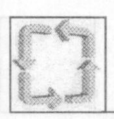
Коммуникативная рациональность и жизненный мир человека

Н. М. СМИРНОВА

Европейская культура переживает период кризиса рационального мышления. И попытки «удержать» рациональность в мышлении и практике, пусть и ценой «девальвации» ее классических идеалов, сегодня востребованы, как никогда. В ответ на эту культурную потребность в наш философский тезаурус вошли «рациональность повседневности» (И.Т. Касавин), «мягкая рациональность» как результат размывания границ между episteme и doxa (В.Г. Федотова), «открытая рациональность» развивающегося научного знания, которая, в отличие от «закрытой», не предполагает четко эксплицированных критериев (В.С. Швырев). Этой же потребности отвечает полемически заостренный доклад В.Н. Поруса.

Но «интеллектуальная страсть» (М. Полани) к предмету, как и страсть вообще, чревата «зачарованностью своим объектом», а потому нередко побуждает к крайностям. Доклад В.Н. Поруса открывается утверждением, что рациональность коммуникации и коммуникативная рациональность не только различны, но и «различия между ними настолько важны, что их фиксация может рассматриваться как обозначение рубежа, от которого отправляются главные тенденции развития эпистемологии». Но, проанализировав эти тенденции (абсолютистскую и релятивистскую), автор в завершение признает, что «рациональная коммуникация и коммуникативная рациональность *суть одна и та же рациональность* (курсив мой. – *Н. С.*), но взятая в различных аспектах своего генезиса и функциониро-

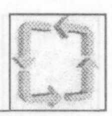




вания». В итоге автор приходит к утверждению, что «мышление рационально, если способно преодолевать собственную рациональность, трансцендируя, «превосходя себя» в иной рациональности, которая также, в свою очередь, будет преодоленной, когда в этом назревает необходимость».

В целом же рассуждения В. Н. Поруса остаются в рамках жесткого, структурно-функционального подхода к пониманию коммуникации как социального действия, детерминированного ситуацией. Однако не следует забывать о том, что «формальная рациональность», в терминологии М. Вебера, подверглась обоснованной критике в поствеберовской социологии. И вот почему. М. Вебер принял изолированное социальное (субъективно осмысленное и ориентированное на Другого) действие за исходную клеточку своей «понимающей» социологии. Субъективный смысл действия молчаливо предполагался инвариантным, т.е. неизменным на протяжении всего процесса исполнения действия. Но в пролонгированных и коммуникативно опосредованных действиях – субъективный *опыт* исполнения действия, что, как правило, приводит к корректировке исходного субъективного смысла. Кроме того, исходный проект, основанный на социально-типизированных представлениях, не в состоянии заранее учесть все эмерджентные факторыф, неизбежно возникающие по ходу исполнения действия. Поэтому веберовское действие представляется целерациональным лишь *ретроспективно*. Сам же процесс исполнения неизбежно включает в себя возвратные движения на основе проб и ошибок, корректировки предварительных результатов; т.е. представляет собой, в терминологии Э. Гуссерля, *акт прерывистого синтеза.* Сказанное в полной мере справедливо и в отношении речевого действия, в котором продолжение разговора определяется не только исходным замыслом (темой), но и непрерывно корректируется на основе «обратной связи» – коммуникативной реакции партнера.

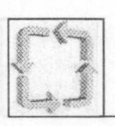
Основной массив повседневных социальных коммуникаций осуществляется с использованием естественного языка. Им трудно приписать жесткие, «априорные» когнитивные паттерны. Столь же трудно ожидать, что коммуникативные партнеры в повседневной жизни смогут абстрагироваться от собственных интересов и станут руководствоваться исключительно принципами Разума. И на возможное возражение, что повседневные коммуникации отнюдь не исчерпывают собой всего корпуса



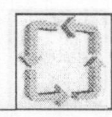
социальных коммуникаций, можно ответить словами Б. Вальденфельса: «Повседневность есть плавильный тигель рациональности», тогда как чистый Разум является изобретением философа.

В.Н. Порус связывает пути дальнейшего развития этой проблематики с углубленной философской разработкой понятий субъекта и объекта. Он полагает, что «отказ от оппозиции «субъекта-объекта» сам по себе ни к чему интересному не приводит, а только погружает в тину разглагольствований по поводу относительности этих понятий или их привязанности к отжившим формам философствования». Но не следует забывать, что именно на пути поиска опосредований этих противоположностей развивались наиболее влиятельные теоретико-познавательные концепции Новейшего времени – кантианство и феноменология. Кант «встраивает» априорные условия возможности постижения «объекта» в когнитивный аппарат «субъекта» (пространство и время, система категорий), тогда как сам объект предстает как реализация априорных когнитивных способностей – чистого чувственного созерцания и рассудка. Э. Гуссерль делает еще более радикальный шаг. Он утверждает, что трансцендентальный предмет (ноэма) дан не иначе, как в формах нашей «схваченности», ноэзы, на которую ранее не обращали внимания («мы видим предмет, но не замечаем процессов его видения»). Таким образом, исходная оппозиция в феноменологической интерпретации предстает как *ноэтико-ноэматическое единство*, конституируемое совокупностью интенциональных актов.

Мне представляется, что важнейшим направлением исследования коммуникативной рациональности является анализ контекстов употребления этого понятия. Ибо максима Л. Витгенштейна «Значение слова есть его употребление в языке» особенно справедлива в отношении понятий развивающихся областей знания, которым трудно приписать фиксированные значения вне «языковых игр», в которых они участвуют. Так, в «Теории коммуникативного действия» Ю. Хабермас связывает понятие коммуникативной рациональности с *жизненным миром человека.* Именно в контексте исследования жизненного мира понятие коммуникативной рациональности только и обретает смысл. Определяя социально-культурную цену социальной модернизации («Модерн – незавершенный проект»), Ю. Хабермас утверждает, что вхождение в индустриальную



современность сопровождалось разорением традиционных социокультурных гнезд, т.е. разрушением *структур коммуникативной рациональности* – понимания и ориентации в социальном мире. Социальные изменения, продолжает он, должны осуществляться такими темпами, чтобы человек успел адаптировать к ним свою систему интерпретаций. Поэтому культурным императивом социальной экологии является запрет на насильственное разрушение структур коммуникативной рациональности. Здесь, как видим, коммуникативная рациональность связывается не с общезначимыми правилами коммуникации, формирующимися по ходу взаимодействия, но куда с более тонкой социальной «материей» – *субъективным смыслом* как жизнепрактической основой понимания и интерпретации в социальном мире. Поэтому исследование седиментации и последующей трансформации субъективных значений – важнейшее направление изучения коммуникативной рациональности.



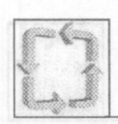
Является ли релятивизм неизбежным следствием коммуникативной рациональности?

Е. В. ВОСТРИКОВА

Различие и даже противоречие между понятиями «рациональная коммуникация» и «коммуникативная рациональность» В.Н. Порус представляет в рамках противостояния двух пониманий рациональности: абсолютистского и релятивистского. Первый термин предполагает, что рациональность выступает как внешнее для коммуникации условие, а второй – что рациональность вырабатывается в процессе самой коммуникации и, соответственно, является индивидуальной для каждой коммуникации и определяется условиями, в которых коммуникация осуществляется. Это приводит к тому, что различать между рациональным и нерациональным можно только изнутри самой коммуникации. Невозможность говорить о единых средствах понимания и интерпретации каждой отдельной коммуникации имеет своим следствием релятивизм.

Как мне представляется, во многом сложности как абсолютистской, так и релятивистской позиции связаны с тем, как формулирует эти концепции автор.

Нерелятивистское определение рациональности формулируется автором очень узко: «Границы рациональности совпадают со сферой знания, обладающего универсальностью, необходимостью и истинностью; рациональность – общая характеристика деятельности, ведущей к такому знанию и направляемой им».

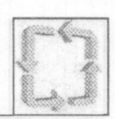


Такое понятие рациональности становится легко уязвимым для критики, поскольку оно не соответствует большинству своих применений. Так, например, ясно, что рациональность автор понимает в широком смысле – и как научную рациональность, и как рациональность действия, и рациональность коммуникации. И даже если отвлечься от сложностей такого определения (например, целью науки не всегда является достижение «необходимого» знания, а понятие «истинное знание» содержит круг в определении), то понятно, что в философии деятельности такое определение просто не работает. Это объясняется тем, что не все виды действий (и коммуникаций) имеют своей целью получение знания.

С другой стороны, слишком узким является и релятивистское определение рациональности, согласно которому рациональным является то, что способствует лучшему достижению определенной цели. Во-первых, так же, как первое определение ориентировано только на эпистемическую рациональность, это определение ориентировано только на рациональность действия. Эти определения имеют разные области приложения. Само по себе оно не ведет неизбежно к релятивизму. Во-вторых, оно фактически не является определением, а только ставит новую задачу определения смысла «лучший» для каждого случая. Идет ли здесь речь о «самом быстром» достижении цели? По всей видимости, нет. Так, например, достичь цели «стать богатым» можно, купив лотерейный билет или устроившись на работу с большой зарплатой; однако, несмотря на то что первый способ в случае успеха без сомнения является более быстрым, более рациональным является второй. В-третьих, оно действительно является формальным, и по этому определению наиболее рационально действующим субъектом окажется робот или вирус.

Ясно, что предложить определение «рациональности» или «коммуникации», которое было бы достаточно широким, чтобы охватить все случаи употребления этого понятия, но достаточно узким, чтобы быть определением именно этих понятий, – нелегко, а может быть и невозможно. Тем не менее все же представляется, что есть некоторая общая идея, которую мы выражаем, говоря, что действие или высказывание является «разумным, соответствует нормам разума».

Даже в рамках философии действия чаще всего применяется не вышеприведенное веберовское определение в чистом



виде, а его усложненный вариант. Это определение в терминах желаний (намерений) и убеждений традиционно формулируется так: рациональным является действие, которое нельзя объяснить, не обращаясь к убеждениям и желаниям агента.

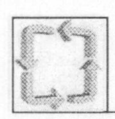
Такое определение более успешно уже потому, что позволяет избежать возражения, что робот является наиболее рациональным агентом, поскольку оно обращается не к цели самой по себе, а к содержанию желаний. Это определение предполагает, что убеждения или желания действуют не как причины, а как основания для действия. Именно поэтому интенциональность многие философы определяют как «осмысленность», и иногда как «рациональность»[1].

Однако я предложила бы модифицировать данное определение, так как в противном случае рациональным мы должны были бы признать все действия, которые можно объяснить хотя бы в какой-то системе убеждений. Так, например, согласно такому определению ритуальные пляски, имеющие целью перемену погоды, должны рассматриваться как рациональные действия в системе убеждений определенных индивидов. Как представляется, рациональными следует назвать только те действия, которые совершаются на основании истинных обоснованных убеждений, т.е. на основании знания. Рациональность, таким образом, в широком смысле можно определить, как способность применять знания для достижения целей.

Это определение является удачным, поскольку оно позволяет принимать во внимание (социальный) коммуникативный аспект действия. Кроме мотивов действия для его объяснения должны привлекаться так называемые «намерения в действии», его иллокутивная сила. Действие «выпить вина на празднике» в зависимости от ситуации может быть протестом, любезностью, отречением от религии, ритуалом или флиртом и т.д. Кроме того, это определение можно распространить и на коммуникацию. Акт коммуникации не просто имеет целью вызвать некоторое действие, – он сам представляет собой определенное действие.

Заметим, что данная интерпретация не исключает существования ложных рациональных высказываний и даже ложных рациональных убеждений, поскольку связывает рациональ-

[1] См.: Деннет Д. Виды психики. М., 2004.



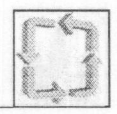
ность высказываний и убеждений не с их истинностью, а с истинностью других высказываний и убеждений.

Так, например, ложное высказывание «все лебеди белые» является рациональным в свете истинного убеждения: «большое количество примеров в пользу индуктивного вывода и отсутствие контрпримеров чаще всего позволяют заключить о его истинности» до тех пор, пока никто не встречал черного лебедя. Для того чтобы считать действие или высказывание рациональным, требуется не просто, чтобы некоторые убеждения в системе индивида были истинными, а чтобы сам индивид обосновывал свое действие или высказывание истинными и обоснованными суждениям.

Именно эти две базовые идеи – истинности и обоснованности – лежат в основании наших представлений о рациональности, как в области философии действия, так и в области научного знания. Для того чтобы расширить данное определение так, чтобы оно включало в себя научную рациональность, его можно сформулировать следующим образом: рациональность – это способность применять или получать знание. Рациональность имеет отношение к пониманию, однако это не значит, что любое действие, осмысленное в рамках определенной коммуникации, является рациональным. Нет противоречия в том, чтобы понять действие или высказывание, но тем не менее считать его нерациональным.

Выделив общую идею, лежащую в основании наших представлений о рациональности, мы можем сформулировать задачу, стоящую перед релятивистскими теориями рациональности. Отождествить рациональность с осмысленностью, понятностью можно, только обесценив понятия истины и обоснованности. Для того чтобы можно было утверждать, что каждый дискурс формирует свою рациональность, требуется релятивистское определение истинности. Когда сторонники релятивистских интерпретаций рациональности не ограничиваются многочисленными примерами, а также некоторыми общими соображениями о роли социального контекста, о правилах дискурса и их власти, а ставят перед собой конкретные задачи объяснения определенных понятий в терминах других понятий, то становится ясным, что релятивизм – это концепция, которую чрезвычайно сложно отстаивать.

Идея о том, что коммуникативная рациональность имеет своим следствием релятивизм, основывается на чрезвычайно



сильных допущениях, которые, когда мы их точно сформулируем, очень сложно защищать.

1. Каждая коммуникация *произвольно* формирует свои собственные смыслы и правила их употребления, бессмысленные в контексте другой коммуникации.

2. Эти правила употребления и есть рациональность, другого определения рациональности предложить невозможно.

3. Наука представляет собой не более чем коммуникацию или ряд коммуникаций.

Я соглашусь с тем, что ситуация, когда рациональность была бы утрачена, для философии катастрофична. Тем не менее разговор об «утрате» понятия рациональности в современной философии и культуре во многом является преувеличением. В ответ на цитату о природе истины, приведенную В.Н. Порусом, мне хотелось бы привести другую цитату: «Верно то, что большинство академических философов в англоязычном мире видят под именем "релятивизм" признак теоретического коллапса, и немногие желали бы защищать какую-либо версию этой доктрины»[2].

---

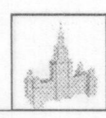
[2] http://plato.stantord.edu/entties/relativism

Теория познания как прикладная дисциплина, а также о возможности ее практически ориентированного преподавания

Н. И. МАРТИШИНА



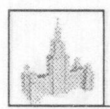
Определенная специфика положения гносеологии в комплексе философского знания обусловлена изначально присущей ей практической ориентацией. Безусловно, направленность гносеологии не сводится к прикладной задаче регулирования познания, но идея усовершенствования стихийной интеллектуальной деятельности составляет общий фон развития гносеологии. В отличие от онтологии, которая чаще представляла собой попытку понять, как устроен мир, для того чтобы в принципе это знать и иметь исходные основания для конкретных исследований, гносеология изучала познание в том числе для того, чтобы сделать его более эффективным, и эта цель (пусть лишь как одна из функций гносеологии) возобновлялась на различных этапах ее исторического развития: античная гносеология во многом вдохновлялась необходимостью ограничения произвольности рассуждений, обнаруженной софистами; средневековая гносеология решала проблемы согласо-



вания знания с верой и разрабатывала востребованную интеллектуальной практикой технику интерпретации текстов; гносеология Нового времени, придя к выводу, что нельзя «ожидать, что будет сделано то, чего до сих пор никогда не было, иначе, как средствами доселе не испытанными»[1], начала искать такие средства и бороться с «идолами познания»; у истоков философии науки лежит превращение науки в потенциальную силу и требование обеспечения ее устойчивого роста. Целые области исследований познания, от логики до герменевтики, вырастали из потребностей специального регулирования отдельных составляющих познавательной деятельности. Иными словами, допустимость практической и даже прагматической интерпретации вполне в традициях гносеологии. И в современных условиях это обстоятельством может стать ключевым в самоопределении философией своего статуса: именно на материале гносеологии можно показать, что философия обладает не только общей мировоззренческой и культурной ценностью, но и более ощутимой для отдельного человека результативностью.

Большинство из нас преподает философию в непрофильных вузах и вынуждено время от времени отвечать на явно или неявно задаваемый вопрос студентов о том, зачем им – будущим инженерам, экономистам, юристам и т.д. – изучать философию, какова цель ее присутствия в учебном плане. Безусловно, каждый из нас имеет в своем арсенале отработанные на поколениях студентов беспроигрышные варианты ответа; но при этом, вероятно, многим знакомо и смутное желание иметь возможность высказаться с лапидарностью коллеги с кафедры сопромата: «Если вы будете плохо знать мой предмет, мост, построенный вами, рухнет!». С этой точки зрения убеждение в значимости мировоззренческих и методологических функций философии целесообразно дополнить для студента конкретными ситуациями, в которых философские знания позволяют ему точнее сориентироваться в каких-то вопросах. Философия помогает человеку в решении жизненных проблем – обычно этот тезис соотносится с экзистенциальной проблематикой. Но студент учится, и в его жизни большое место занимают проблемы осуществления и организации познавательной деятельности. Если не в их решении, то хотя бы в привлечении к ним внимания и в их лучшем понимании ему должна помочь гносеология.

[1] Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 12.



То же касается послевузовского образования. Замена кандидатского экзамена по философии экзаменом по истории и философии науки привела сначала к продолжительным (и все еще не до конца завершенным) спорам о целесообразности такой замены, а в течение последних лет – к необходимости обсуждения содержательного наполнения этого курса. Теперь, когда все мы приобрели соответствующий опыт, отчетливее обозначились и проблемы, и соображения по поводу того, что должен включать в себя этот курс. Мне, как, думаю, и многим, существенно помогали в разработке этого курса материалы журнала «Эпистемология и философия науки», и, как преподаватель-практик, я хотела бы воспользоваться случаем поддержать, в частности, статью А. Л. Никифорова «История и философия науки – впечатления преподавателя», опубликованную в № 1 за 2007 год, поддержать как высказанную в ней общую идею отбора для преподавания тем, образующих жесткое ядро дисциплины, а не зону ее роста, так и многие моменты предложенного автором выбора таких тем. Но в дополнение к научно-теоретическим основаниям формирования данного курса мне представляется возможным принять во внимание еще один аспект его преподавания. Аспирант, начинающий свое обучение, или соискатель, начинающий научную работу, осваивает относительно новую для себя сферу деятельности. Вопросы о сущности и специфике науки как вида познания, деятельности и социального института неожиданно обретают для него жизненное значение – ему надо разобраться в том, как организована его новая «среда обитания», какие «правила игры» в ней действуют. Но ведь это как раз ключевые проблемы философии науки. На мой взгляд, это в какой-то степени наш долг – сделать так, чтобы аспирант получил не только информацию о том, чем постпозитивистский образ науки отличается от неопозитивистского и т.п., но и обнаружил операциональный разворот этих проблем, а может быть, и «подсказки» по локальным моментам организации научной работы. Приведу пока один частный пример. Рассматривая концепцию Ф. Бэкона и, в частности, приведя его знаменитую метафору, сопоставляющую три типа ученых с муравьем, пауком и пчелой, можно не только предложить слушателям представить, как будет писать реферат каждый из этих типов (мои слушатели после этого обычно до самого конца учебного года говорят: «Я неожиданно для себя написал этот реферат прямо как паук, вдруг как пошли свои мысли...»), но и, отталкиваясь от этого, более

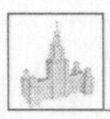


предметно обсудить выполнение одного из первых заданий, которое получат аспиранты от своего руководителя – написание обзора литературы по проблеме. Нужно включать в обзор все просмотренные источники или только те, из которых ты конкретно что-то берешь? Почему недостаточно просто перечислить, кто рассматривал такой-то вопрос, а надо всегда указывать на предлагавшиеся решения и их границы? Какое место могут занимать цитаты, каковы правила их размещения и какой должна быть цитата по длине? И, в конце концов, для чего этот обзор вообще нужен? На первых порах все это – не такие уж тривиальные вопросы. Конечно, можно сказать, что это должен объяснять человеку его научный руководитель. Он и объяснит – когда аспирант принесет ему первый вариант обзора. Но для того чтобы начать эту работу, очень часто требуется какая-то отправная точка, может быть именно в виде понимания, пусть на самом предварительном уровне, базовых принципов научной работы вообще, независимо от специальности. Кстати, именно на самой начальной стадии подготовки ученого уместен и общий разговор о профессиональной этике научной работы, о нравственных нормах и ценностях, действующих в науке (в большинстве критических статей по этическим проблемам современной науки указывается на необходимость изначальной этической ориентации исследователя, без которой не работают никакие социальные регуляторы)[2]. На мой взгляд, и здесь нашей задачей является поддержка общих принципов, на которые в дальнейшем будут накладываться указания наставников и опыт работы в конкретной области.

Резюмируем сказанное. С одной стороны, существует задача сделать гносеологические курсы и дисциплины востребованными в практике современного высшего и послевузовского образования. С другой стороны, существует совершенно объективная потребность в курсах определенного содержания, вполне совместимого с гносеологической традицией. Представляется целесообразным попытаться их состыковать. В данный момент явно утопичен образ коллеги с кафедры теоретической механики или теории и практики связей с общественностью, доказывающего на ученом совете университета необходимость изучения философии и стремящегося зарезервировать для нее побольше часов в учебных планах.

---

[2] См., например: Виноградова Т.В. Этические проблемы творчества ученого // Вопросы истории естествознания и техники. 1992. № 2. С. 118–127.

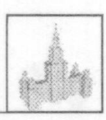


Но если наши сегодняшние слушатели увидят в философской теории познания не просто очередную напасть, которую надо как-то пережить, а знание, которое реально помогло им в какие-то моменты в начале их научной работы, может быть, впоследствии, став доцентами, деканами, профессорами, они будут несколько иначе к ней относиться?

До сих пор речь шла о студентах, обучающихся по традиционным планам, и аспирантах (соискателях). Есть еще одна быстро растущая категория слушателей – активно расширяющаяся магистратура. Это сравнительно новая для наших вузов ступень обучения, причем вопрос о том, как именно нужно готовить магистрантов, еще весьма далек от ясности – форма заимствована из зарубежного опыта, заимствование содержания ограничено тем обстоятельством, что и подготовка специалистов, и аспирантура в традиционном виде параллельно сохранены. В этих условиях магистратура отчасти приобретает вид промежуточного этапа, формы подготовки к педагогической и научной работе, пока вне ориентации на конкретную тематику. Но это означает, что одной из задач магистратуры является совершенствование навыков учебной и исследовательской работы, и тогда на этой ступени обучения определенное место опять-таки вполне логично должны занять гносеологические в своей основе курсы. Например, автору при расширении магистратуры в университете было предложено вести курс «Методология научного творчества». Опыт этой работы оказался неожиданно интересным как раз с точки зрения использования теоретического материала по гносеологии в новом ракурсе – хотелось сформировать именно методологическую дисциплину с учетом того, что общий курс философии был уже изучен. И именно опыт преподавания такой дисциплины помог понять, насколько востребованным является обсуждение на базовом уровне различных сторон осуществления познавательной деятельности вообще и научной работы в частности.

Далее я постараюсь выделить некоторые составляющие, во-первых, гносеологии как раздела общего курса философии и, во-вторых, курса истории и философии науки, которые, на мой взгляд, преимущественно могут быть операционально интерпретированы и продолжены в направлении разработки практических рекомендаций.

Одной из наиболее традиционных тем общей гносеологии является вопрос о сущности и взаимосвязи чувственного и рационального познания. Теоретическое освещение этой темы в лекции в обязательном порядке



включает анализ форм чувственного и рационального познания, обоснование идеи их взаимопроникновения, обзор исторических дискуссий сенсуализма и рационализма, соотнесение понятий чувственного и рационального с понятиями эмпирического и теоретического; не всегда происходит, но, на мой взгляд, необходимо выделение визуального и вербального мышления как технологии обработки информации (в дополнение к описанию форм ее фиксации). Тогда семинарское занятие может начинаться непосредственно с практического введения. Я предлагаю студентам сделать упражнение, вначале никак не объясняя его цели: называю понятия, которые они должны, не записывая, как-то изобразить графически, найти для каждого образ, отражающий суть понятия. Понятий при этом следует давать не менее 30, называть их достаточно быстро (не более 10 секунд для изображения каждого), подбор должен включать как конкретные, так и абстрактные понятия (прогресс, честность), а также близкие понятия, требующие отображения смысловых нюансов (развитие, цель). Потом прошу временно отложить сделанные работы, продолжаю занятие, вынуждая студентов переключиться на другие вопросы, и примерно через полчаса возвращаюсь к началу и прошу студентов восстановить список понятий. Обычно далеко не всем удается сделать это без пробелов, после чего можно задать вопрос о том, какие трудности встретились при выполнении задания, и перейти к более широким вопросам о том, как соотносятся понятие и представление, какое место в познании занимают образ, символ, слово, каковы достоинства и границы каждой формы мышления. Помимо такого естественного результата, как общее оживление обсуждения, использование этой или подобной ей методики превращает для студента единство чувственного и рационального познания из констатирующей формулировки учебника в задачу, которую необходимо решать. Причем усилия по решению могут действительно оказывать влияние на эффективность интеллектуальной работы: способность к визуализации абстрактных понятий, умение «видеть» концептуальные соотношения, добиваться координации чувственных и рациональных средств познания остается одним из наиболее сильных механизмов творческого мышления, о чем вполне уместно еще раз напомнить студентам в заключительной части семинара. Описание ряда интересных упражнений, направленных на развитие интеллекта в этом отношении, содержится, в частности, в книгах: Меерович М.И., Шраги-

на Л.И. Технология творческого мышления. М., 2000; Латыпов Н. Основы интеллектуального тренинга. Спб., 2001.

Можно значительно расширить эмпирическую основу рассмотрения данной темы, используя задачи из специализированных тестов, применяемых для оценки различных компонентов интеллекта (визуального, языкового, практического интеллекта). Простейшую методику, например, предложение сгруппировать попарно числа 5, 10, V, X (квалифицирующим фактором является выбор группировки либо по значению, либо по начертанию) нетрудно задействовать и на лекции: много времени она не займет. При наличии технической возможности и времени (например, в случае планирования аудиторных часов для консультаций и организации самостоятельной работы) можно даже провести предварительно некоторые специализированные тексты целиком. Такой опыт делает для студентов более наглядными как общность, так и различие средств и операций чувственного и рационального познания, а в более общей перспективе позволяет им задуматься о предпочтительных для них лично познавательных стратегиях. Использовав, в частности, материалы сборника «Новые тесты IQ» (Сост. Кошелева М. Ростов н/Д., 2002) я получила заодно неожиданный побочный результат в плане оценки аудитории: при предварительном рассмотрении тесты для оценки языкового интеллекта показались мне существенно более легкими, чем тесты для оценки пространственного воображения, а студенты технических специальностей восприняли пространственные тесты как элементарные, а языковые – как весьма сложные. В принципе, подобный эффект был ожидаемым, но оказался выраженным впечатляюще отчетливо. Речь идет об особенности аудитории, которую необходимо учитывать в практике преподавания постоянно.

Конечно, при использовании тестовых и тренинговых методик возникает опасность излишней фокусировки на них внимания и утраты собственно философского содержания занятия. Но все в руках преподавателя, ведущего занятие: он соответствующим образом распределяет учебное время (еще раз подчеркну, что затратные с этой точки зрения методики должны реализовываться за пределами самого семинара) и имеет возможность вовремя перейти от данных к их обобщению, обсуждению, выводам, постановке проблемных вопросов. Для демонстрации иллюстративного характера таких упражнений правильно будет не стремиться к строгому выполнению регламента, обязательного для психо-



логического тестирования (контролю времени решения задач, индивидуализации оценок), и в целом их использование можно рассматривать как привлечение конкретно-научного материала для содержательного анализа философской проблемы.

Еще более очевидным является прикладное значение такой составляющей курса, как проблемы логики познания, его логического построения и регулирования. С ней в учебном курсе соотносится и ключевая для гносеологии проблема истины и ее критериев.

Думаю, многие из нас ощущают характерную особенность массовой аудитории нашего времени, о которой И.Т. Касавин сказал так: «Ошибки, связанные с нарушением логической правильности рассуждений,... и составляют в сущности логику повседневного мышления»[3]. Это реальность, напрямую касающаяся преподавания: наши слушатели привыкли рассуждать именно на уровне повседневного мышления. Изменение уровня логической культуры их рассуждений требует специальной направленной работы.

Не могу удержаться от того, чтобы привести для иллюстрации несколько ответов, полученных в этом году на вводном занятии по логике. Студентам первого курса предлагались короткие умозаключения[4], ставилась задача оценить их логическую правильность. Задание выполнялось в письменной форме.

Пример 1. Если он пойдет в отпуск, он поедет в Киев. Если он поедет в Киев, он навестит старых друзей. Если он навестит старых друзей, он узнает много интересного. Следовательно, если он пойдет в отпуск, он узнает много интересного.

Комментарий студента: С одной стороны, вроде бы правильно. Но, с другой стороны, не факт, что, не попав в Киев, он не узнает что-то интересное. И даже попав в Киев, нет гарантии, что он узнает интересное от своих друзей. Поэтому я оцениваю логическую правильность данного рассуждения как 50 / 50.

Пример 2. Чтобы хорошо сдать экзамен, надо иметь учебник или конспект. Ни учебника, ни конспекта нет. Значит, экзамен не будет сдан хорошо.

Комментарий студентки: Ну, это не совсем так. Ведь чаще всего на экзаменах ни учебником, ни конспектом пользоваться нельзя. И логический вывод

[3] Касавин И.Т. Язык повседневности: между логикой и феноменологией // Вопросы философии. 2003. № 5. С. 14.

[4] Некоторые примеры взяты из книги: Ивин А.А. Практическая логика. М.: Просвещение, 1996.

один: человек, идя на экзамен, должен быть подготовлен на 100 % и полагаться только на себя и на свои знания.

Пример 3. Ни одно простое число не является четным. Ни одно простое число не является последним в числовом ряду. Значит, последнее число в числовом ряду – четное.

Комментарий студента: Все правильно, последнее число четное.

Пример 4. Некоторые птицы не летают. Некоторые птицы – вороны. Следовательно, некоторые вороны не летают.

Комментарий студентки: Я считаю, что это рассуждение логически неправильно, т.к. мы знаем, что вороны летают, из познания зоологии, биологии. Хотя, с другой стороны, не летать вороны могут по состоянию здоровья, например, повредя крыло.

Пример 5. Если к телу, движущемуся равномерно и прямолинейно, не подводится сила, оно движется без ускорения. Тело движется без ускорения. Значит, к нему не подводится сила.

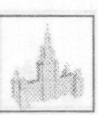
Комментарий студента: Вряд ли. Ведь если силу прикладывать равномерно, тело все равно будет двигаться равномерно.

Пример 6. Поскольку свет имеет энергию, а энергия эквивалентна массе и все массы притягиваются, свет тоже притягивается.

Комментарий студентки: Не знаю!!! Разве свет может притягиваться?

Разумеется, таковы далеко не все ответы, но и это тоже не единичные примеры. Трудности, с которыми встречаются студенты (речь идет о вчерашних абитуриентах, только что поступивших на первый курс и приступающих к новой учебной деятельности), понятны: многим сложно почувствовать само отношение логического следования, отделить его от фактического материала, почувствовать принудительную силу логического обоснования. К тому же многие не готовы считаться с фактами, не видят границы для выражения собственного мнения в установленных наукой достоверных положениях.

В результате преподаватель оказывается несколько в противоречивой ситуации. Исходя из направленности развития современной теории познания, ему следовало бы акцентировать внимание на ограниченности формальной логики, на внутренней противоречивости познания, на принципиальной незавершенности обоснований, на относительности истины. Но применительно к аудитории такой разговор может оказаться попыткой совершить «полицейский разворот» до того, как научился трогаться с места и тормозить. На мой взгляд, в современной ситуации, как раз в силу



всеобщей релятивизации и субъективизации рассуждений, становится жизненно необходимым на первых этапах обучения спокойное, консервативное, даже догматическое, освоение логических правил, формирование внимания к обоснованию, уважения к обоснованному знанию. Логику как таковую изучают далеко не на всех специальностях, но в курсе философии можно уделить внимание как минимум двум темам – основным законам логики и процедуре обоснования (то и другое, кстати, напрямую обозначено в Государственном образовательном стандарте по философии).

Рассматривая основные законы логики, я стараюсь уже в лекции сформулировать их в виде требований к рассуждению и потому начинаю семинар сразу с такой интерпретации: «Всякая мысль должна сохранять свою первоначальную форму и свое значение в пределах установленного контекста». Что это означает, что мы должны или чего не должны делать, когда рассуждаем? Анализ существа закона тождества предполагает с этой точки зрения, в частности, обсуждение вопроса о задачах определения понятий и об умении эти определения использовать – придерживаться принятого смысла научных терминов при попытке рассуждать самостоятельно. Далее можно рассмотреть различные варианты некорректного обращения с понятиями (эквивокация, гипостазирование, поляризация, полисемия, мифологизация имен и т.п.), причем каждый раз начинать с примера неточного рассуждения, ставить вопрос о том, что в нем неправильно, и приходить к обобщающей формулировке. В качестве учебника, где уделено достаточное внимание этому вопросу, можно использовать пособие «Логика: Логические основы общения» (Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Бартон В.И. и др. М., 1994).

Для освоения закона противоречия и закона исключенного третьего эффективным будет упражнение, в котором студентам предлагается оценить пары высказываний: есть ли между ними противоречие; если одно из них окажется ошибочным, обязательно ли будет выполняться другое? Для многих студентов оказывается отнюдь не тривиальной задачей оценка даже пар высказываний типа: «Мы пойдем сегодня или в кино, или в театр» – «Мы не попадем сегодня в кино или не попадем в театр»; или «Все фильтрующиеся вирусы обладают клеточной структурой» – «Некоторые фильтрующиеся вирусы не обладают клеточной структурой». При использовании соответствующих примеров такая работа дает возможность упражняться в установлении и оценке чисто



логических соотношений в отвлечении от фактографии.

Интересным дополнением такого семинара может стать домашнее задание: найти примеры реальных рассуждений в СМИ, содержащих нарушения логических законов. Задание может предлагаться по желанию, а оценка учитываться, например, в определении рейтинга студента; для зачетной оценки студент, как правило, должен найти и разобрать определенное количество примеров.

В текущей литературе существуют некоторые разногласия в соотнесении понятий обоснования и доказательства. Автор исходит из следующей трактовки: доказательство выступает как одна из разновидностей обоснования (логическое обоснование); обосновать можно также ссылкой на конвенцию, апелляцией к непосредственному наблюдению или практическому опыту, обращением к ценностям и т.д. Уже здесь можно обратить внимание на необходимость различать виды обоснования и на специфику обоснования, приемлемого в науке. Также уместно именно в этой теме поднять общий вопрос о том, что важнейшим признаком рационально-критического мышления является умение отличить предположительное от достоверного, возможное от фактически истинного, доказанное от недоказанного, слабое обоснование от сильного. Это необходимое дополнение к умению интуитивно оценить истинность высказывания по знакомому предмету; с другой стороны, правильно построенное доказательство должно приводить к признанию тезиса истинным, даже если он не вызывает интуитивного принятия.

При обсуждении требований к построению доказательства обширное поле для выяснения правомерности логических переходов дает текущая околонаучная литература, в том числе популярные авторы; это вызывает у студентов гораздо больший интерес, чем классические (и очевидные) примеры из учебников. Вот, например, возможная иллюстрация к требованию не «предвосхищать основания», т.е. не использовать в качестве дальнейшего построения недоказанные, непроверенные положения: «Сейчас уже можно считать доказанным существование мирового лептонного газа, пронизывающего все тела во Вселенной и заполняющего "пустоту"... Вероятно, именно лептоны являются носителями человеческих мыслей и чувств, информации о предметах и явлениях материального мира. Возможно, в мировом лептонном газе содержатся сведения обо всем, что было, есть и будет во Вселенной»[5].

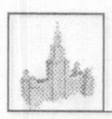
[5] См.: Дмитрук М.А. Миры внутри нас? М.: Знание, 1992. С. 49–50.



Заслуживает внимания в рамках данной темы разграничение требований к содержанию доказательства и корректных или некорректных приемов ведения спора (аргументация к личности, к публике, к тщеславию и т.п.). После анализа сущности таких приемов (в том числе обсуждения разных типов некорректных аргументов) своеобразным полигоном, на котором отрабатываются полученные навыки, становится занятие по теме «Истина и ее критерии», к которому студенты готовятся по подгруппам. Каждая подгруппа получает задание обосновать применимость и значимость одного из критериев истины, используя как корректные, так и некорректные аргументы. Каждый раз вся остальная группа в такой программированной дискуссии оценивает аргументацию и выявляет некорректные аргументы, что дает возможность прийти к общим выводам о сравнительной убедительности позиций. Обычно после таких занятий общая логическая культура дискуссий и по всем последующим темам курса философии, уже за пределами гносеологии, все-таки повышается, т.к. студенты лучше видят ошибки и, что немаловажно, у них появляется словарный запас, необходимый для того, чтобы, замечая, эти ошибки называть.

В анализе логических оснований познания заинтересованы также и магистранты, и аспиранты. Рассмотрение логико-методологической тематики вполне соответствует действующей программе кандидатского экзамена, включающей пункт «Логика и методология науки». Слушателям данного уровня, кроме указанного минимума, будет полезен еще обзор требований к осуществлению ряда конкретных познавательных процедур: определение понятия (при написании диссертации почти наверняка придется формулировать собственные определения каких-то терминов или выбирать между существующими определениями), составление классификации, постановка вопроса и формулировка ответа на вопрос. Указанные темы достаточно четко подразделяются в своем содержании на общеметодологический и прикладной аспект.

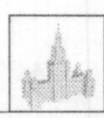
В частности, методологическое рассмотрение проблемы как формы научного мышления начинается с вопроса о значении правильной постановки проблемы в познании и, соответственно, о содержании процесса постановки проблемы. С точки зрения именно такого – процессуального – рассмотрения проблемы будут интересны аспирантам такие источники, как: *Никифоров В. Е.* Проблемная ситуация и проблема: генезис,



структура, функции. Рига, 1988; *Рузавин Г.И.* Философия науки. М., 2005. Проблема как форма научного мышления, результирующая предшествующий опыт и организующая дальнейшее исследование, освещается в лекции, в том числе на материале истории науки. На семинаре, обсуждая заявленную позицию, уместно зафиксировать вывод о том, что постановка проблемы всегда опирается на определенную совокупность знаний, и в дальнейшем рассмотрении локализовать ситуацию, отметив наличие в каждом отдельном вопросе некоторого базового знания и важность выявления предпосылок вопроса для оценки его содержания и значимости. На этом основании можно не только оговорить некорректность вопросов, опирающихся на ложные или непроверенные предпосылки, но и сделать необходимые выводы из того обстоятельства, что на некорректно поставленный вопрос вообще нельзя дать правильный ответ, вплоть до обсуждения тактики поведения в ситуации, когда такой вопрос тебе все же задают...

Имеет разработанные логико-методологические основания также процедура составления плана, регулируемая общими правилами деления объема понятия. Специальное выделение этого вопроса и сообщение соответствующих правил в лекции (деление должно производиться каждый раз по одному основанию, члены деления должны исключать друг друга и находиться на одном уровне общности, деление должно быть полным и не должно быть избыточным), во-первых, дает возможность преподавателю в дальнейшем высказывать свои предложения по выполнению учебных работ (рефератов), соответствующим образом оценивая разноуровневость выделяемых частей, выпадение отдельных фрагментов из общей темы, недостаточное рассмотрение обязательных моментов и т.п. – в условиях, когда преподаватель философии является одним из проверяющих реферат по истории конкретной области знания и вряд ли может до конца вникнуть в специальные моменты, а это позволяет не превращать его роль в чисто номинальную. Во-вторых, на семинаре его можно превратить в общий разговор о вариантах построения плана диссертации и об этапах корректировки этого плана, который для многих начинающих исследователей окажется полезным.

Проблема методов познания в курсе истории и философии науки рассматривается в самом общем виде. Программа экзамена ориентирует, прежде всего, на освещение классификации методов, что, безусловно, важно: сосредоточившись в собственном исследовании на описа-



нии и применении какого-то конкретно-научного метода, аспирант должен иметь представление о его месте в методологическом арсенале науки. Разумеется, не стоит вмешиваться в методологию конкретного исследования, но все же можно выделить некоторые организующие практику моменты, привлечение внимания аспирантов к которым логично осуществить именно в рамках философии науки. Во-первых, речь должна идти о том, что общие критерии научности – объективность, обоснованность, точность – приобретают на уровне методологии конкретного исследования характер конкретных требований к осуществлению исследовательских процедур. С точки зрения обыденного представления, научность конституируется самой апелляцией к опыту; профессиональное мышление ориентировано на правила, по которым осуществляется опыт. В науке «существуют определенные правила наблюдения: изоляция рассматриваемой системы, ограничение числа переменных параметров, варьирование условий для выяснения зависимости исследуемого эффекта от каждого фактора в отдельности; во многих случаях существенны особо точные измерения и статистика их результатов. Технология обработки этих данных сама по себе является ремеслом»[6]. Иначе говоря, внимание к этой технологии как раз составляет основу ремесла ученого и является показателем его научной добросовестности.

Во-вторых, судя по обзорам экспертов ВАК, весьма распространенной погрешностью диссертационных работ является такой принцип их организации: автор, выдвигая гипотезу и проводя ее обоснование, сосредоточивается, естественно, на сборе подтверждающего материала и не ставит вопрос о фальсифицируемости гипотезы и о возможных контраргументах. В результате получается, что изменение *У* произошло после реализации воздействия *X* и, следовательно, является исключительно его результатом. Для диссертации по педагогике (реальный случай): в течение года с детьми занимались по 2 часа в неделю дополнительно по авторской методике, в результате чего дети показали более высокие знания по предмету, чем группа, с которой дополнительно не занимались. Это доказывает эффективность методики. Но ведь регулярные дополнительные занятия сами по себе должны, по идее, приводить к повышению уровня знаний независимо от методики.

Является ли данная методика более эффективной, чем су-

[6] Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973. С. 146.

ществовавшая ранее? Этот вопрос исследователь перед собой не ставил. Но ведь это классическая проблема методологии выявления причинно-следственных связей: является ли действовавший фактор единственным в данной ситуации? Изложение в лекции по разделу «Логика и методология науки» общих логических схем изучения причинно-следственных связей и разбор нескольких ситуаций такого рода на семинаре могли бы иметь профилактическое значение. Несколько показательных примеров на этот счет можно найти в книге: *Марьянович А.Т., Князькин И.В.* Новая эратология, или как получить ученую степень. СПб., 2005. Вот один из них: исследователь проверил 68 больных, у которых была диагностирована язвенная болезнь, по тесту Люшера и обнаружил устойчивое предпочтение желтого, фиолетового и красного цветов. Он сделал вывод о том, что выбор этих цветов при тестировании можно использовать как диагностический признак для выявления язвенной болезни.

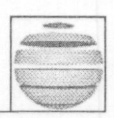
В программе магистерской подготовки специально выделена проблема природы научного творчества. Лекция по данной теме будет включать общее определение творчества как с точки зрения разграничения продуктивной и репродуктивной деятельности, так и с точки зрения значимости и новизны результата; обзор различных концепций творчества – чисто эмпирических (описательных) и предпринимающих попытки объяснить процесс творчества (психоаналитических, религиозных, натуралистических, а также синергетической концепции творчества); анализ этапов творчества; характеристику творческих способностей и творческой личности; обоснование творческого характера научной деятельности. Среди источников, которые могут оказаться весьма полезными с точки зрения идей по концептуальной организации фактического материала и рассмотрения творчества именно в применении к науке, я бы выделила книги: *Лапшин И. И.* Философия изобретения и изобретение в философии. М., 1999; *Юревич А. В.* Социальная психология науки. СПб., 2001. Прикладной разворот данной темы едва ли не наиболее проблематичен: творчество по определению не алгоритмизируемо, теоретические описания творческого акта основаны на индивидуальном опыте, который можно обобщить (например, вывести этапы творческого процесса), но вряд ли можно операционально использовать. Вместе с тем отмечу некоторые моменты, обсуждение которых у меня на семинарских занятиях получилось особенно активным (отправной точкой был вопрос:

«Можно ли как-то развить свой творческий потенциал?»). Анализ соотношения рационального и иррационального в познании привел слушателей к выводу о необходимости формирования достаточного запаса информации по проблемной ситуации, прежде чем приостановиться и дать возможность включиться бессознательным механизмам познания. Как выразился один из магистрантов, если интуиция – это самодостройка системы, то для ее включения система должна обладать достаточной определенностью. Обсуждение таких характеристик творческой личности, как умение увидеть проблему, беглость мышления (как способность увидеть неожиданный ракурс ситуации), гибкость мышления (как способность воспринять новую точку зрения), чувство стройности и организации идей (перечень характеристик Дж.Гилфорда) и обзор разных акцептуированных наклонностей (любопытство, коллекционерская наклонность, общительность, стремление к самосохранению, архитектоническая наклонность и наклонность к социальной организации), развертывание которых мотивирует научную работу (по И.И. Лапшину), – позволило поставить проблему выработки индивидуального стиля научной деятельности, учитывающего сильные и слабые стороны личности. Вопрос о технологиях настройки, позволяющих эффективно включаться в работу и возобновлять прерванный творческий процесс, вызвал оживленный обмен рецептами. Кстати, автор благодаря этому обсуждению осознал интуитивно применяемый прием: последний кусочек сегодняшней работы полезно оставить обдуманным, но недоделанным, с тем чтобы с него начать завтра...

Наконец, тема «Наука как социальный институт» не обязательно должна быть исключительно обзором исторического становления форм институционализации науки и постановкой глобальных проблем организации и обеспечения функционирования науки в современном российском обществе. Она вполне может в какой-то части включать в себя некоторые организационные вопросы, также помогающие аспиранту сориентироваться в новой сфере деятельности. Например, что такое «научное направление», «отрасль науки», «научная специальность»? Аспиранту зачастую непонятно, какое практическое значение может иметь тот факт, что шифр его научной специальности такой, а шифр у бывшего однокурсника, поступившего в аспирантуру на соседнюю кафедру, другой. Что такое УДК, который требуют указывать в тезисах? (Интересно, имеет ли какое-то значение для

авторитета философии то обстоятельство, что система УДК разработана Ч. Пирсом?) Как вообще организуется система публикации научных результатов, и чем тезисы отличаются от статьи? В чем разница между такими научными мероприятиями, как конференция, конгресс, симпозиум, круглый стол, коллоквиум, и что значит указание в присланной мне программе конференции (на которую я все-таки отправил свои первые тезисы), что у меня будет стендовый доклад? Мне кажется правильным, в том числе с точки зрения места истории и философии науки в учебном процессе, если на какие-то из этих вопросов аспирант сможет получить ответ не только от своего научного руководителя, если в преподавателе философии он также увидит человека, который может помочь ему разобраться.

Возможно, некоторые практические выходы философских проблем, обозначенные здесь, выглядят несколько искусственно. Но, на мой взгляд, они не противоречат общим задачам гносеологии. Будучи ориентированной на реальный познавательный процесс, она выступает как универсальная *теория познания* в полном смысле слова.



Социальная эпистемология и теория общества. Уроки кантовского априоризма

Е. А. БАЁВА



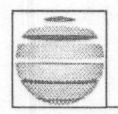
«Система – это не начало, а конец; она обобщает весь ход мысли восемнадцатого столетия. Кант целиком и полностью принадлежит этому веку: отсюда вырастает вся рациональность его мысли, надежно защищенной от всякого вторжения стихии. Система – это сумма методов, посредством которых рационализируется мысль. Кантовская система имела конечную точку, поставленную рассудком и способностью суждения».

Ф. Юнгер. «Ницше»

Эпистемология в традиционном понимании обосновывает фундаментальные принципы научного познания, занимаясь воспроизводством структур знания, и, в силу соответствия канонам истины, чувствительна к переменам, строго разделяя традиции и инновации. Проблема истины актуализируется, когда складывается ситуация, названная Г. Башляром[1] «эпистемологическим отклонением» в преемственности научного знания.

---

[1] Башляр Г. Новый рационализм. М., 1986.



Возникновение социальной эпистемологии, выходящей за пределы проблемы поиска истины, представляет принципиально иной виток в развитии эпистемологии, акцентирующий в качестве источника познания социальные условия[2]. Социальная эпистемология продолжает дискуссии в русле традиционных эпистемологических проблем – рационализм/иррационализм, субъективизм/релятивизм, классическое/неклассическое, социальное/индивидуальное – и определяется, по словам С. Фуллера[3], амбивалентной логической посылкой, предполагающей возможность объяснения целого (общества) в терминах его частей (членов общества), либо наоборот.

Постановка проблемы

Кантианский априоризм сформировал конвенциональное[4] определение социальной науки, характеризуемое социальным характером знания. По словам Д. Блура, это значит, что наука рассматривается как производное от социального контекста развития знания. Объективность носит социальный (конвенциональный) характер и независима от практических оценок личности[5]. По К. Мангейму, конвенциональный характер знания должен относиться к гносеологии в целом: «До тех пор, пока наша гносеология не признает, что знание носит социальный характер, а индивидуализированное мышление является исключением, у нас не будет ни адекватной психологии, ни адекватной теории познания»[6].

Социальный характер познания выражается в общей системе знания, которая устанавливает «так-бытие» общества, а знание определяется обществом и его структурой[7]. На основе априорных схем Канта социальная наука сформировала теоретические схемы социального познания, представляющие собой рефлексию насущных социальных проблем. Их возникновение обусловлено стремлением отразить общественное состояние и предложить адекват-

[2] Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Философия и эпистемология науки. 2006. № 1.

[3] Fuller S. Social Epistemology: A Philosophy for Sociology or a Sociology of Philosophy? // Sociology. Vol. 34. № 3.

[4] Под конвенцией имеется в виду достаточно условное понятие, указывающее на нормативность научного дискурса.

[5] Bloor D. Knowledge and Social Imagery. L., 1976.

[6] Мангейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 34.

[7] Шелер М. Социология знания // Теоретическая социология. Антология. М., 2002. Т. 2.



ное решение наиболее острых вопросов. Дж. Александер, учитывая социально-исторический контекст, пишет: «Классическая социологическая теория была инспирирована оптимистической верой в то, что рациональность может быть основанием для решения проблем светского индустриального общества»[8]. Программа Просвещения Канта реализовалась в метафоре М. Вебера «железная клетка» рационализации, которая способствовала «расколдовыванию» религиозного мира и замене его претензий наукой[9]. И если в Европе надежды «отцов-основателей» социологии были разрушены событиями двух мировых войн, то в Америке ситуация была иной. Здесь, на фоне растущей нестабильности европейской цивилизации, напротив, процветала убежденность в стабильности гуманистических идеалов западного общества. Опубликованная в 1937 году «Структура социального действия» Т. Парсонса, являлась программой разрешения проблем интенсивного социального кризиса, охватившего западное общество в период между Первой и Второй мировыми войнами. И в послевоенные 1950-е годы системная теория Парсонса продолжала оставаться «иконой систематического мышления», обеспечивающей необходимую для общества уверенность в завтрашнем дне[10].

Таким образом, кантианский рационализм способствовал росту социального престижа науки и стал основой научной аргументации в системе мышления. С точки зрения социальной эпистемологии, кантианский априоризм обусловил следующие предпосылки:

1. Необходимость прихода теоретиков к *конвенции*[11] в создании единой категориальной системы социального знания.

2. Требование «методической чистоты» научной деятельности вместо мира непосредственных переживаний.

3. Экстраполяция научного знания на внешний мир и моделирование рационального типа поведения.

Критическая рефлексия в отношении кантовского априоризма характерна для современных способов социального теоретизирования, ориентированных на эмансипацию знания от классических канонов и «распредмечивание» эпистемологических установок Нового Времени. Данное положение обстоятельно характеризует

---

[8] Alexander J. Twenty Lectures. Sociological Theory since World War II. N.Y., 1987. P. 20.

[9] Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

[10] Gerhardt U. Parsons`s Analysis of the Societal Community // T. Parsons Today. Lanham., 2001.

[11] Другой вариант конвенции в социальной науке – метатеоретический ортодоксальный консенсус структурного функционализма. См.: Бурдье П. Начала. М., 1994.



философская позиция М. Хайдеггера относительно науки, когда в ней возникают тенденции к формированию новых оснований. В этом случае уровень науки определяется тем, насколько она способна реагировать на кризис собственных основоположений[12]. Меняются не только масштабы социальных проблем, но возрастают и претензии социального знания на власть номинаций в науке. От критических вопросов «Кто сегодня еще читает Спенсера?» (Т. Парсонс)[13] социальная теория перешла к вопросам: «А что, если мы так никогда не жили в Новом Времени?» (Б. Латур)[14]. В соответствии с методом Хайдеггера, теоретики требуют деструкции априорных схем, принимают тезис Э. Кассирера о том, что «мыслить следует относительно», и отказываются от эпистемологической оппозиции теория/методология (П. Бурдье)[15]. Критические выпады направлены против *гипостазирования* общества как абстрактного объекта, существующего вне человеческого бытия.

Тем не менее в социальной науке постоянно воспроизводится тот конвенциональный набор основопонятий[16], которые выражают проблему социального порядка, возникшую под влиянием концепции «войны всех против всех» Т. Гоббса и этического идеализма И. Канта. Кантианская логика в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Т. Парсонса[17] воспроизводится в двух

---

[12] Хайдеггер М. Время и бытие. СПб., 2002. С. 9.

[13] Parsons T. The Structure of Social Action. Vol. 1. N.Y., 1968.

[14] Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. Спб., 2006.

[15] Бурдье П. Опыт рефлексивной социологии // Теоретическая социология. Антология. Т. 2. М., 2002.

[16] Под основопонятиями Хайдеггер понимает определения, в которых лежащая в основании всех тематических предметов объектная область достигает предваряющей и ведущей все позитивное исследование понятности. См.: Хайдеггер М. Время и бытие. С. 10.

[17] Мы выделяем теоретиков-классиков, мировоззрение которых во многом сформировалось под влиянием Канта. «Необходимо отметить влияние Канта и кантианства на теорию Дюркгейма. Речь идет, прежде всего, о концепции морали и нравственного долга, пронизывающей всю теорию основателя Французской социологической школы» (Гофман А. Б. Социология Эмиля Дюркгейма // Э. Дюркгейм. Социология. М., 2006. С. 311). Философия Канта привлекла Вебера еще в молодости, во время его учебы в Гейдельбергском университете, что предопределило его идейные установки (см.: Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. История и рациональность. М., 1991). Докторская диссертация Г. Зиммеля посвящена философии Канта. Т. Парсонс говорил о том, что у него сформировалась линия Канта во время учебы в Гейдельберге после посещения семинаров К. Ясперса. Также он подчеркивал тесную взаимосвязь взглядов Канта и Вебера (см.: Парсонс Т. О теории и метатеории // Теоретическая социология. Антология. Т. 2. М., 2002).

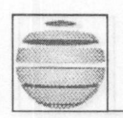
различных «ипостасях»: с одной стороны, общество понимается как трансценденция, существующая независимо от индивидуальной воли, а с другой – как имманентная реальность взаимодействующих индивидов. Первая позиция будет обозначена концепцией общества как *источника причинности* (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс), а вторая – идеей *онтологии социального становления* (Г. Зиммель). Таким образом, рецепция кантовского априоризма является неоднородной и формирует две разные плоскости анализа социальной реальности. На наш взгляд, несмотря на трансформацию в преемственности, кантовский априоризм сохраняет предпосылки для создания современной конвенции в социальной науке, но на основаниях, прежде не вписывающихся в ее метатеоретические установки.

Кантианский априоризм и метатеоретическая конвенция в социальной науке

Кантианский априоризм стал предпосылкой конвенции социальных теоретиков, которую можно соотнести с проектом этики научного дискурса Ю. Хабермаса и К.-О. Апеля. Наука рассматривается как коммуникативное действие, связанное с общезначимостью норм этики научного дискурса[18]. Коммуникативная компетенция членов сообщества представляет собой *трансцендентальную языковую игру*[19]. Понимание не может быть нейтральным, оно опосредовано коммуникативной ангажированностью сообщества. Практика аргументации доводится до уровня морального долга перед членами сообщества. Нормативность создает консенсус, или конвенцию, в научном сообществе.

Базовой конвенциональной установкой социальной науки является априорная схема, посредством которой многообразие чувственно воспринимаемого мира упорядочивается «синтезом схватывания», подчиненного, в свою очередь, категориям: «А это синтетическое единство как априорное условие, при котором я связываю многообразное [содержание] *созерцания вообще,* есть, если я отвлекаюсь от постоянной формы своего внутреннего созерцания, [т. е.] времени, категории причины, посредством которой я, применяя ее к своей чувственности, *определяю все происходящее во времени сообразно его отношениям*»[20]. Априоризм

[18] Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2001.
[19] Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.
[20] Кант И. Критика чистого разума. М., 2006. С. 149.



Канта является основой логики необходимого, в противовес случайному, представленному в чувственно воспринимаемом мире, и выражает базовую социальную аксиому: «Знание каждого человека о том, что он – "член" общества – не эмпирическое знание a priori. Оно генетически предшествует этапам его так называемого самосознания и сознания собственной ценности: не существует "я" без "мы", и "мы" генетически всегда раньше наполнено содержанием, чем "я"»[21].

Классическая теория общества опирается на рационализм Канта в канонизации «строгого» научного знания (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). Априорная аксиома Канта «истина достигается в суждении» определила проблему *Verstehen/Erklären* в пользу последнего. Под влиянием Канта была сформирована *общезначимая (объективная)* логика социального знания, обеспечивающая его достоверность и максимальное приближение к критериям научности.

По Канту, каузальная связь показывает, что категория причины обладает определяющей силой по отношению к чувственности. Опыт возможен благодаря подчинению последовательности явлений, а любое изменение подчинено закону причинности. Схема причинности образует последовательность многообразного и его подчинение правилу: «То обстоятельство, что нечто происходит, т. е что возникает нечто или некое состояние, которого прежде не было, нельзя воспринять эмпирически, если нет предшествующего явления, которое не содержит в себе этого состояния… Таким образом, всякое схватывание того или иного события есть восприятие, следующее за другим событием»[22]. Этот необходимый порядок схватывания следующих друг за другом восприятий делает субъективный синтез объективным. Все происходящее имеет свою причину и подчинено правилу необходимого существования. «Поэтому положение *ничто не происходит по слепому случаю* (in mundo non datur casus) есть априорный закон природы; и точно так же [положение]: *необходимость в природе никогда не бывает слепой, а всегда обусловленной, стало быть, понятной* (non datur fatum)»[23]. Единство выстраивается в виде взаимосвязей, образующих причинно-следственную связь. К. Хюбнер назвал a priori Канта необходимым и неизменным, в противовес контингентному или произвольному a priori операционализма Г. Рейхенбаха[24]. У Канта случайность a priori имеет

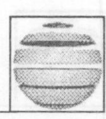
---

[21] Шелер М. Социология знания // Теоретическая социология. Антология. Т. 2. М., 2002. С. 351.

[22] Кант И. Критика чистого разума. С.198.

[23] Там же. С. 227–228.

[24] Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994.



причину и не может рассматриваться вне законосообразности. Категория необходимости есть бытие, данное своей возможностью. Для того чтобы мыслить целое, необходима возможность мыслить единство. Единство есть условие множества, а их противоречие снимается синтезом. В этом положении заключена схема диалектического движения кантовских категорий через противоречие[25]. Категории Канта – это тождество, охватывающее различия, наделенные *необходимостью, или причиной.* «В самом деле, понятие причины, например, выражающее необходимость того или иного следствия при данном условии, было бы ложным, если бы оно основывалось только на произвольной, врожденной нам субъективной необходимости связывать те или иные эмпирические представления по такому правилу отношения»[26]. В категориях мыслится соединение: «Все многообразное в созерцании имеет, следовательно, необходимое отношение к [суждению] *я мыслю* в том самом субъекте, в котором это многообразие находится… Единство его я также считаю трансцендентальным единством самосознания, чтобы обозначить возможность априорного познания на основе этого единства»[27]. Связь не содержится в самом предмете, а создается рассудком – априорной способностью связывать эмпирическое многообразие единством апперцепции, обеспечивающей объективные условия познания. Трансцендентальные формы возникают из рассудка, как из абсолютного единства, и связаны друг с другом понятием, или идеей. Именно эта связь предохраняет знание от случайности и произвола. Таким образом, процесс *априорного познания* осуществляется в трех моментах: 1) многообразие чистого наглядного представления; 2) синтез этого многообразия посредством способности воображения; 3) понятия как условие чистого синтеза[28]. Априоризм стал эпистемологическим критерием для теории общества: научное знание должно быть необходимым и всеобщим, направленным на поиски истинной, независимой от нас социальной реальности.

Направив «острие» своей критики против догматической метафизики, Кант построил систему трансцендентализма в соответствии с принципами ньютоновской механики. Коперниканская революция закрепила триумф Канта над эмпиризмом Юма, исключавший априорный принцип причинности. «Эту позицию занял Кант… а за ним и Бертран Рассел – оба пытались спасти человеческую рациональность от юмовского иррационализма… Кант прибег к своей коперниканской революции: человеческий Интел-

---

[25] Асмус В.Ф. Диалектика Канта. М., 1929.
[26] Кант И. Критика чистого разума. С. 152.
[27] Там же. С.128.
[28] См.: Асмус В.Ф. Диалектика Канта.



лект изобретает и накладывает свои законы на чувственную трясину, создавая этим порядок в природе»[29]. Для социальных теоретиков «чувственной трясиной» является проблема психологизма, которая выступает ресурсом иррационального и разрушает представления о трансцендентной и всеобщей природе общества. По поводу этого факта оппонировали Э. Дюркгейм и Г. Тард, М. Вебер и Г. Зиммель, обращаясь при этом к практической философии Канта, противопоставлявшей произволу личного усмотрения, индивидуального мнения идеал объективной необходимости и коллективной общности.

Решение проблемы психологизма в социальной науке ознаменовалось демаркацией подходов В. Дильтея и Г. Риккерта. Неокантианское деление «наук о культуре» (Kulturwissenschaft) и «наук о природе» (Naturwissenschaft) привело к нивелированию позитивизма в пользу витализма и «понимающего» психологизма. В. Дильтей сформулировал положения «понимающей» психологии, которая занимается дескрипцией непосредственных психических связей. Причинная связь непригодна для наук о культуре, потому что естественные науки не принимают непосредственно переживаемый опыт, а формулируют гипотезы, проверяя их экспериментальным путем. Кантовскому образованию понятий Дильтей противопоставил технику «вчувствования», переживания душевной жизни. Как возможна в таком случае достоверность научного знания? М. Вебер, поддерживавший программу Дильтея, видел в ней существенный изъян в виде вопроса об общезначимости, который он пытается разрешить путем следования кантовскому априоризму в преодолении многообразия чувственного мира при помощи понятий. «Такую форму принимает в баденской школе кантовское учение о познании как синтезе многообразия ощущений в единство посредством категорий рассудка. Принцип объединения, согласно этой точке зрения, невозможно найти в объекте: этот принцип вносится самим познающим субъектом, и именно это обстоятельство гарантирует – и с точки зрения Канта, и с точки зрения Риккерта и Виндельбанда – всеобщность и необходимость научного знания»[30]. Для В. Дильтея Verstehen возможно благодаря переживанию субъективного опыта («по аналогии»), «вживание» в сознание другого и актуализацию культурно-исторического контекста. Понимающая социология реализует посылку Г. Риккерта относительно того, что понимание не находит-

---

[29] Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. С. 94–95.

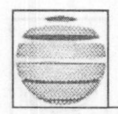
[30] Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. М., 1991. С. 37–38.



ся в конфликте с объяснением, а обуславливает его. Данная особенность отразилась на социологической концепции Verstehen, поднимающей вопрос о ее фундировании через условное обозначение «линии Дильтея», которой придерживался Зиммель, в большей степени опиравшийся на категорию переживания, а также «линии Риккерта», продолженной Вебером в стремлении понять социальное поведение посредством каузального объяснения. Понимание достигается через понятие и связи и дополняется концепцией идеальных типов. Если оценивать исход этого противостояния в историко-социологическом ракурсе, то очевидно, что решение проблемы психологизма в социальной теории является кантианским, а социология трактуется в веберианском стиле, как наука, связанная с интерпретативным пониманием социального действия и каузальным объяснением его направленности и следствий. Особенность веберианской социологии подчеркивает Г.Х. фон Вригт: «Из двух великих социологов (конца 19 – начала 20 веков) Э. Дюркгейм в методологии был, в сущности, позитивистом, а у М. Вебера позитивизм сочетался с признаками телеологии и понимания как вчувствования»[31].

Консенсус в социальной науке обусловливался кантовским положением «истина достигается в суждении». Согласно Канту, действие рассудка, подводящее многообразное под апперцепцию, есть *логическая функция суждений*. Формирование *суждения* заключается в способах образования понятий. Категории – это функции суждения, и многообразное определяется в их соотношении. Общезначимость в категориях кантианской логики означает необходимость, полностью исключающую психологическое переживание или интуицию. Но если выйти за рамки естественнонаучных законов, то как достичь объективного познания индивидуального? М. Вебер поддерживает принцип «отнесения к ценности» Г. Риккерта. Логика необходимого предполагает соотнесение эмпирического многообразия с *суждениями* – общезначимыми принципами, или ценностями. Принципы формальной социологии Г. Зиммеля направлены на поиск априорных схем в познании общества при опоре на кантовскую эпистемологию. Научность социологии возможна путем отделения *форм* социальности от их содержания, с целью обобщения формальных понятий социальных связей. В социологии Г. Зиммель отклоняется от норм конвенции, и за обращение к психическим феноменам он не раз подвергался критике со стороны М. Вебера и Э. Дюркгейма, которые считали такой подход метафизичным для науки.

[31] Вригт Г.Х. фон. Объяснение и понимание // Логико-философские исследования: Избранные труды. М., 1986. С. 45.



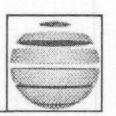
Для Дюркгейма субъект социального познания есть трансцендентальный субъект, рассматривающий «социальные факты как вещи». Впоследствии Т. Парсонс реконструирует классический канон «отцов-основателей» и создаст трансцендентальную метатеоретическую теорию общества. Таким образом, дистанцируя объект изучения от метафизики, социологи-теоретики достигли конвенции и решили проблему социального порядка способом, аналогичным кантовской коперниканской революции в философии.

Рецепция идей Канта в тематизации общества

Априоризм Канта, спроецированный на социальное знание, привел к возникновению дихотомии психологизм/социологизм. В концепции радикального социологизма Э. Дюркгейм связывает внешние признаки с основными свойствами, а не со случайными, ибо, в противном случае, наука не сможет постичь реальность и установить связь между внешними и внутренними явлениями. «Но если только принцип причинности не есть пустое слово, то в тех случаях, когда определенные признаки одинаково и без всякого исключения встречаются во всех явлениях данной группы, можно быть уверенным, что они тесно связаны с природой этих явлений и соответствуют ей»[32]. Причинно-следственная связь образует «общую меру», обеспечивающую объективность восприятия социального мира, эмпирическое многообразие которого лишает наблюдателя возможности целостного схватывания объекта. Социологическое объяснение заключается исключительно в установлении причинной связи, или в открытии причины явления. В понимание общества как источника причинности Дюркгейм вкладывает кантианский смысл: во-первых, бесконечность общества превосходит индивида в пространственно-временном отношении; во-вторых, его священный авторитет способен навязать индивиду образ действия и мышления; в-третьих, значимость общей, социальной среды подавляет воздействие частных сред. Общество как источник причинности всегда возвращает к себе в процессе объяснения: «Эта концепция социальной среды как определяющего фактора коллективной эволюции в высшей степени важна, так как если ее отбросить, социология не сможет установить никакой причинной связи»[33]. Подобную интенцию мы нахо-

[32] Дюркгейм Э. Определение моральных фактов // Теоретическая социология. Антология. Т. 1. М., 2002. С. 65.

[33] Дюркгейм Э. Социология. М., 2006. С. 131.



дим и у М. Вебера в его логике каузального объяснения. В полемике с Э. Майером Вебер обобщает основные методологические позиции, среди которых – исключение случайности из изучения исторических событий и ряд положений, связанных с доминированием общего и типичного над единичным и индивидуальным. Вебер отличает каузальную случайность (случайно то, что не может быть выведено каузально) от случайности телеологической (исключение всех несущественных, или случайных, индивидуальных компонентов действительности из познания). Случайность – это своего рода «девиация», с которой можно справиться при помощи рациональности и каузальных связей, так как это «…несущественное для науки, поскольку не допускает «понимания с помощью законов», следовательно, не относится к рассматриваемому "типу" явлений и может быть лишь объектом "праздного любопытства"»[34]. Для понимания действительности важна «констелляция», в которой можно обнаружить факторы, сгруппированные в исторические, значимые явления культуры. Использование этой категории означает редукцию компонентов явлений к их причинам. Вычленяются лишь те причины, которые могут быть сведены к существенным компонентам события.

Рецепция Канта в теории общества во многом обусловлена его практической философией, понятием «долженствования» (das Sollen). Возможность общества определяется обязанностью, навязываемой извне и придающей принуждению социальность. «Главное состоит в том, что отношения между людьми определены смыслом, который они вкладывают в формулы "ты должен" и "я должен", и объектами, к которым они их применяют. Эти формулы делают из общества творение моральное»[35]. Необходимость обеспечивается понятием долга и действием максим, которые содержатся в библейских заповедях, в частности: «Ты должен любить ближнего своего», «Ты должен повиноваться отцу и матери» или «Ты не должен убивать», «Ты не должен прелюбодействовать». Э. Дюркгейм, изучая архаические структуры древних обществ, показал, что структуры любых обществ сакрализованы: если нет религиозной веры, нет и интегрирующей основы. Дихотомия профанное/сакральное определяет социальную жизнь общества. Дюркгейм рассматривал религию как проявление и выражение священной природы общества, как соединяющую в себе сакральные (коллективные) и профанные (индивидуальные) миры

[34] Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 370.

[35] Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. С. 59.

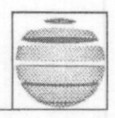


феномен. Религия – система верований и действий, относящихся к священным вещам и объединяющих верующих в одну нравственную общину (Церковь)[36]. Априорное различение профанное/сакральное обусловливает мышление индивида, воспринятые им коллективные представления, делающие его социальную жизнь реальностью. Религия же обеспечивает целостное функционирование общества и коллективности. Помимо религии моральное воздействие оказывает и разделение труда, формируя у членов общества состояние солидарности.

В своей концепции моральных фактов Дюркгейм дополняет кантовское понятие долга, считая, что оно не исчерпывает понятие морального. Именно понятие добра и блага компенсирует недостаточность кантовского объяснения моральной обязанности. Всякий моральный акт содержит этих два отличительных признака – добро и долг. На эту двойственность указывает соотношение морального и священного. Священное, так же как и моральное, представляет собой нечто запретное, неприкосновенное и одновременно вызывающее почтение. Индивид подчиняется моральному авторитету общества, стремится действовать согласно чувству долга перед обществом. Коллективные представления воплощают авторитет общества, который подчиняет индивида. Священное – это источник запрета и уважения одновременно, и только общество обладает такими качествами. Не только моральный долг, но и страх перед санкциями является причиной соблюдения институциональных норм: «Таким образом, мы обнаружим, но уже путем чисто эмпирического анализа, понятие долга, которому дадим определение, очень близкое тому, какое ему дал Кант. Обязанность составляет, стало быть, первый признак морального правила»[37]. Девиантное социальное поведение влечет за собой осуждение и наказание, как об этом пишет Кант: «Наконец, в идее нашего практического разума есть еще нечто, что сопутствует нарушению нравственного закона, а именно *наказуемость* за это нарушение»[38]. Действие преступно, когда оно оскорбляет коллективное сознание. Закон имеет двойную цель – предписывать определенные обязанности и определять связанные с ними санкции[39].

---

[36] Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. N.Y., 1976.
[37] Дюркгейм Э. Определение моральных фактов. С. 25.
[38] Кант И. Критика практического разума. СПб., 2005. С. 154.
[39] См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1991.



Общество создает ряд условий, которые не поддаются контролю конкретного индивида, но доступны контролю людей в их совокупности. Коллективная жизнь предполагает ассоциацию индивидуальностей, из которой возникает социальная жизнь. Основа коллективных представлений – объективно существующее различение индивидуального/коллективного, профанного/сакрального. Познание мира носит социальный характер и обеспечивает общее понимание мироустройства, делающее человеческое сосуществование возможным.

Концепция морали Канта преодолевает солипсистскую направленность: «Максима себялюбия (благоразумие) только советует, закон нравственности *повелевает*. Но ведь большая разница между тем, что нам советуется и тем, что нам *вменяется в обязанность*»[40]. Моральный закон дает разуму объективную практическую реальность и оборачивает его трансцендентное применение в имманентное в качестве действующей причины в сфере опыта. В моральном принципе установлен закон причинности, который выше всех условий чувственно воспринимаемого мира. М. Вебер, изучая религию для анализа воздействия представлений протестантизма на формирование специфичного типа западного капитализма, признавал, что вера в религиозные ценности делает возможным социальное взаимодействие и координацию индивидуальных действий. Общество воспитывает чувство долженствования перед моральными правилами. По Канту, благодаря моральному закону, с которым должна считаться субъективная воля, возможна интеграция разрозненных индивидов в единое целое: «Моральный закон поэтому есть у них *императив*, который повелевает категорически, так как закон необусловлен; отношение такой воли к этому закону есть *зависимость*, под названием обязательности, которая означает принуждение к поступкам, хотя принуждение одним лишь разумом и его объективным законом, и которая называется поэтому *долгом*...»[41]. Общество, таким образом, понимается как социальная реальность, или констелляция взаимоотношений, структурированная определенными нормами.

Решение проблемы солипсизма Кантом стала средством обоснования концепции социального порядка Вебера. В главе «Основные социологические понятия» из труда «Экономика и общество» (1920) Вебер реализовал кантианские ориентиры в понятии «со-

[40] Кант И. Критика практического разума. С. 153.
[41] Там же. С. 149.



циальный порядок»[42]. Социальный порядок возможен только при обстоятельствах, когда социальное действие ориентируется, во-первых, на «максимы» и, во-вторых, на их обязательность. Порядок *долженствующе* значим, поэтому структурирует многообразные эгоистические мотивы. Авторитет социального порядка подкрепляется моралью как системой правил, действующих в качестве чувства долга. Впоследствии данные интенции будут конвергированы Т. Парсонсом, продолжившим линию преемственности кантианской логики в теории общества. Парсонс, рассуждая о метатеоретических истоках своей социологии, отслеживает линию трансцендентализма в мышлении Канта–Вебера–Ясперса. Взгляды Парсонса касаются в частности, положения о том, что необходимо, «чтобы всякая научная теория подчинялась общему логическому обоснованию»[43]. Философию К. Ясперса Парсонс выделяет особо, отметив, что «позиция Ясперса имеет прямое отношение к теперешнему положению метатеории со всеми ее проблемами в составе социальных наук…»[44]. Именно Ясперса можно считать «философом для обществоведов». В своей общефилософской позиции Парсонс называет Ясперса кантианцем. В разработке понятия Existenz Ясперс опирался на кантовскую позицию как на «общую систему координат или как на операционную базу». К ясперсовской версии кантианства Парсонс относит противопоставление субъекта и объекта, получившее свое выражение в философской поддержке Ясперсом веберианской попытки обоснования социологии. Понятие Verstehen есть обобщение декартовского понятия познающего субъекта и объективного мира. С точки зрения Канта, трансцендентальный компонент эмпирического познания находится в основании синтеза познающего субъекта и объекта, действующего субъекта и ситуационного мира, в котором осуществляется действие. Парсонс утверждает, что мышление Канта–Вебера–Ясперса является объединяющей теоретической платформой между субъективизмом и объективизмом. В этом направлении Парсонс развивал и свою метатеоретическую позицию, разделяя реальность познаваемых объектов и познающего (трансцендентального) субъекта. Кантовское «схватывание» чувственного многообразия Парсонс включил в позицию аналитического

[42] Вебер М. Основные социологические понятии // М. Вебер. Избранные произведения. М., 1990.

[43] Парсонс Т. О теории и метатеории // Теоретическая социология. Антология. Т. 2. С. 45.

[44] Там же. С. 46.



реализма, согласно которой факты, или эмпирические положения, существуют в терминах концептуальной схемы, обеспечивающей значительное упорядочивание опыта. Аналитический реализм является эпистемологической позицией, «где некоторые общие концепты науки не вымышлено, но адекватно "схватывают" аспекты объективного внешнего мира. Эти истинные элементы называются аналитическими элементами»[45].

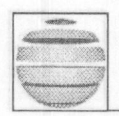
Однако Парсонс стремился свести к минимуму идеалистические предпосылки. Поэтому под его «тезис о конвергенции» не попадает формальная социология Г. Зиммеля – одного из ярчайших представителей «философии жизни». По мнению Д. Ливайна, стиль Зиммеля для Парсонса был только дескриптивным, а не аналитическим. Его методология исследует дискретные идеальные типы вместо конструирования систематической теории, основанной на аналитических элементах[46]. Парсонс вслед за Вебером развивал теорию рациональной интерпретации человеческой мотивации, не сводимой к психологическим положениям индивидуального сознания. Г. Зиммель, напротив, интересовался комплексом социально-психологических мотиваций для человеческого взаимодействия. Кантианский принцип формы у Зиммеля показывает, что мир состоит из бесчисленных содержаний, которые наделяются идентичностью, структурой и значением через наложение форм, которые человек создает в опыте[47].

Зиммель ставит кантовский вопрос: «Как возможно общество?». Опытные данные оказываются связанными благодаря активности духа, который составляет из них предметы субстанции, свойства и причинные связи. Зиммель пытается рассмотреть априорные условия, на основании которых возможно общество. Здесь также даны разрозненные индивидуальные элементы, подобно бессвязным чувственным восприятиям, которые синтезируются в единство общества. Благодаря сознанию, индивидуальное бытие отдельного элемента связывается с индивидуальным бытием другого элемента в определенные формы и по определенным правилам. Так образуется *социальная форма*, для создания которой не нужно наблюдающего субъекта, как в случае с единством природы. Синтез социального реализуется только своими

[45] Parsons T. The Structure of Social Action. Vol. 2. P. 730.

[46] Levine D.N. Simmel & Parsons Reconsidered // Talcott Parsons: Theorist of Modernity. L., 1991.

[47] Levin D. Introduction // Simmel G. On Individuality & Social Forms. Chicago, 1971.

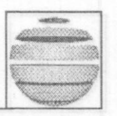


собственными элементами, т.к. они сознательны, синтетически активны и не нуждается ни в каком наблюдателе. Делая такой вывод, Зиммель тем самым преодолевает границы кантовской логики и привносит индивидуалистские мотивы в трактовку общества: «Положение Канта о том, что связь никогда не может быть присуща самим вещам, поскольку она осуществляется только субъектом, не имеет силы для общественной связи, которая фактически совершается именно в "вещах", а "вещи" здесь – это индивидуальные души»[48]. Общество – это объективное единство, восприятие которого отличается от восприятия внешнего мира. *Другой* является такой же несомненной реальностью, как и *Я*, и их интеракция порождает чувство соучастия: априорно каждый знает, что *Другой* связан с ним. Бытие *Другого* как продукт представления является глубочайшей проблемой обобществления (Vergesellschaftung). Жизненное содержание пребывает и независимо от «социальной диффузии», в категориях единичной жизни, как *переживание* индивида. Факт обобществления сталкивается с двойственностью: с одной стороны, общество заключает индивида в себе, с другой, он – замкнутое органическое целое, бытие для себя. В этом заключается фундаментальный, формообразующий синтез, представляющий индивида как полностью необобществленный элемент. Зиммель рассматривает общество как процесс непрерывного взамодействия, в котором индивиды не поглощаются обществом всецело, а продолжают сосуществовать самостоятельно от его реальности. В отличие от подходов Вебера и Дюркгейма, у Зиммеля общество скрепляет не внешняя сила, а сила, заключенная в самих индивидах[49]. Между индивидуальным и внешним, объективным, существованием наблюдается предустановленная гармония.

Теория общества Г. Зиммеля, соединившего философию Канта с психологизмом, отличается от понимания общества, предложенного Ф. Тённисом, Э. Дюркгеймом, М. Вебером, Т. Парсонсом. В этом плане его социология является неконвенциональной, и в течение всей жизни Зиммель пытался органично вписаться в академическое поле. Социальную теорию Зиммеля отличает то, что ее автор является представителем возникшей на стыке эмпиризма и априоризма «философии жизни», которую, следуя логике

[48] Зиммель Г. Как возможно общество // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996. С. 509.

[49] Зиммель Г. Социальная дифференциация //Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни.



создателей (А. Бергсон, Ф. Ницше), можно обозначить как *онтологию социального становления*. Она позволяет избежать преобладания какой-то одной стороны – либо трансцендентных сущностей, каковыми является общество, либо имманентных реальностей, каковыми являются индивиды. Именно представленная учением Зиммеля форма рецепции Канта становится, на наш взгляд, актуальной для современной социальной аналитики.

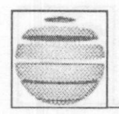
Выводы

Современную социальную теорию характеризует отсутствие конвенции относительно ви́дения социальной реальности. С точки зрения социальной эпистемологии, установление конвенции возможно благодаря нивелированию оппозиции классическое/неклассическое и применению *постнеклассического*[50] *подхода*. В классической социальной теории априорные схемы Канта являются основными конститутивами. Вопрос о том, как мыслить различие (индивидов) вне тождества (общества), кроме Г. Зиммеля не волнует умы других классиков. Категория общества – это синтетическая априорная схема, в которой единство выступает условием множества. Общество реализует диалектику тождества и различия, воплощая целостность для трансцендентального субъекта. Как «верховная реальность» и «моральная действительность» эта категория является воплощением необходимости и причинности. Априоризм, тесно связанный с объективизмом, закрепил притязания классического социального знания на научность, сориентировав его на необходимость и всеобщность. Таким образом, рецепция априоризма Канта выражается в трансцендентной *категории* общества и в логическом объективизме знания, образующем «горизонт» классической социальной эпистемологии.

Г. Зиммель, выражаясь словами М. Мамардашвили, расширяет классическую «онтологию ума», включая в нее регион «психика–сознание»[51]. Поэтому, на наш взгляд, социология Зиммеля может выступить ресурсом для установления конвенциональных рамок в современной теории общества, идейная взаимосвязь которой

[50] Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Философия и эпистемология науки. 2006. № 1.

[51] Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1993.



с учением Зиммеля очевидна. Р. Нисбет назвал теорию Зиммеля «сущностью современной социологии»[52]. В понятии «индивидуализированное общество» З. Баумана[53] можно увидеть проявление «текучести», бесконечного становления общества, с одной стороны, и стремление к обретению новой институциональной *формы*, с другой. В социологии мобильности Дж. Урри развитие различных глобальных «сетей и потоков» размывает эндогенные социальные структуры, приводя к созданию новой формы[54]. Поэтому справедливые слова Л. Вирта, сказанные еще в 1926 году о том, что эпохальный вклад Зиммеля в теорию общества вполне уместно назвать «пост- или неозиммелевским движением», на фоне критики Парсонса приобретает «второе дыхание»[55].

[52] См.: Московичи С. Машина, творящая богов.

[53] См.: Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002.

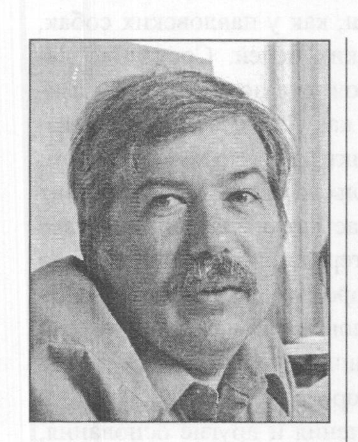
[54] Urry J. Sociology beyond societies: mobility's for the twenty-first century. L., 2000.

[55] Wirth L. The Sociology of Ferdinand Tonnies // American Journal of Sociology. Chicago, 1926.Vol. 32. № 3.



ПРИЧИННОСТЬ И ОБЪЯСНЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ: ОТ НЕОБХОДИМОГО К ВОЗМОЖНОМУ

Д. А. ЛЕОНТЬЕВ



Проблема причинности долгое время служила лакмусовой бумажкой научного мировоззрения. Вплоть до начала 20 века именно по ней проходил водораздел между наукой, с одной стороны, и религией и обыденным сознанием, с другой. Наука утверждала законосообразность, причинную обусловленность и предсказуемость всех явлений, наблюдаемых в мире (в том числе человеческих действий и других психологических феноменов), не требующую постулирования принципиально непознаваемых факторов для их объяснения. Религия постулировала конечную причину, в принципе неподвластную человеческому познанию, онтологизировав ограниченность последнего. Обыденное же сознание исходит, прежде всего, из своего *Я*. «Всегда ошибочно рассматривать поведение как зависимую переменную в психологических исследованиях. Для самого человека это независимая переменная»[1]. Вместе с тем, как выявили экспериментально-психологические исследования локуса контроля и каузальной атрибуции во

[1] Kelly G. Clinical Psychology and Personality: the Selected Papers of George Kelly // Maher B. (Ed.). N.Y., 1969. P. 33.



второй половине 20 века, причины собственных действий могут в разной степени приписываться индивидом либо внешним силам, либо самому себе, и от этого самым существенным образом зависят многие особенности его поведения и сознания[2].

Собственное *Я* служит обычно точкой отсчета и в философском познании, что приводило порой к радикальному расхождению научного и философского взглядов на человека. Стремление совместить их могло породить тяжелый кризис, как мы видим на примере У. Джеймса – выдающегося философа и психолога конца 19 – начала 20 веков. «Уильям Джеймс испытывал периоды глубокой депрессии, когда ему было около тридцати. В это время он учился в Европе, изучая психологию. Потеряв веру в свободу волеизъявления, он был совершенно подавлен мыслью, что все его поступки не более чем простые реакции, как у павловских собак, и тогда невозможно достижение никаких целей. Состояние депрессии длилось несколько месяцев, и он уже подумывал о самоубийстве»[3]. Ниже мы вернемся к тому, как Джеймсу удалось разрешить этот мировоззренческий конфликт; пока же констатируем, что именно психология личности, импульс к развитию которой во многом дал У. Джеймс, оказалась областью познания, наиболее чувствительной к дилемме свобода/детерминизм применительно к человеческим действиям. С одной стороны, она является разделом психологии – эмпирически обоснованной науки; с другой стороны, все психологические теории личности опираются на тот или иной образ человека, в основе которого лежат культурные и религиозные традиции, философские учения и другие основания, выходящие далеко за пределы собственно научного знания. Анализ проблемы свобода/детерминизм в психологии 20 века[4] позволяет увидеть, что она остается неразрешенной. Хотя в последние десятилетия появились новые перспективные концептуальные подходы, решения в большей мере носят компромиссный характер, механически сочетая признание зон детерминированности и зон свободы в человеческой жизнедеятельности.

---

[2] См. об этом: Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. Изд. 2-е, перераб. М.–Спб., 2003; Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. М., 2006.

[3] Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994. С.130.

[4] См.: Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности // Психологический журнал. Т. 2. 2000. № 1. С. 15–25.



Гуманитарная парадигма – вызов принципу детерминизма

Новый ракурс проблемы причинности в психологии личности обнаружился с формулированием оппозиции гуманитарного и естественнонаучного понимания человека, которая во многом определяла методологические дискуссии на протяжении всего 20 века как в методологии науки в целом, так и в конкретных дисциплинах. Особенно это относится к психологии, предмет которой в равной мере входит в компетенцию как естественнонаучного, так и гуманитарного подхода, что порождает серьезные проблемы их соотнесения между собой. Введенное В. Дильтеем[5] противопоставление объяснительной (научной) и описательной (понимающей) психологии привело к расщеплению целостного психологического знания и к формированию двух разных концептуальных, терминологических и методологических систем, которые и поныне еще не воссоединены. Насколько непреодолим этот раскол?

Прежде всего, необходимо признать *несводимость* гуманитарного познания к естественнонаучному. «Сегодня уже ясно для большинства исследователей в этой области, что эти науки (о человеке и обществе. – *Д. Л.*) могут успешно развиваться тогда, когда они не имитируют успешные в прошлом методы естествознания, а развивают собственные, относящиеся, прежде всего, к изучению осмысленных человеческих действий и семиотических систем, воплощающихся в культурных объективациях, в социальных институтах и определяющих способы межчеловеческой коммуникации»[6]. Признание этого ведет к необходимости разработки новой методологии познания в науках о человеке и обществе, нередко описываемой, в частности, в терминах постмодернистской, неклассической или постнеклассической[7].

[5] Дильтей В. Описательная психология. М., 1924.

[6] Лекторский В.А. Предисловие // Наука глазами гуманитария / Отв. ред. В. А. Лекторский. М., 2005. С. 5–10.

[7] См.: Shotter J. Getting in Touch: the Metamethodology of a Postmodern Science of Mental Life // The Humanistic Psychologist. 1990. № 1. Spring. Vol. 18. P. 7–22; Стёпин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. М., 2000; Петренко В. Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 / Под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леон-тьева. М., 2002. С. 19–36; Гусельцева М.С. Методологические предпосылки и принципы развития культурной психологии // Методологические проблемы современной психологии / Под ред. Т. Д. Марцинковской. М., 2004. С. 82–101; Леонтьев Д.А. Неклассический вектор в современной психологии // Постнеклассическая психология. 2005. № 1(2). С. 51–71.

Главное, что обычно выдвигается на первый план при определении специфики гуманитарного подхода к человеку, – это взгляд на проявления человека, на его внутренний мир и продукты творчества как на знаковые, семиотические системы, приобретающие смысл в определенном социокультурном контексте. «Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, это уже не гуманитарные науки»[8]. Применительно к психологии личности это подразумевает, что личность не является просто вещью, которую можно описать со стороны. Ее свойства раскрываются, только если вступить с ней в определенное взаимодействие, и, более того, они меняются в процессе этого взаимодействия, поэтому мы не можем зафиксировать этот объект, чтобы его описать в данный момент времени. Гуманитарный подход к личности предполагает, что у каждого из нас есть внутренний мир, в котором присутствуют определенные *смысловые содержания*.

Именно наличием диалогически раскрываемых текстов, или содержаний, личность отличается от индивидуальности. Индивидуальность можно измерить и протестировать, но содержания внутреннего мира не поддаются такому анализу. Человек – единственное существо, у которого есть содержания; можно сказать даже, что душа – это и есть содержание. Как индивидуальности – природные объекты, обладающие определенными свойствами, – мы обособлены жесткими границами, отделяющими нас от других объектов и от окружения. Но на уровне содержаний, смыслов, представлений, текстов, ценностей, т.е. того, что относится не к свойствам, а к содержаниям, которыми люди могут обмениваться между собой, а также с культурой и социокультурными общностями, мы оказываемся принципиально разомкнутыми, мы все время обмениваемся этими содержаниями. В этом суть диалогичности человеческого существования. Человека можно одновременно рассматривать как природный объект, как индивидуальность, с одной стороны, и собственно как личность – как определенный внутренний мир, характеризующийся через его содержания и через те взаимодействия, в которые надо вступать с этим миром, чтобы позволить этим содержаниям раскрыться[9], с другой.

---

[8] Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 285.

[9] См. подробнее: Леонтьев Д.А. Личность как преодоление индивидуальности: основы неклассической психологии личности // Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра / Под ред. А.А. Леонтьева. М., 2006. С. 134–147.



Вместе с тем, различие между естественнонаучным и гуманитарным подходами в психологии личности вряд ли можно свести только к различию между «жестким» естественнонаучным детерминизмом и «культурной» детерминацией, «управляющей продуктивной деятельностью людей»[10]. *Специфика гуманитарного подхода* не в том, что он заменяет одну детерминацию другой или добавляет новую ее разновидность, а *в том, что он изучает не необходимое, а возможное*.

Возможностная антропология и пунктирный человек

Четкое разведение этих двух модальностей реальности дал М.Н. Эпштейн[11], показав, в частности, что для гуманистики характерен расходящийся дискурс, направленный не на связывание разных идей в одну логическую конструкцию, а на выстраивание веера расходящихся путей-возможностей[12]. Действительно, естественные науки изучают *необходимое* – «то, что не может не быть»[13], поскольку оно причинно обусловлено. Законы, установление которых является задачей естественных наук, предполагают однозначность и предсказуемость. По отношению к психологии это наиболее отчетливо формулировал на первом этапе своей деятельности Курт Левин, стремившийся строить психологию по образцу естественных наук, прежде всего физики, и подчеркивавший абсолютную законосообразность всего психического[14].

Возможное М. Н. Эпштейн определяет как то, чего нет, но что может быть[15], оговариваясь при этом, что применительно к этой категории «противоположность бытия и небытия в значительной степени нейтрализуется»[16], поэтому оно смыкается со случайным –

---

[10] Марцинковская Т.Д. Междисциплинарность как системообразующий фактор современной психологии // Методологические проблемы современной психологии / Под ред. Т. Д. Марцинковской. М., 2004. С. 61–81.

[11] См.: Эпштейн М.Н. Философия возможного. СПб., 2001; Эпштейн М. Н. Знак_пробела: о будущем гуманитарных наук. М., 2004.

[12] Эпштейн М.Н. Знак_пробела: о будущем гуманитарных наук. С. 19, 68.

[13] Эпштейн М.Н. Философия возможного. С. 291.

[14] См.: Левин К. Динамическая психология: избранные труды. М.. 2001.

[15] Эпштейн М.Н. Философия возможного. С. 290.

[16] Там же.

тем, что есть, но может не быть. То, что оно может быть (а может и не быть), характеризует возможное/случайное более существенным образом, чем то, что оно есть или не есть. Взгляд под этим углом зрения на все продукты человеческого духа позволяет убедиться: не приходится аргументировано говорить о том, что они детерминированы, то есть необходимо должны были быть созданы и быть именно такими, какими они оказались. Можно в качестве примера рассмотреть исторические деяния выдающихся людей, которые отличает как раз их непредопределенность; или произведения искусства, особой ценностью из которых отмечены те, которые нарушают ожидания аудитории. М. К. Мамардашвили[17] отмечал отсутствие причинной обусловленности целого ряда специфически человеческих проявлений, таких как добро, мысль, любовь, свобода: «Это невозможно, но случается».

В философских и теоретико-психологических концепциях человека идея о том, что *сущность человека характеризует в большей мере возможное, нежели фактическое, наличное или необходимое*, встречается достаточно часто (Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, М. Босс, В. Франкл, С. Мадди, М. Чиксентмихайи, М. К. Мамардашвили, А. А. Брудный, М. Н. Эпштейн, А. М. Лобок и др.). Эта идея тесно смыкается с уже получившей широкое признание идеей о том, что главной сущностной характеристикой человека выступает универсальная способность к трансценденции любой данности (Э. Фромм, В. Франкл, А. Джорджи, Г. С. Батищев и др.).

Положение о том, что человеческая жизнедеятельность направляется не только и не столько (если мы говорим о специфически человеческих ее формах) выражающейся в объективных законах поведения необходимостью, сколько открывающимися рефлексивному сознанию возможностями, не отрицает существования в личности познаваемых объективных закономерностей разного рода, причинно обусловливающих те или иные аспекты жизнедеятельности. Совмещение в человеке неспецифических естественных закономерностей, причинным образом детерминирующих многие аспекты его жизнедеятельности, и специфически человеческой открытости к сфере возможного, вносящей в его жизнедеятельность принципиально новые, некаузальные основания, выражается в антропологическим образе *«пунктирного чело-*

[17] См.: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М., 1995; он же. Психологическая топология пути. М., 1997.



века»[18]. Человек не проявляет себя как человек, не реализует все свои человеческие возможности в любой момент своей жизни, часто пользуясь возможностью функционировать на более низком, субчеловеческом уровне. В разработанной нами ранее *мультирегуляторной модели личности*[19] была показана множественность регуляторных принципов и механизмов, управляющих человеческим поведением, неизбежность их сочетания и постоянного переключения с одного на другой. Более упрощенное разделение человеческих и субчеловеческих форм хорошо согласуется с формулой В. В. Розанова, различавшего бессознательную жизнь, управляемую причинами, и сознательную жизнь, управляемую целью[20]. Сущность человека выражается как раз в этой возможности переключаться с одной системы регуляции на другую, с одного уровня на другой, и траектория его жизни есть пунктирная траектория. У разных людей в разных ситуациях эта траектория может иметь разную конфигурацию, но ни у кого она не бывает сплошной. *Искушение субчеловеческим* проявляется в том, что субчеловеческие формы существования оказываются менее энергозатратными, более легкими, более привлекательными как путь наименьшего сопротивления; собственно же человеческие проявления – путь наибольшего сопротивления. Поэтому не каждый стремится во всем быть человеком, платя за это соответствующую цену.

Традиционно причинной, каузальной детерминации противопоставлялась детерминация телеологическая. Она, однако, тесно связана с возможностным измерением существования человека. Как цель, так и возможность начинают играть роль в детерминации человеческих действий тогда, когда наше сознание принимает их в качестве возможных оснований для наших действий. Без опосредования сознанием они не порождают следствий, и подлинная проблема целеполагания состоит не в том, чтобы построить цель, а в экзистенциальном акте принятия уже построенной цели в качестве основания для действий, принятия на себя ответ-

---

[18] См.: Леонтьев Д.А. О предмете экзистенциальной психологии // 1 Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии / Под ред. Леонтьева Д.А., Мазур Е.С., Сосланда А.И. М., 2001. С. 3–6.

[19] См.: Леонтьев Д.А. Психология смысла. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2007.

[20] См. Розанов В. Цель человеческой жизни (1892) // Смысл жизни: антология / Под ред. Гаврюшина Н.К. М., 1994. С. 21.



ственности за ее реализацию. Действие, строящееся на таких основаниях, есть поступок[21].

В потоке «бессознательной жизни» мы вообще не воспринимаем каких-либо возможностей, помимо необходимости и неизбежности подчиняться определенным воздействующим на нас силам, более или менее сознаваемым нами. *Возможности конституируются осознанным их видением субъектом в качестве потенциальных альтернатив собственных действий*; их число в конкретной ситуации может быть очень велико, хотя конечно, и не все из них заслуживают серьезного рассмотрения. При этом именно циркуляция смысловых содержаний в диалогическом взаимодействии индивидов между собой и с миром культуры радикально расширяет спектр потенциальных возможностей и целей, доступных человеку, сознание которого открыто этому взаимодействию. Из круга возможного наше сознание вычленяет *ценное* – те возможности, которые обладают для нас определенной ценностью, привлекательностью, смыслом, и в силу этого рассматриваются как потенциальные варианты действий. Однако реально в деятельность воплощаются лишь немногие из них, – те, которые проходят еще одну селекцию и принимаются нами как *должное*, как цели, за реализацию которых мы принимаем на себя ответственность. Принимая ответственность за цель, я исхожу из того, что она не реализуются помимо меня; воспринимая самого себя как причину определенных событий, я принимаю решение использовать эту причинную способность в определенном направлении («держать усилие» – в терминах М. К. Мамардашвили). Только тогда избранная мною осмысленная цель включается в детерминацию моих действий. Через реализацию этой цели возможность воплощается в реальность; в режиме «сознательной жизни» сознание через цикл «*возможное–ценное–должное–цель–действие*» оказывает воздействие на бытие. При этом в любом случае как определенный исход действий, так и их определенное протекание не гарантированы: принятие любой возможности и опора на нее всегда сопряжено с риском и неоднозначностью.

Именно через принятие неоднозначности и риска У. Джеймс смог разрешить свою экзистенциальную проблему, описанную

[21] См.: Гусейнов А.А. Закон и поступок (Аристотель, И. Кант, М.М. Бахтин) // Этическая мысль. Вып. 2. М., 2001. http://ethics.iph.ras.ru/em/ em2/1.html; Леонтьев Д.А. К психологии поступка // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2006. № 2(9). С. 153–158.



в начале статьи. «Ему пришло в голову *поставить* на свободу. Он решил, что, просыпаясь утром, он будет верить в свободу хотя бы на один день. Он выиграл свою ставку. Вера в свободу обернулась *самой* свободой»[22].

Если же наше рефлексивное сознание дремлет, оно не в состоянии проделать работу по открытию и селекции возможностей и переходу к осмысленному целеполаганию. В этом случае, однако, эту работу может манипулятивно проделать за нас другой, предлагая уже готовую цель в качестве заведомо ценного и должного для нас; нам остается только «взять под козырек». Именно этот механизм искусственного *«спрямления» пути от многообразия возможностей к единственной принимаемой здесь и теперь цели* активно используется в рекламе, в политической и религиозной пропаганде, в межличностных манипуляциях. Упомянутый выше принцип минимизации энергозатрат объясняет ту готовность, с которой многие люди склонны принимать заданные извне цели, не рассматривая альтернатив.

Объяснительный потенциал категории возможного в психологии личности

Введение категории возможного в дополнение к категории необходимого позволяет преодолеть ряд стереотипов, на которые опирается современная психология личности. В их числе стереотипы об универсальном характере законов и закономерностей, которым подчиняется поведение всех людей, о несовместимости естественнонаучного и гуманитарного взглядов, об абсолютной детерминированности психических явлений, об обусловленности поведения взаимодействием факторов личности и ситуации и другие. В последние десятилетия в эмпирических исследованиях все чаще появляются данные, свидетельствующие о неполной причинной детерминированности психологических феноменов, о возможности трансценденции однозначной детерминации.

Так, А. Маслоу в интервью незадолго до своей смерти признался, что его убеждение в том, что полноценное удовлетворение всех базовых потребностей порождает движение к самоактуализации, не получило подтверждения: некоторые в этих условиях

[22] Мэй Р. Искусство психологического консультирования. С. 130.



движутся в предсказанном направлении, а некоторые нет[23]. Как следует из этого примера, удовлетворение потребностей выступает не детерминантом самоактуализации, а ее *предпосылкой, порождающей ее возможность, но не необходимость*. Другой иллюстрацией понятия предпосылки выступает замеченная нами *асимметрия корреляционных связей* между личностными переменными: полюс переменной, связанный с относительно более низким уровнем личностного развития, обнаруживает более прочные корреляционные связи с другими переменными, нежели тот полюс той же переменной, который связан с относительно более высоким уровнем развития; например, пессимизм обнаруживает больше корреляций с другими переменными, чем оптимизм. Мы объясняем это тем, что *при более низком уровне личностного развития связи между переменными носят больше жесткий, детерминистический характер, а на высоком уровне развития одни выступают по отношению к другим лишь как предпосылки, не предопределяя их однозначно.*

Следующая группа данных свидетельствует об асимметрии генетической обусловленности положительных и отрицательных состояний и об изменении меры их генетической обусловленности под влиянием взаимоотношений в семье. Так, А. Теллеген с соавторами[24] обнаружили в близнецовых исследованиях, что гены объясняют 55% дисперсии негативной эмоциональности и лишь 40% позитивной, а семейное окружение, соответственно, 2% и 22%. Еще более убедительные данные были получены А. Кнафо и Р. Плomином в исследовании альтруизма на 9300 близнецовых пар, в котором учитывался стиль воспитания. Во всех возрастах негативный стиль воспитания (принуждение, отрицательные эмоции) позволяет ярче проявиться генетической предрасположенности (близнецы более схожи между собой и менее альтруистичны). Позитивный же родительский стиль (преобладание положительных эмоций, отсутствие принуждения в воспитании) не только способствует формированию альтруизма, но и, по всей видимости, помогает преодолеть биологическую заданность и усилить влияние факторов среды, выступая предпосылкой более индиви-

[23] См.: Frick W. Remembering Maslow: Reflections on a 1968 interview // Journal of Humanistic Psychology. 2000. Vol. 40. № 2. P. 139.

[24] Tellegen A., Lykken D., Bouchard T., Wilcox K., Segal N., Rich S. Personality Similarity in Twins Reared Apart and Together // Journal of Personality and Social Psychology. 1988. Vol. 54. P. 1031–1039.



дуального развития[25]. Таким образом, если эгоизм и негативная эмоциональность причинно обусловлены на генетическом уровне, то позитивная эмоциональность и альтруизм существуют как возможности, развивающиеся при определенных условиях и предпосылках и больше зависящие от ситуации развития. Само развитие протекает в направлении от генетически обусловленных универсальных структур к менее универсальным структурам, изначально существующим в модальности возможного.

Еще одна группа данных была получена в исследованиях последних лет под руководством автора данной статьи. В диссертационном исследовании Е. Ю. Мандриковой[26] удалось экспериментально выделить различные типы и механизмы личностного выбора: реактивный тип, лишенный осмысления оснований выбора и управляемый случайными причинами, активный выбор неизменности, опирающийся на стремление к сохранению статус-кво и на отказ от новых возможностей, и активный выбор неизвестности, выражающийся в рискованном предпочтении неясных альтернатив. Последняя разновидность выбора, в отличие от первых двух, опирается на аргументы смыслового плана; основанием выбора служат возможности, а не фактичность. Испытуемые, характеризовавшиеся этим типом выбора, отличались от других групп значимо более высоким уровнем осмысленности жизни, автономии в принятии решений, оптимизма, толерантности к неопределенности, жизнестойкости и стремления к изменениям. В другой работе[27] была апробирована новая методика диагностики мировоззренческой активности: испытуемые должны были оценить в процентах степень согласия с каждым из двух вариантов ответов на вопросы мировоззренческого характера; по желанию они могли также сформулировать собственный вариант ответа. Те, кто вышел за пределы необходимости и воспользовался возможно-

[25] Knafo A., Plomin R. Parental Discipline and Affection and Children's Prosocial Behavior: Genetic and Environmental Links // Journal of Personality and Social Psychology. 2006. Vol. 90. P. 147–164.

[26] См.: Мандрикова Е.Ю. Виды личностного выбора и их индивидуально-психологические предпосылки. Диссертация кандидата психологических наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006; Леонтьев Д. А., Мандрикова Е. Ю. Моделирование «экзистенциальной дилеммы»: эмпирическое исследование личностного выбора // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2005. № 4. С. 37–42.

[27] См.: Леонтьев Д. А., Ильченко А. Н. Уровни мировоззренческой активности и их диагностика // Психологическая диагностика. 2007. № 3. С. 3–21.



стью дать свой вариант, отличались значимо более высокой толерантностью к неопределенности, стремлением к изменениям и показателями по отдельным субшкалам теста смысложизненных ориентаций. Эти данные свидетельствуют о том, что, *по мере личностного развития и самодетерминации, возрастает склонность ориентироваться на осмысленные и вариативные возможности в противовес однозначной необходимости.*

Возможностные основания нравственной и правовой регуляции социального поведения

Рассмотрим в заключение, как встраиваются рассмотренные психологические механизмы замещения, необходимого возможным в регуляцию социального поведения, по отношению к которому часто используется категория «должен».

Неверно считать долженствование разновидностью принимаемой необходимости. Когда мы говорим о необходимом, снимается вопрос выбора. Между причиной и следствием – жесткая и неотвратимая связь. В поведении человека связь внешне бывает схожа со следующими примерами. Удар по правой щеке вызывает ответный удар – «око за око»; связь здесь носит характер не столько необходимости, сколько сформировавшейся в индивидуальном опыте условной реакции, субъективно воспринимаемой как необходимо обусловленная первым ударом: я бью в ответ, говоря «ну а как же еще?»

Однако, как мы узнали из Нагорной проповеди, есть альтернатива: подставить левую щеку. Возникает проблематизация, разрыв условной связи, расширение сферы возможного. В работах ведущих этиков отмечается, что моральные нормы важны не столько тем, что они должны жестко соблюдаться; само их существование важнее, чем их соблюдение[28]. Они создают проблематизацию и тем самым пространство выбора. В результате само существование моральных норм и сама проблематизация – можно так, а можно, оказывается, еще и иначе, и даже хорошо иначе – накладывает на нас ответственность за то, что мы в этой ситуации делаем. Можно сказать, что *этика – это культурный механизм порождения личной ответственности.* Это следует как раз из того названного обстоятельства, что *должное*, то есть то, к чему, по

---

[28] См.: Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. М., 1998; Шрейдер Ю. А. Этика: введение в предмет. М., 1998.



мнению этических учений, надо стремиться, не относится к категории необходимого. «Даже категорическое этико-религиозное требование “не убий” само по себе не имеет нравственного обязывающего смысла»[29]. *Должное является частным случаем возможного*. И должное, и запретное относятся к тому, что мы называем социальными нормами – установлениями, за которые предусмотрены положительные или отрицательные санкции. Когда мне говорят, что такое «хорошо» и что такое «плохо», мне сообщают не столько о том, что надо вести себя хорошо и выбора нет, сколько о том, что существуют такие возможности и другие возможности, и одни возможности общество, культура, группа санкционирует положительно, а другие возможности санкционирует отрицательно; за одно наказывает, а за другое вознаграждает. Однако, невзирая на санкции, само существование нормы провоцирует на ее нарушение: «Давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу!» (И. Ильф. Записные книжки). Одно это доказывает, что здесь не может идти речь о необходимости, о причинно-следственных связях. Я осознаю последствия, которые мне грозят, если я не сделаю то, что должно, или сделаю то, что нельзя; но конечное решение все равно принимаю сам, неся ответственность за мой выбор одной из воспринимаемых возможностей.

Запретный плод сладок. Как только я узнаю, что делать что-то нельзя, сразу возникает импульс так сделать. Здесь возникает дилемма: или осознавать и называть своими именами негативные возможности, или нет. Ю. Шрейдер[30] говорил, что надо избегать называть зло, потому что если назвать его, оно тем самым обретает новое существование, создается новая реальность, которая открывает для человека новые возможности (приводя в качестве примера самоубийство). Альтернатива, однако, не лучше. Неназывание зла – это попытка удержаться в модели естественной детерминации, то есть редуцировать внутренний мир, редуцировать пространство рефлективного сознания, в надежде на то, что человек, регулируемый более примитивными механизмами условных связей, будет вести себя более приемлемым для общества образом, чем люди свободные, анализирующие разные возможности. Это более чем спорное допущение. Р. Мэй[31] писал, что если чело-

[29] Гусейнов А. А. Закон и поступок (Аристотель, И. Кант, М. М. Бахтин).

[30] Психология и этика: опыт построения дискуссии / Под ред. Братуся Б. С. Самара, 1999. С. 14-15.

[31] См.: May R. Freedom and Destiny. N.Y., 1981.

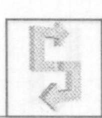


век свободен, никто не может гарантировать, что он будет выбирать только добро, а не зло. И не случайно все великие святые, отмечал Мэй, считали себя великими грешниками. Более высокий уровень развития, более высокий уровень свободы предполагает большую чувствительность к проблеме добра и зла, большее осознание возможностей и добра, и зла и, соответственно, большую ответственность за этот выбор. На этом уровне осознания человек уже не может говорить, что он «хотел, как лучше, а получилось, как всегда», ссылаться на непонимание, на незнание или неодолимую силу («форс-мажор»).

Когда нравственные заповеди входят во внутренний мир человека, они не становятся силой, которая влечет его наподобие инстинкта, но возникает принципиально новый тип детерминации. Учебник этики – это путеводитель по пространству, где нет иной детерминации, кроме моей личной ответственности. Я не обязан следовать всем советам путеводителя, я сам выбираю свой маршрут. Таким образом, главное в этике не то, что она задает конкретные моральные нормы, указывая на то,что одно хорошо,другое плохо. Важнее то, что этическое измерение задает само пространство выбора, пространство возможностей.

Каждый человек растет в определенной культуре, которая дает нам точку опоры в виде системы норм, системы должного. Большая опасность заключается в риске принять то, пусть даже очень «высокожелательное», возможное, которое мы усваиваем из нашей культуры, за необходимое и безусловное. Если то должное, что мы усваиваем из нашей родной культуры, воспринимается как положительная возможность, как что-то, что «может быть», мы остаемся открытыми другим культурам как к иным возможностям, которые тоже могут быть в чем-то по-своему неплохи и привлекательны. Мы имеем возможность включить разные возможности в наш мир, сравнивать и объединять их. М. Эпштейн[32] говорил об идеале *транскультурности*, как о неком позитивном идеале существования человека в пространстве разных культурных возможностей, не ориентируясь излишне жестко на одну из них. В современном мире идеал транскультурности особенно важен. Он не отрицает идентификацию с определенной культурой и опору на нее, однако в этом случае родная культура выступает как ценностный ресурс, а не как жесткое ограничение; как опора, а не как ограда; как ценная возможность, а не как необсуждаемая

[32] Эпштейн М.Н. Философия возможного; он же. Знак_пробела: о будущем гуманитарных наук.



необходимость. Если же мы воспримем нормы нашей родной культуры как необходимость, то есть как то, чего «не может не быть», из этого логически однозначно вытекают фанатизм и агрессия по отношению ко всем тем, кто «имел несчастье» вырасти в других нормах.

Отдельной проблемой, анализ которой выходит за рамки данной работы, является применение категории возможного для анализа поведения людей в сфере действия правовых норм. В частности, юридические понятия умысла, вменяемости и ряд других довольно тесно связаны с представлениями о причинности человеческого поведения, однако различные элементы действующего законодательства опираются порой на противоречивые представления о человеке и регуляции его поведения. В частности, когда речь идет о влиянии слов и действий одного человека на психологическое состояние другого, равно неверно говорить как о том, что первое служит причиной второго, так и о том, что второе никак не зависит от первого. Безусловно, даже подвергаясь манипуляции или провокации, человек не обречен действовать одним лишь тем способом, которого добивается манипулятор, – потенциально существует много возможностей для его действий. Однако верно и то, что своими действиями манипулятор часто сознательно, а иногда и неосознанно, мешает своей жертве использовать возможности рефлексивного сознания, чтобы увидеть имеющиеся возможности (например, искусственно создавая спешку или аффект), тем самым снижая уровень регуляции его деятельности и ограничивая степень свободы выбора им своих действий[33]. Исходя из этого, в состав ряда преступлений, связанных с введением в заблуждение, было бы правильно включить действия, направленные на ограничение свободы видения и выбора жертвой возможностей для своих действий.

* * *

Целью данной статьи было концептуально оформить тенденцию, разнообразно проявляющуюся в психологии личности и философской антропологии в последние десятилетия – дополнить представления о каузальной и телеологической причинности в деятельности личности представлениями об ответственном выборе возможного и его воплощении в действительность как объяс-

[33] Об этом, в частности, см.: Сафуанов Ф. С. Психология криминальной агрессии. М., 2003.



нительном принципе определенной категории человеческих поступков. Мы стремились показать связь возможностного объяснения с категориями телеологической (целесмысловой) детерминации, рефлексивного сознания и ответственности, предложив на этой основе способ разграничения естественнонаучного и гуманитарного подходов к человеку и понимания их взаимосвязи. Были также приведены данные из области психологии личности, свидетельствующие в пользу перспективности предложенного подхода, и рассмотрены некоторые возможные следствия для понимания моральной и правовой регуляции социального поведения. Изложенное позволяет, на наш взгляд, говорить о предлагаемом *возможностном объяснении, дополняющем традиционное причинное объяснение*, как о способе не только внести новую струю в понимание механизмов человеческой свободы и несвободы, но и как об инструменте философского и психологического самопознания и самоопределения по отношению к течению собственной жизни. «Мы могли бы перестать быть просто болтливыми следствиями в великой причинно-следственной цепи явлений и попытаться взять на себя роль причин»[34].

[34] Бродский И. Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро // Сочинения Иосифа Бродского: В 8 т. Т. 6. СПб., 2000. С. 36.



СТРУКТУРНЫЙ РЕАЛИЗМ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАНТОВОЙ ХРОМОДИНАМИКИ[1]

ТИАН Ю ЦАО

В 1950-е годы в качестве элементарных рассматривались все адроны, т.е. частицы, участвующие в сильных взаимодействиях, в том числе протон и нейтрон (нуклоны), другие барионы вместе с пионами, каонами и другими мезонами. Делались попытки рассматривать некоторые частицы – такие как протон, нейтрон и Λ-частица, в качестве более фундаментальных, с тем чтобы все другие адроны могли быть получены из фундаментальных[2].

Но всё же преобладала точка зрения, что все элементарные частицы равно элементарны, ни одна из них не является более элементарной, нежели другие. Этот общий консенсус был резюмирован в понятии «ядерной демократии» или «адронного эгалитаризма»[3].

[1] Тиан Ю Цао – профессор философии науки отделения философии Бостонского университета США. Основные труды: Cao T. Y. Conceptual Developments of 20th Century Field Theories. Cambridge, 1997; Cao T. Y. (Ed.) Conceptual Foundations of Quantum Field Theory. Cambridge, 1999; Цао Тиан Ю. Предпосылки создания непротиворечивой теории квантовой гравитации // Философия науки. Ежегодник. Вып. 7. 2001; Он же. Замечания о возможной системе понятий квантовой гравитации // Труды Международной конференции: 100 лет квантовой теории (история, физика, философия). М, 2002. – *Примечание переводчика.*

[2] Fermi E., Yang C.N. Are Mesons Elementary Particles? // Physical Review. 1949. Vol. 76. P. 1739–43; Sakata S. On the Composite Model for the New Particles // Progress of Theoretical Physics. 1956. № 6. P. 686–688.

[3] Chew G. F., Frautschi S. C. Potential Scattering as Opposed to Scattering Associated with Independent Particles in the S-matrix Theory of Strong Interactions // Physical Review. 1961. Vol. 124, P. 264-268; Principle of Equivalence for all Strongly interacting Particles within the S-matrix Framework // Physical Review Letters. 1961. № 8. P. 41–44.





Что касается динамики, которая управляет поведением адронов в процессе сильных взаимодействий, то ранние попытки смоделировать мезонную теорию на основе успешной теории квантовой электродинамики провалились, и провалились без всякой надежды достигнуть успеха. Рассматривались и специальная версия, версия квантовой электродинамики (КЭД), и теория поля в рамках электромагнетизма. Более общие возражения против того, чтобы использовать квантовую теорию поля (КТП) в вопросе понимания сильных взаимодействий, выдвигались со стороны Ландау и его сотрудников. Эти возражения основывались на серьёзных динамических соображениях[4].

Сложившаяся с средины 1950-х годов ситуация характеризовалась отступлением от фундаментальных исследований в сторону исследований феноменологических. Феноменологическая установка на исследования в адронной физике возникла потому, что никакого детального понимания того, что происходит при сильных взаимодействиях, не предлагалось, да к нему и не стремились. Хотя, конечно, приходилось апеллировать к некоторым общим принципам (таким, как кросс-синг-симметрия, аналитичность, унитарность и симметрия). Речь идёт о принципах, абстрагированных от теоретико-динамических моделей. Ведь надо было связать соответствующими суждениями входы и выходы (реакций). Так что исследования обладали некоторым достоинством в плане объяснения и предсказания.

Однако в конце 1970-х годов ни один из адронов больше не рассматривался в качестве элементарного. В физическом сообществе и в более широких кругах, знакомых с популярной литературой, установился следующий единодушный взгляд. Во-первых, все адроны составлены из кварков, которые удерживаются вместе посредством глюонов; во-вторых, динамика кварк-глюонных взаимодействий была понята в новом, оригинальном смысле и математически сформулирована в квантовой хромодинамике (КХД). Что касается собственно сильного взаимодействия между адронами, то его можно было бы понять как неаннулируемый остаток сверхсильного кварк-глюонного взаимодействия типа Ван-дер-Ваальсовской[5] силы адронов.

[4] Ср.: Cao T.Y. Conceptual Developments of 20th Century Field Theories. Section 8.2.

[5] Ван-дер-Ваальсовское взаимодействие – это межмолекулярное взаимодействие электрически нейтральных молекул и атомов. Характеризуется тем, что на малых расстояниях между молекулами действуют силы отталкивания, которые с увеличением расстояния сменяются силами при-



Такое радикальное изменение в концепции фундаментальной онтологии физического мира и его динамики было одним из немногих величайших достижений в истории науки. Концептуальное путешествие, демонстрирующее, как эта концепция была сформулирована, намного богаче и сложнее, чем чисто концептуальный путь, на котором одни идеи просто замещаются другими. Путешествие было восхитительным, но полным трудностей; оно заслуживает исчерпывающих исторических исследований. Однако даже концептуальная часть рассказа является достаточной, чтобы высветить некоторые исторические и философские моменты в вопросе объективности и прогресса научного знания, которые (объективность и прогресс) являются центральным предметом в современной дискуссии о природе научного знания и его исторических изменений.

Центральным моментом в дискуссии предстаёт, конечно, статус ненаблюдаемых теоретических сущностей, таких как кварки и глюоны. Действительно ли они существуют в физическом мире как объективные сущности, независимо от человеческой воли, или же они существуют лишь как человеческие конструкции для использовании их в организации нашего опыта и для предсказания будущих событий? Если первое имеет место, тогда возникает родственный вопрос: можем ли мы иметь о них истинное знание и каким образом? В свете этих вопросов природа ненаблюдаемой сущности обретает центральное значение для метафизики, эпистемологии и методологии теоретических наук. В дебатах по ним принимают участие, грубо говоря, два лагеря.

Один – лагерь реалистов, другой – лагерь антиреалистов. Реалисты уверены в объективном существовании ненаблюдаемых сущностей, ибо эти сущности, указывают они, дают нам возможность получать успешное объяснение, иметь соответствующие предсказания. Хотя реалисты могут расходиться между собой во мнении относительно того, как мы можем знать эти сущности, все они оптимисты в вопросе человеческой возможности их познания. В качестве некоторого вывода скажем, что, согласно реалистам, исторические изменения научного знания являются прогрессивными по своей природе. То есть изменение означает аккумуляцию истинного знания об объективном мире, состоящего как из наблюдаемых, так и из ненаблюдаемых

тяжения. Аналогия с кварками в сильных взаимодействиях состоит в том, что по мере удаления друг от друга кварков, расположенных в адроне, силы притяжения между ними возрастают. – *Примечание переводчика.*



даемых сущностей, структурированных определённым образом. Необходимость (принятия) ненаблюдаемой сущности проистекает из гипотетико-дедуктивной методологии, которая, в свою очередь, имеет глубокие объяснения на основании человеческих устремлений.

Для антиреалистов статус ненаблюдаемой сущности, по меньшей мере, двусмыслен. Они не находят оправдания тому, чтобы допустить её в качестве чего-то большего, нежели принятое ради удобства фиктивное приспособление. Они отвергают аргументацию реалистов, приводимых в пользу её объективного существования, игнорируют, главным образом, указание на успех объяснения и предсказаний, считая данный успех чем-то слишком наивным. Они развёртывают свои собственные «софистические» аргументы – один логический, другой исторический, – чтобы удалить понятие ненаблюдаемых сущностей из нашего базового понимания теоретических наук.

Логический аргумент основывается на понятии недоопределённости (underdetermination). В тезисе о недоопределённости утверждается, что в общем ни теоретические термины, ни ненаблюдаемые сущности в особенности не могут быть определены единственным образом на основе эмпирических данных. То есть при данном наборе очевидных элементов мы уже можем конструировать более чем одну теорию; каждая из них базируется на некоторых ненаблюдаемых сущностях, рассматриваемых как её основная онтология, принятая для объяснения и предсказаний. В то время как эти теории совместимы с опытными данными (with evidence), гипотетические сущности, предполагаемые ими, могут иметь конфликтные черты и тем самым не могут все целиком быть истинными в отношении реальности. А раз так, т.е. если логически необходимая связь между ненаблюдаемыми сущностями и опытными данными затруднительна (severed) и основание для заключения о реальности этих сущностей из опытных данных устраняется, статус их никогда не может быть установлен, – он может быть принят скорее, как условный, нежели объективный.

В последние четыре года антиреалисты стали больше делать акцент на исторический аргумент, который основывается на понятии научной революции, ставшем популярным, главным образом, благодаря Томасу Куну. Если тезис недоопределённости допускает существование множественности конфликтующих теоретических онтологий и тем самым аннулирует вопрос о том, какую онтологию следует принять в качестве реальной, то Кун отвергает реальность любой теоретической онтологии. Аргументация его такова: если лю-



бая онтология, формулируемая научной теорией (не имеет значения, сколь успешной она была в объяснении и предсказании) всегда замещается другой онтологией, формулируемой позднейшей теорией (а история науки показывает нам часто отличие и несовместимость таких онтологий), да к тому же отсутствует согласованное направление онтологического развития в истории науки, то как же мы можем принять некоторую теоретическую онтологию как реальную онтологию мира?[6] А если, вдобавок к этому риторическому вопросу, нет резона верить, что будет конец научной революции в будущем, тогда, согласно индуктивному выводу, привилегированный статус ненаблюдаемых сущностей, раскрываемых или конструируемых нашими нынешними успешными теориями, теряет всякий смысл (deprived)[7].

Таким образом, отвержение объективности ненаблюдаемых сущностей усиливается требованием разрывности в истории науки, что придаёт только что упомянутому индуктивному аргументу самую воинственную форму. Антиреалисты делают вывод, что никакая претензия на прогресс не могла бы быть сформулирована в терминах кумуляции истинного знания объективного мира. Истинная роль ненаблюдаемых сущностей, в которые упаковывается наше знание, не должна состоять в описании и объяснении того, что фактически существует и происходит в мире. Скорее, полагают антиреалисты, они конструируются для нашего удобства в деле достижения успешных предсказаний.

Антиреалисты стоят, однако, перед следующим затруднительным вопросом: почему некоторые конструкции успешны, а другие — нет? Ведь реалист доказывает, что если успех науки не есть чудо, тогда успешная теория и её гипотетические, ненаблюдаемые сущности должны быть чем-то таким, что (действительно) соотносится с реальностью. Если, допустим, позиция, согласно которой принятая в успешной теории ненаблюдаемая сущность признаётся в качестве того, что действительно существует в мире, выглядит как слишком наивная, то всё же можно доказывать, что реляционные и структурные аспекты успешной теории должны быть реальными в том смысле, что некоторые подобные аспекты существуют в мире. Но тогда может быть раскрыта связь между теорией и опытными данными и может быть, собственно,

[6] Kuhn T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd enlarged ed. Chicago, 1970.

[7] Putnam H. Meaning and the Moral Sciences. L., 1978.

удостоверена непрерывность научного развития. А это уже более устойчивая и, одновременно, более тонкая реалистская позиция.

Структурный реализм был впервые сформулирован Анри Пуанкаре[8], а затем продумывался Бертраном Расселом[9], Эрнстом Кассирером[10] и некоторыми другими мыслителями. В последние десятилетия над ним размышляли и такие философы науки, как Г. Максвелл[11], Д. Уоррел[12], Е. Зэхер[13], С. Френч и Д. Ледиман[14], Т. Ю Цао[15].

Сегодня структурный реализм принимает различные формы. Но общим для всех них является признание того, что структура, понимаемая как система устойчивых отношений во множестве элементов или как система саморегулирующегося целого, оказывается эпистемически достижимой и может быть определена единственным способом (конечно, с точностью до изоморфизма ввиду её реляционной природы) на основании опытных данных; а посему она реальна и объективна.

Очевидно, что структурный реализм имеет привкус феноменализма. Решающее значение здесь имеет акцентирование вни-

---

[8] Poincare H. La science et l'hypothese. P., 1902.

[9] Russell B. The Analysis of Matter. L. 1927.

[10] Cassirer E. Determinism and Indeterminism in Modern Physics. Yale,1936; Group Concept and Perception Theory // Philosophy and Phenomenological Research. 1944. Vol. 5. P. 1–35.

[11] Maxwell G. Structural Realism and the Meaning of Theoretical Terms // S. Winokur and M. Radner (eds.). Analyses of Theories and Methods of Physics and Psychology / Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. IV. Minnesota, 1970. P. 181–192; Theories, Perception and Structural Realism // R. Colodny (ed.). Nature and Function of Scientific Theories. Pittsburgh, 1970. Vol. IV. P. 3–34.

[12] Worrall J. Structural Realism: the Best of Both Worlds? // Dialectica. 1989. Vol. 43. P. 99–124.

[13] Zahar E. Poincare's Structural Realism and his Logic of Discovery // J.-L. Greffe, G. Heinzmann, K. Lorenz (eds). Henri Poincare: Science and philosophy. B., P., 1996; Poincare's Philosophy: From Conventionalism to Phenomenology. Open Court, 2001.

[14] French S., Ladyman J. Remodelling Structural Realism: Quantum Physics and the Metaphysics of Structure // Synthese. Vol. 136 (1). July 2003. P. 31–56; The Dissolution of Objects: Between Platonism and Phenomenalism // Ibid. P. 73–77.

[15] Cao T. Y. Conceptual Developments of 20th Century Field Theories; Structural Realism and the Interpretation of Quantum Field Theory // Synthese. Vol. 136 (1). July 2003. P. 3–24; Can We Dissolve Physical Entities into Mathematical Structures? // Ibid. P. 57–71; What is Ontological Synthesis? A Reply to Simon Saunders // Ibid. P. 107–126.



мания на структуре. А между тем описание опознаваемого образца в явлениях типа тех, что имеют место в современном алгебраическом подходе к адронной физике[16], указывает на более глубокий пласт реальности – такой, как кварки. Всё это представляется как в терминах глубокой структуры, выражаемой в виде паттерна, наводящего на мысль о составной кварковой модели адронов, так и в терминах скрытых структурированных факторов, удерживающих компоненты вместе, в связном виде. Речь идёт о факторах, называемых глюонами (переносчиками взаимодействий между адронами). Я остановлюсь на случае КХД, чтобы осмыслить эти пункты.

Досадный вопрос для структурализма во всех областях, за исключением, быть может, некоторых ветвей математики, состоит в том, что структура имеет отношение к реальному миру только тогда, когда она интерпретируется посредством спецификации природы свойств лежащих в её основе элементов. Так как структура может быть интерпретирована различными способами, мы сталкиваемся снова с недоопределённостью. При обращении к этому затруднительному вопросу возникают три различные версии структурного реализма.

Первая версия[17], известная как эпистемический структурный реализм, характеризуется агностическим отношением к предполагаемой в качестве основы ненаблюдаемой сущности, а также тем, что он ограничивает область заслуживающего доверия научного знания сугубо структурными аспектами реальности. Эти последние обычно реализуются в математических структурах и не требуют того, чтобы затрагивать природу и содержание лежащих в основе вещей сущностей, отношения между которыми и составляют структуру. С таким пониманием структурности знания эта позиция корреспондирует с пессимистическим индуктивным аргументом. В нём признаётся, что история науки представляет собой процесс, в котором аккумулируется структурное знание, и одновременно она является непрерывной и прогрессивной. Но если речь заходит о ненаблюдаемой сущности, то в этом отношении данная позиция, вме-

[16] Алгебраический подход к адронной физике связан с понятием алгебры токов. Ток в квантовой теории поля есть математическое выражение, описывающее превращение одной частицы в другую или рождение частицы и античастицы. Алгебра токов выступает как проявление киральной симметрии и используется для нахождения связей между амплитудами различных процессов в области низких энергий.

[17] См. сноску 12.



сте с индуктивным аргументом, не отличается от антиреалистской. По этой причине нет необходимости ссылаться на оригинальное заявление Куна относительно отсутствия направленности онтологического развития в истории науки, ибо под онтологией в области научных исследований мы понимаем фундаментальные сущности, из которых все остальные сущности могут быть дедуцированы.

Вторая версия[18], известная как онтический структурный реализм, чрезвычайно радикальна в отношении метафизики и семантики. Она утверждает, что реальны только структуры, а объекты реально не существуют; и, далее, что феноменологическое существование объектов и их свойств заново концептуализируется в структурных терминах. Например, электрический заряд следует понимать в качестве субсистентных и перманентных отношений, и элементарные частицы должны пониматься в терминах групповых структур и представлений. Теперь, когда структуры принимаются в качестве единственной онтологии, тезис о непрерывности и прогрессе в историческом развитии науки можно защитить вопреки куновскому утверждению об онтологической разрывности. Но цена такой выгоды сводится к тому, что само понятие ненаблюдаемой сущности растворяется или вовсе элиминируется из научного дискурса.

Третья версия[19] – назовём её конструктивным структурным реализмом – является более сложной. Я ещё разверну её в деталях. А пока достаточно указать на два основных допущения: 1) физический мир состоит из сущностей, которые структурированы и/или включены в большие структуры; и 2) к сущностям любого вида можно приближаться через их внутренние и внешние свойства и отношения, которые эпистемически доступны нам. Ясно, что центральная идея, отличающая эту версию от других версий структурного реализма, состоит в том, что реальность ненаблюдаемой сущности может быть выведена из реальности её структуры.

В метафизическом плане из этого следует, что конструктивная версия отличается от онтической тем, что сохраняется фундаментальный статус сущностной онтологии, в то время как в плане эпистемологии подчёркивается, что эта фундаментальная онтология исторически конструируется из нашего структурного знания реальности. На этом основании фунда-

[18] См. сноску 14.

[19] См. сноску 15; а также: Cao T. Y. Structural Realism and Quantum Gravity // Structural Foundation of Quantum Gravity / Ed. by S. French. Oxford, 2006. P. 42–55.



ментальная онтология мира имеет открытую ткань и тем самым подвержена пересмотру с прогрессом науки. Например, конструктивная версия проливает новый свет на то, что было достигнуто при формулировании КХД; это нечто большее, нежели просто открытие новых сущностей и сил; это, скорее, открытие более глубокого уровня реальности, новый вид сущности, новая категория существования. (Пример того, как Гелл-Манн бился над задачей реальности кварков, показывает, что такое понимание является далеко не тривиальным.) Конструктивная версия может помочь историкам науки понять, что данное открытие было сделано фактически благодаря структурному подходу. Для понимания тут существенны четыре шага.

Но прежде чем развернуть их, позвольте мне сделать одно общее замечание о структуралистском понимании алгебры токов, т.е. сказать о том, что алгебра, в данном случае алгебра Ли, взятая без физической интерпретации, как чисто математическая структура, не имеет эмпирического содержания. Если мы интерпретируем алгебру Ли на уровне физических структур, а именно связываем её с физическими токами – электромагнитными, слабыми, – то мы тогда имеем физическое содержание, но только на феноменологическом уровне. Для того чтобы понять физические структуры, в данном случае токи, мы должны искать глубже: погрузиться на уровень их составляющих – кварков и лептонов. Тогда можно обрести динамическое понимание поведения токов и тем самым понять многие черты алгебры токов, а также то, почему алгебра токов успешно применяется.

По этой причине большинство физиков восприняло идею кварков реалистически и, несмотря на возражения Гелл-Манна – крупнейшего в то время авторитета в физике и изобретателя алгебры токов и кварковой модели, – пыталось постигнуть новый вид природы с помощью структурного знания (масштабирование Бьеркена). Результат был плодотворным, и взору ученых предстала детальная картина микроскопического мира с кварками в качестве важных ингредиентов.

Теперь о четырёх упомянутых выше шагах.

Во-первых, понятие ненаблюдаемых сущностей, таких как кварки и глюоны, было гипотетически сконструировано в результате требований со стороны накапливаемого структурного знания о феноменах (таких как различные образцы свойств симметрии в данной области). Речь идёт о требовании, связанном с достижениями алгебраического подхода к адронной физике, с особенностями симмет-



рии SU(3). Принималось во внимание допущение, что, в сущности, не имеется (не должно быть) такого взаимодействия среди кварков, которое вытекало бы из структуры бесконечного количества движения, адаптированного посредством подхода, определяемого алгеброй локальных токов[20].

Следует, однако, упомянуть, что на данной стадии развития наибольшим достижением в алгебре токов было суммарное правило для нейтринных процессов, предложенное Стефаном Адлером в 1966 году. Концептуально правило Адлера впервые в истории привело к возможности заглянуть внутрь адронов посредством лептон-адронных столкновений, что дало основание для дальнейшего теоретического развития, включая гипотезу масштабирования Бьеркена и фейнмановскую идею партонов в анализе экспериментов на SLAC.

Метафизическая вовлечённость алгебры токов немедленно натолкнулась на вызов Джеффри Чу с его перспективной философией бутстрапа. Вызов Чу есть типичный пример соревнования между двумя фундаментальными исследовательскими программами относительно природы научного знания в физике (высоких энергий): программой дискриптивной и программой объяснительной.

Во-вторых, реальность некоторых из определяемых черт этих сущностей была установлена вследствие экспериментов, – таких как глубоко неупругое рассеяние электронов на протонах, выполненное на линейном ускорителе Стэнфордского центра (SLAC). Речь идёт о соответствующей черте масштабирования, которая указывает на структурное свойство адронов, представленное наличием точечно-подобных ингредиентов и асимптотической свободой этих ингредиентов.

В-третьих, имела место попытка согласовать различные экспериментальные и теоретические положения (асимптотическая свобода и удержание (confinement), а они – решающий фактор для удовлетворения требований со стороны опытных данных), которые составляют релевантное этим ненаблюдаемым сущностям структурное знание, а именно: наблюдаемое масштабирование (в экспериментах SLAC), скорость двух-γ-мового распада в первом случае и инфракрасная сингулярность во втором случае, в тех же согласованных концептуальных рамках – в рамках КХД.

[20] Эта фраза не поддаётся адекватному переводу; возможно, речь идёт об асимптотической свободе кварков. – *Примечание переводчика*.



И, наконец, специфические выводы (предсказания) теории (такие, как логарифмическое нарушение масштабирования и трёхструйная структрура процесса электрон-позитронной аннигиляции) совпали с экспериментами, что устанавливает полную реальность наблюдаемых сущностей– кварков и глюонов. Хотя эти частицы не могут быть поняты как Вигнеровские частицы с хорошо определёнными спином и массой и новыми правилами суперотбора (освобождённый цвет), физическая реальность этих структур, согласно критерию алгебраического подхода, остаётся несомненной.

Если мы признаём, что наша концепция сущности конституируется нашим знанием структурных свойств и отношений, тех свойств и отношений, которые сущность демонстрирует в разных ситуациях, тогда сдвиг от признания реальности структуры (здесь: алгебра токов) к признанию реальности сущностей – носителей структуры – представляет собой лишь малый шаг, ибо в истории или на практике может пройти длительный период, чтобы согласие внутри научного сообщества, если в нём происходит обмен мнениями, было достигнуто. Трудность состоит в наличии множества проявлений структуры сущностей; например, токи могут быть объяснены как на основании кварковой модели, так и на основании сигма-модели.

Наблюдая совпадение кварковой модели и опытных данных в случае КХД, мы обнаруживаем, что это есть путь, на котором признаётся реальность кварков: кварки, как мы понимаем их, теперь представляют единственный выбор среди других кандидатов. И это первоначально предполагалось как набором структурных характеристик, так и требованиями, выдвигаемыми со стороны кварковой модели.

Абсурдно заявлять, что физическая сущность натурального вида, в данном случае кварки, может растворяться в математических структурах алгебры Ли, хотя верно, что кварки первоначально были постигнуты в терминах алгебры Ли. Теперь же они представлены в терминах более богатых математических структур (таких, как группа ароматов или калибровочная группа) вместе с перенормировочной группой уравнений, ответственных за их поведение как на уровне высоких энергий (асимптотическая свобода), так и на уровне низких энергий (удержание, или конфайнмент).

Ясно, что реальность ненаблюдаемых сущностей – кварков и глюонов – очень тесно связана с характером теории. Если теория КХД является прочной в отношении наблюдений и экспериментов, реаль-



ность кварков и глюонов подтверждается. А что если завтра или в следующей декаде КХД окажется неверной?

Здесь мы должны заметить, что, согласно структуралистскому пониманию сущностей, соответствие ненаблюдаемых сущностей – кварков и глюонов – реальности может быть лишь частичным, а никак не полным или тотальным; оно зависит от информации, и на основании имеющейся информации понятие кварка пока подтверждается. Таким образом, структурный реализм придаёт понятиям, или концептуальной структуре, научных теорий конструктивный и исторический смысл.

Невозможно переоценить важность следствий последнего утверждения для понимания КХД и КТП в общем. Многие философы правильно показывают, что, в качестве специального варианта квантовой механики, квантовая теория поля, при реалистической интерпретации её формализма, наследует трудности, связанные с измерением и со сцеплением («перепутыванием»)[21]. То есть если мы пытаемся интерпретировать формализм как объективное описание того, что существует и происходит в мире, тогда мы сталкиваемся с затруднением по поводу противоречивости наблюдений. Наибольшее, что мы могли бы требовать, – это чтобы формализм описывал то, что могло бы являться нам в различных экспериментальных ситуациях. Как однажды заметил Бернард д'Эспанья, то, чему учит нас квантовая физика, сводится к следующему: мы можем получать некоторое вероятностное знание о феноменальной

[21] Автор затрагивает здесь, может быть, самый важный момент в вопросе о кварковой структуре адронов. Кварки, в отличие от лептонов, не локализуются в процессе измерения, – не локализуются в том смысле, что их свойства не отделяются от свойств (конфигурационного) пространства. Необходимым условием такого отделения служит единичный электрический заряд, присущий заряженной частице в соответствии с правилами суперотбора. Кварки не подчиняются классическим правилам суперотбора ввиду наличия у них дробных электрических зарядов. Части лептонов «склеены» между собой только несиловыми связями (сцепление, «перепутывание»), части адронов (кварки) склеены силовыми связями. О феномене сцепления между кварками судить пока трудно, поскольку невозможно фиксировать между ними пространственное расстояние. Похоже, однако, что «точечность» лептонов и самих кварков имеет одну и ту же природу, объясняется наличием несиловых связей между их компонентами. Подробнее см.: Антипенко Л.Г. А. Эйнштейн и понятие физической реальности: современные представления // Эйнштейн и перспективы развития науки. М., 2007. – *Примечание переводчика*.



реальности или её проявлениях; можем, но не часто, получать некоторое знание и о независимой реальности, о реальности самой по себе: но последнее возможно только в контексте классической физики.

Однако возникает вопрос, можем ли мы реально разделить феноменальный и ноуменальный миры? В контексте человеческого знания никакая реальность не существует независимо от человеческой деятельности. Но почему нам следует принимать нашу познавательную активность лишь как занавес, отделяющий ноуменальный мир от нас, а не как окно, через которое мы можем постигнуть его? Конечно, наше знание феноменального мира всегда конструируется под влиянием различных человеческих нужд. Но так как феноменальный мир есть единственная манифестация ноуменального мира в контексте нашего опыта, не отделённого всецело от мира ноуменального, эта конструкция всё же должна иметь свои корни в ноуменальном мире. Верно, что даже для феноменального мира может существовать много противоречивых конструкций, как утверждается так называемым тезисом недоопределённости, подразумевающим небезусловность объективности нашего знания феноменальной реальности. Однако общая структура этих эмпирико-эквивалентных, но онтологически противоречивых конструкций должна быть объективной, что значит: при данных условиях она не подвержена субъективному влиянию. Таким образом, было бы нелепо настаивать на том, что мы не можем получить объективное знание о реляционных и структурных аспектах ноуменальной реальности посредством накопления структурного знания о феноменальной реальности, разнообразно выражающей ноуменальную реальность.

Но если объективность структурного знания установлена, установлена концептуально, как я показывал раньше, остаётся лишь один шаг к тому, чтобы установить объективность нашего знания о сущностях. Если мы знаем о том, что в случае квантовой теории поля сущность, описываемая её формализмом, есть поле, и если, благодаря полевым уравнениям, мы знаем реляционные и структурные свойства поля и к тому же имеем точное знание о проявлениях поля в различных эмпирических ситуациях, тогда мы должны признать, что у нас есть объективное знание о поле как о реальности, существующей вовне, независимо от нас. Хотя это знание приобретается посредством нашей конструкции и реализуется как знание её эмпирических проявлений с учётом человеческой деятельности, а не как знание её собственного состояния, независимого от познавательной деятельности, оно



имеет, скорее, структурный характер, нежели характер буквально истинного описания. Но по мере совершенствования наших конструкций в процессе с открытой обратной связью между концептуальными конструкциями и эмпирическими исследованиями, по мере накопления нашего структурного знания о квантовой сущности, по мере рафинирования его – мы увидим, что во всём этом прогрессивном процессе покрывало квантовой реальности будет постепенно подниматься. В этом и состоит объективность нашего исторически конструируемого знания квантовой реальности. С другой стороны, конструктивная природа и структурный характер нашего объективного знания квантовой реальности не позволяет процессу познания прекратиться. И эта историчность объективности вместе с выше упомянутой объективностью исторически конструируемого знания, быть может, есть самый важный урок, который мы в целом могли бы усвоить из интерпретации КЖД и КТП.

Таким образом, если мы принимаем структурный реализм как позицию, располагающуюся между инструментализмом и традиционным реализмом, тогда моя версия структурного реализма находится между традиционным реализмом и другими версиями реализма. То есть, во-первых, я воспринимаю структурное знание как эпистемический доступ к ненаблюдаемым сущностям. Так, в противоположность агностическому отношению к ненаблюдаемым сущностям, я заявляю, что как реальность сущностей, так и объективность знания их гарантируются нашим объективным знанием структуры и структурных отношений, включающих эти сущности. С другой стороны, я также принимаю, что только с этим ограничением может быть дана гарантия объективности. Сказанное означает, что дверь к любому прямому доступу к ненаблюдаемым сущностям, возможно, закрыта, и любая концепция (таких) сущностей должна быть конструирована и реконструирована посредством использования постоянно растущего структурного знания. Во-вторых, конструкция ненаблюдаемых сущностей в рамках структурного знания, хотя и надёжна, но подвержена ошибкам и подлежит пересмотру. Таким образом, объективное знание относительно лежащей в его основании онтологии может быть достигнуто только путем исторического переговорного процесса между эмпирическими исследователями, теоретическими резонёрами и метафизическими интерпретаторами. Когда мог бы закончиться процесс познания для отдельной науки? Это – эмпирический вопрос, и на него нельзя ответить a priori.

Перевод с английского
Л. Г. Антипенко



ОКАЗАЛ ЛИ ВЛИЯНИЕ «ТРАКТАТ» ВИТГЕНШТЕЙНА НА ВЕНСКИЙ КРУЖОК?

О. А. НАЗАРОВА

1.

Концепция логического позитивизма, или научного эмпиризма, – одна из самых влиятельных концепций в истории философии науки. Решение сформулированных в рамках этого направления проблем, разрешение возникших в них противоречий, возникновение впоследствии новых направлений мысли, которые или развивали, или критиковали логический позитивизм, и формулировка новых проблем во многом определили облик философии 20 века. Например, в обсуждении проблем истины, эмпирического базиса науки, структуры научной теории, верификации и предсказания, объяснения в науке и других исходным пунктом становится концепция логического позитивизма.

При всей фундаментальности логического позитивизма для истории философии науки и философии 20 века в целом в отечественной философской литературе сложилось весьма упрощенное представление о его истории и идейных истоках. Коротко его можно было бы изложить следующим образом: профессор М. Шлик и его студенты – Венский кружок – в середине 1920-х годов прочитали «Логико-философский трактат» (1921 г.) австрийского философа Л. Витгенштейна, в котором он опирался на логическую систему, построенную Б. Расселом и А. Уайтхедом, попали под влияние идей, высказанных в «Трактате», и стали разрабатывать их.

Первая глава в классической работе Швырева В. С.[1] имеет заголовок: «Доктрина Рассела–Витгенштейна – основа воззре-

[1] Швырев В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. М.: Наука, 1966. С. 9.



ний Венского кружка». Далее читаем: «Специфика логического позитивизма Венского кружка состоит в соединении позитивистской философии с методом формально-логического анализа знания… Этим логический позитивизм *в наибольшей мере* (курсив мой. – *О. Н.*) обязан идеям "Логико-философского трактата" Л. Витгенштейна».

М. С. Козлова[2] пишет: «"Логико-философский трактат"… в 1921 году был опубликован на немецком языке, в 1922 году в Лондоне… с параллельными немецко-английскими текстами и предисловием Рассела. Выход труда вызвал широкую дискуссию, но автор не принял в ней участия. Разработку идей "Трактата", истолкованных в позитивистском ключе, взяли на себя философы Венского кружка. Витгенштейн отнесся к этому безучастно… В 1927 году… он иногда встречался с членами Венского кружка. Беседы с ними выявили заметное расхождение их взглядов с концепцией Витгенштейна, которого они считали своим *идейным вдохновителем* (курсив мой. – *О. Н.*), единомышленником».

Никифоров А. Л.[3] увлекательно и эмоционально развивает эту же версию: «*С изучения именно этой* тоненькой (меньше 100 страниц) *книжки Витгенштейна и начали* (курсив мой. – *О. Н.*) свои философские штудии члены Венского кружка. Она произвела на них завораживающее впечатление».

Грязнов А. Ф.[4] пишет: «…афоризмы Витгенштейна оказали наибольшее влияние на "антиметафизическую" программу неопозитивистов Венского кружка, которые *постарались превратить "Трактат" в настоящую библию своего движения* (курсив мой. – *О. Н.*). "Логико-философский трактат" стал рассматриваться членами Венского кружка в качестве главного, программного текста».

Сегодня можно сказать, что на самом деле история Венского кружка и научного эмпиризма – это другая история, намного сложнее и интереснее[5], и вопрос влияния Витгенштейна на Вен-

---

[2] Козлова М. С. Философские искания Л. Витгенштейна // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. X–XI. О жизни и творчестве Витгенштейна, о его влиянии на логический позитивизм см.также: Козлова М. С. Философия и язык. М., 1972.

[3] Никифоров А. Л. Философия науки: история и теория. М., 1998; Изд. 2-е, 2006. С. 14–17.

[4] Грязнов А. Ф. Аналитическая философия. М., 2006. С. 130, 132, 137.

[5] См.: Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике, М., 1959; Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. М., 1971; Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I / Пер. с нем. Козловой М. С., Асеева Ю. А. М., 1994; Гемпель К. Г. Логика объяснения / Пер. с англ., предисл., прилож. Назаровой О. А. М., 1998; Аналитическая философия: Становление и разви-



ский кружок, которое лишь констатируется, требует специального изучения.

2.

Философское направление, о котором идет речь в данной статье, называлось в отечественной и мировой философской литературе по-разному – «логический позитивизм», «логический эмпиризм», «неопозитивизм», «научный эмпиризм», «научная философия», «Движение за единство науки», «логика науки», «философия науки», «наука о науке», «аналитическая философия». К этому направлению относят такие известные объединения, как Венский кружок, Берлинское общество, Львовско-Варшавская школа, имена Б. Рассела, М. Шлика, Р. Карнапа, Г. Рейхенбаха, Л. Витгенштейна, А. Тарского и их единомышленников, последователей и учеников – Ч. Морриса, А. Айера, У. Куайна и других.

Я предлагаю следующую схему соподчинения этих названий. В конце 19 – начале 20 веков в Европе – в Австрии, Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Польше – возникло *движение за научную философию* как «восстание» против умозрительных метафизических спекуляций и как попытка осмыслить новейшие достижения в области естествознания. Первая мировая война, а также различия во мнениях исследователей разных стран относительно значимости естественнонаучных открытий, затруднили, но не остановили развитие этого движения. По окончании войны движение за научную философию вновь набрало силу. Его центрами стали Австрия (Вена), Германия (Берлин) и Польша. К 1928 году в Вене закончилось формирование первой в Европе *концепции научного миропонимания*, появился Венский кружок. Венский кружок избрал логику в качестве

тие. Антология. М., 1998; Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999; Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М., 1999; Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива. М., 2000; Гудмен Н. Способы создания миров. М., 2001; Пап А. Семантика и необходимая истина: Исследование оснований аналитической философии. М., 2002; Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002; Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. М., 2004; Назарова О. А. От второго позитивизма к третьему… // Крафт В. Венский кружок. С. 7–33; Журнал «Erkenntnis» («Познание»). М., 2007; Назарова О. А. Предисловие; Приложение: Биографии и библиографии // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). С. 7–54, 343–468; Карнап Р., Ган Г., Нейрат О. Манифест «О научном миропонимании. Венский кружок» // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). С. 57–75; Карнап Р. Логическое построение мира (фрагменты) // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). С. 75–95.



основного инструмента борьбы с метафизикой и создания научной философии. Термин «*логический позитивизм*» как характеристика концепции Венского кружка принадлежит Г. Фейглю и был впервые использован им в совместной с А. Блумбергом статье 1931 года[6] для знакомства интеллектуальной общественности США с новым направлением европейской мысли. Однако уже к середине 1930-х годов многие члены Венского кружка предпочитали термины «логический эмпиризм» или «научный эмпиризм»[7]. *Логический эмпиризм* представлял, в первую очередь, *воззрения членов Венского кружка*, но объединить на его основе сторонников научной философии по всей Европе было трудно. Общеевропейское объединение стало возможно благодаря выработке концепции *научного эмпиризма*, в центре которой были *идеи единой науки и международного сотрудничества* и проект «Энциклопедия единой науки»[8].

Таким образом, движение за научную философию – единое в интеллектуальном плане, но не оформленное в организационном плане – существовало в Европе с начала 20 века; основные его представители, развивая собственные идеи, общались друг с другом непосредственно или по переписке; иначе говоря, были знакомы с идеями своих сторонников в других странах. В каждой стране названия научного стиля мышления несколько отличались – Венский кружок и логический позитивизм, Берлинское общество эмпирической философии, Львовско-Варшавская логическая школа, Кембриджская аналитическая школа, Упсальская школа и правовой реализм. Однако, несмотря на эту мозаику названий, исследователи считали себя единомышленниками и в 1930-е годы, благодаря организационным усилиям Венского кружка; стали регулярно встречаться на Международных конгрессах за единство философии (1935—1941) и разрабатывать совместные проекты. Эта деятельность продолжилась и после вынужденной эмиграции многих членов движения из Европы в США.

3.

Итак, Венский кружок не возник внезапно как кружок ас-

[6] Blumberg A.E., Feigl H. Logical Positivism // Journal of Philosophy. 1931. № 28. P. 281–296.

[7] Carnap R. Scientific Empiricism; Unity of Science Movement // The Dictionary of Philosophy / D. D. Runes (ed.). N.Y., 1942. Относительно развития и целей этого движения см., в частности: Reichenbach H. Ziele und Wege der heutigen Naturphilosophie. Leipzig, 1931; Stevens S. S. Psychology and the Science of Science // Psych. Bull. 1939. № 36 (с библиогр.).

[8] Ранее принятое название – «Энциклопедия унифицированной науки». См.: Швырев В. С. Указ. соч.



пирантов Шлика. Традиция научно-эмпиристской философии была привнесена в Вену *физиком-философом* Эрнстом Махом (1838–1916). В 1883 году Мах опубликовал свое знаменитое историко-критическое исследование «Механика в ее историческом развитии», содержавшее критику классической ньютоновской физики и заложившее мировоззренческие основы новой физики, в частности теории относительности. В 1895 году Мах был приглашен в Венский университет возглавить специально созданную для него кафедру философии, точнее – «истории и теории индуктивных наук». Это событие стало возможным в благоприятный краткий период единства политических сил в Австрии и благодаря помощи Теодора и Генриха Гомперцов внутри Университета, преодолевших серьезное сопротивление религиозно мыслящих преподавателей. В 1900 и 1905 годах Махом были опубликованы философско-психологические труды «Анализ ощущений» и «Познание и заблуждение»[9], представившие теорию эмпириокритицизма, ставшую единственной научно-философской концепцией конца 19 – начала 20 веков и получившую в той или иной мере признание практически всех физиков и естествоиспытателей.

После ухода Маха на пенсию в 1902 году его сменил на кафедре Людвиг Больцман (1844-1906), затем Фридрих Йодль (1849–1914) и Адольф Штёр (1855–1921).

В 1907 году группа молодых докторов наук в основных областях науки – физике, математике и социальных науках, наиболее значительные фигуры из которых – математик и логик Ганс Ган (1879–1934), физик Филипп Франк (1884–1966), социолог и экономист Отто Нейрат (1882–1945) и профессор прикладной математики Рихард фон Мизес (1883–1953), стали встречаться в Центральном кафе Вены вечером по четвергам для обсуждения, в основном, проблем философии науки. Отправной точкой их дискуссий был позитивизм Э. Маха, совершенно обновленный вариант позитивистской философии О. Конта и Дж. С. Милля. Молодые люди получили образование в университетах Вены, Берлина, Страсбурга, Мюнхена и Гёттингена под руководством, в частности, Л. Больцмана, Д. Гильберта, Ф. Клейна и Г. Минковского. Начиная с 1903–1908 годов их статьи регулярно публикуются в ведущих профессиональных журналах – таких как «Ежемесячник по математике и физике», журнал Академии наук Австрии и «Энциклопедии матема-

[9] См. на рус. языке: Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. СПб., 1908; он же. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. Спб., 1909.



тических наук» Германии, Ежегодник философского общества Венского университета, журнал Вильгельма Освальда «Исследования по натуральной философии», «Журнал по математике и физике». О. Нейрат практически каждый год публикует в Австрии и Германии статьи и книги по социальной, экономической и философской тематике.

Усилиями всех этих ученых в стенах Венского университета поддерживалась – несмотря на катаклизмы Первой мировой войны, распад Австрийской империи и европейские социальные революции – традиция научно-эмпиристской, критичной философии.

В 1921 году умер А. Штёр, и кафедра натуральной философии Э. Маха и Л. Больцмана осталась без руководства. Ган, действовавший как организатор и в довоенное, и в послевоенное время, стал бороться за назначение Морица Шлика на должность профессора кафедры натуральной философии. Несмотря на значительное сопротивление, его усилия оказались успешными, и в 1922 году Шлик стал преемником Маха и Больцмана.

Сразу после приезда Шлика по инициативе Г. Гана, О. Нейрата, его жены О. Ган-Нейрат, В. Крафта, теоретика-правоведа Ф. Кауфмана и математика К. Рейдемайстера были снова организованы неформальные дискуссии по четвергам вечером в Математическом институте на Больцмангассе, 5, в девятом округе Вены. Сам же Шлик организовал неформальную дискуссионную группу из математиков, обсуждавших его хорошо посещаемые лекции. Осенью 1924 года студенты Шлика Ф. Вайсман и Г. Фейгль предложили своему учителю организовать в качестве продолжения этих неформальных встреч постоянный «вечерний кружок» вместе с Г. Ганом.

Таким образом, семинары Шлика стали естественным продолжением старой традиции, возникшей в Вене в начале 20 века, и участниками семинаров стали не только студенты и аспиранты, а, прежде всего, зрелые ученые. Удивительно, что продолжение получила также традиция встречаться вечером по четвергам и что на сей раз встречи расширившегося круга единомышленников, к которому теперь принадлежали люди разных возрастов, полов, национальностей и научных интересов, продолжались двенадцать лет подряд! – вплоть до следующей мировой войны.

4.

Становление идей нового философского направления, представленного позже Венским кружком, их своеобразное единство начало выстраиваться уже *с конца 19 века*. Решающую роль в этом процессе сыграли эмпиризм и антиметафизические идеи Эрнста Маха. Самое пло-



дотворное влияние на физиков оказал метод, продемонстрированный Махом в «Механике»: вне каких-либо опытных данных и посредством лишь скрупулёзных критических рассуждений он подверг критике ньютоновские понятия абсолютного пространства, времени и движения, подготовив тем самым почву для фундаментальной идеи относительности, поставив вопрос об основаниях физики как науки, о смысле ее основополагающих понятий, а также о том, кто может дать ответ на эти вопросы ученых. Мах (в «Познании и заблуждении») выдвинул требование допускать в физической науке лишь строго поддающиеся наблюдению величины и исключать из нее «бессмысленные», т.е. не проверяемые опытом, подобные кантовским априори, понятия, а также открытия логических взаимосвязей посредством согласования мыслей, понятий.

Вторым необходимым элементом нового миропонимания стал конвенционализм французского математика Анри Пуанкаре и идеи немецкого математика Давида Гильберта, а третьим – новейшие революционные открытия в физике и естествознании в целом начала 20 века.

В 1907 году в журнале Вильгельма Освальда «Исследования по натуральной философии» была опубликована первая статья Ф. Франка «Закон причинности и опыт», которая представляла собой результат обсуждения участников Венского прото-кружка, стремившихся решить проблему взаимоотношений между наукой и философией, возникшую на фоне «кризиса естествознания» начала века, и в которой он попытался объединить теории Маха и Пуанкаре: «В двух словах, согласно Маху, основные принципы науки представляют собой сокращенные экономичные описания наблюдаемых фактов; согласно Пуанкаре, они являются свободными созданиями человеческого ума и ничего не говорят о наблюдаемых фактах. Попытка объединить эти две точки зрения в одну последовательную систему стала началом того, что впоследствии получило название «логический эмпиризм». Именно Ф. Франк, как физик, первым привлек внимание к фундаментальной важности теории относительности для знания в целом: «В этой теории Эйнштейн вывел законы движения и законы гравитационного поля из общих и абстрактных принципов: принципов эквивалентности и относительности. Его принципы и законы представляли собой взаимосвязи между абстрактными символами: общими пространственно-временными координатами и 10-ю потенциалами гравитационного поля. Эта теория явила собой великолепный пример способа построения научной теории в соответствии с идеями нового



позитивизма. Символическая, или структурная, система, отточенная и строго отделенная от фактов наблюдения, которые она должна объяснить. Эта система должна была быть интерпретирована, нужно было предсказать факты наблюдения и проверить эти предсказания наблюдением. Существуют три конкретных факта наблюдения, которые были предсказаны: отклонение световых лучей, красное смещение спектральных линий и смещение перигелия Меркурия»[10].

Если Мах и Эйнштейн поставили вопрос об основаниях физики, то австрийский математик Готтлоб Фреге в конце 19 века поставил вопрос об основаниях математики и предложил логику в качестве такого основания.

В 1910–1913 годах вышла в свет «Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда, и новейшие исследования в области *логики* и анализа действительности, подготовленные исследованиями Фреге, Пеано, Гильберта и других, обрели международное признание и стали четвертым необходимым элементом нового миропонимания.

Итак, маховская методология и эмпиризм, формальная логика и аксиоматика, конвенционализм Пуанкаре, новейшие достижения физики сформировали новое научное миропонимание довоенного Венского кружка. Новым стало также то, что Кружок 1907 года возник и существовал как объединение специалистов в разных областях знания; идеи обсуждались коллективно в ходе междисциплинарных дискуссий. Этот коллективный и междисциплинарный характер исследований стал отличительной чертой и Венского кружка Шлика.

5.

Таким образом, уже до 1914 года у лидеров прото-кружка – Франка, Гана, Нейрата и фон Мизеса – сформировалась эмпиристская, антиметафизическая позиция, и они смогли сформулировать основные идеи нового миропонимания.

1) Революция в естествознании показала, что наука нуждается в прочном – эмпирическом – фундаменте.

Именно Франк переосмыслил результаты создания квантовой теории и открытия теории относительности в свете методологии Маха. Согласно Франку, стало ясно, что физика должна самостоятельно упорядочить свои идеи и не обращаться за помощью к философам. Вполне вероятно, что великие философы были также серьезными учеными и оказывали положительное влияние на развитие науки; но *чистые философы* начала 20 века не могли сказать физикам ничего полез-

[10] Цит. по изд.: Frank Ph. Modern Science and its Philosophy. Cambridge, Mass., 1949. P. 18.



ного. Они не смогли бы объяснить ученым, практикам от науки, смысл понятий, используемых в науке. Основная работа должна осуществиться *внутри науки* – как в отношении анализа понятий, так и в отношении всего остального.

2) Современная философия – метафизика – должна быть отброшена.

3) Наука сама должна найти средства для обоснования своей достоверности. Задача физики – помочь ей в этом.

4) Средством преодоления кризиса является логика и непосредственный опыт.

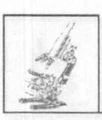
Математик Г. Ган сыграл решающую роль в восприятии членами Кружка идей формальной логики – от Фреге до Рассела и Уайтхеда – в качестве конституирующего элемента нового позитивизма. Главной в логико-научных дискуссиях о будущем науки стала проблема языка науки и постепенно возникал союз между представителями различных дисциплин.

6.

Как отмечено выше, продолжение довоенных дискуссий стало возможным лишь в 1922 году и после назначения на кафедру Э. Маха Венского университета физика-философа Морица Шлика, получившего также серьезное логическое образование[11]. В межвоенное время Шлик разрабатывал реформу философии на фоне происходящей в естествознании революции. Шлик познакомился с А. Эйнштейном и первым дал философское осмысление теории относительности в своей книге «Пространство и время в современной физике» (Берлин, 1917). В 1918 году Шлик представил теорию познания, строго ориентированную на эмпиризм, в своей книге «Общая теория познания» (2-е изд: Вена, 1925). Эта книга стала первой в серии выдающихся монографий по естествознанию, опубликованных издательством «Шпрингер» (Берлин), и достойным продолжением публикаций Маха, Гельмгольца, Больцмана и Пуанкаре, посвященных эпистемологии и воззрениям современного естествознания. Примечательно, что в 1920 году в этой же серии вышла в свет книга Г. Рейхенбаха «Теория относительности и априорное познание».

На вечерних семинарах, во-первых, продолжалось обсуждение идей Маха, во-вторых, Ган вел для участников специальный дополнительный курс, посвященный основным идеям важнейшей работы Рассела и Уайтхеда «Principia Mathematica». По словам Фейгля, «Ган решил для

[11] В 1911 году Шлик завершил свою учебу в Университете Ростока, представив исследование на тему «Сущность истины согласно современной логике».



нас невероятно трудную, мало кому доступную, задачу: он извлек философский смысл из этого настоящего "кладбища формул". Я до сих пор помню, как Ган, вооруженный указкой, указывает на формулы, красиво расположенные на множестве классных досок в Математическом Институте»[12]

В 1924–1925 годах Курт Рейдемайстер сделал доклад о «Логико-философском трактате» Витгенштейна, чем привлек внимание к этой работе Г. Гана. Изначально Ган (и не он один) игнорировал (об этом свидетельствует и К. Менгер) «Трактат», опубликованный на немецком языке в 1921 году. Действительно, автором книги был сельский учитель, полтора года проучившийся философии в Кембридже[13]. Как вспоминает Фейгль, «так случилось, что в 1922 году я читал эту работу в Национальной библиотеке Вены. Должен признаться, что, хотя на меня произвело сильное впечатление то, что я смог понять в этой афористичной и таинственной (cryptic) работе, я вскоре перестал о ней думать как о продукте эксцентричного, хотя и несомненно блестящего, ума». В одном из своих интервью Фейгль уточняет: «В то время я был очень молодым студентом и перестал думать о Витгенштейне как о наиболее занятной смеси интуитивного гения и шизофреника»[14].

Однако в 1922 году книга под названием «Tractatus Logico-Philosophicus» вышла в свет в переводе на английский язык и с предисловием Рассела – несомненного авторитета для участников семинара Шлика.

После доклада Рейдемайстера Г. Ган представил обзор «Трактата» Витгенштейна как наиболее важного вклада в философию и логику со времени Рассела, фундаментального текста, объясняющего роль логики.

[12] Feigl H. The Wiener Kreis in America // The Intellectual Migration 1930–1960 / D. Fleming, B. Baylin (eds). Cambridge, Mass., 1969. P. 630–673.

[13] Профессионалом Витгенштейн стал, пожалуй, только в технике: он изучал механику в Высшей технической школе Берлина, потом в 1908–1911 годах специализировался как исследователь-конструктор в техническом университете Манчестера (Англия). В начале 1912 года он отправился в Кембридж и стал студентом Тринити-колледжа. Через полтора года Витгенштейн прервал свое обучение на год (1913–1914) и уехал в Норвегию, потом ушел на фронт и написал «Трактат». Прочитав предисловие Рассела к «Трактату», Витгенштейн решил, что его труд никто не понял и забросил философию на 9 лет. Потом вдруг опять вернулся в Кембридж с совершенно новыми идеями. Такая свобода передвижений Витгенштейна, полагаю, стала возможной, прежде всего, благодаря его аристократическому происхождению и богатству, что делало его, в частности, вообще заметным и близким мыслителю-аристократу Б. Расселу.

[14] Feigl H. Unveröffentlichtes Interview. Materialien Mulder. Vienna Circle Foundation / Wiener-Kreis-Archiv Haarlem (NL), 1964. V. I.



Участники семинара Шлика – наиболее активными среди них были Ган, Шлик, Нейрат и Рейдемайстер – читали и обсуждали «Трактат» («Logisch-Philosophische Abhandlung») Витгенштейна на немецком.

Летом 1924 года Г. Рейхенбах передал Р. Карнапу предложение Шлика работать в Вене. В то время Шлик и Ган обсуждали обе эти кандидатуры на место приват-доцента по философии. Г. Рейхенбах и Р. Карнап – молодые, талантливые, продуктивные ученые – получили примерно одинаковое образование в области математики, физики, логики и эпистемологии. Оба имели особый интерес к философии пространства, времени и к понятию относительности[15]. Карнап, будучи студентом Г. Фреге в Университете Йены, в особенности интересовался формально-логическими проблемами и методами, в то время как Рейхенбах занимался больше философией физики (в некоторых своих ранних работах он исследовал и теорию вероятности, в которую позже оба – Рейхенбах и Карнап – сделали существенный вклад).

Решающую роль в том, что Карнап получил место в Венском университете, сыграл Г. Ган, поскольку он был уверен, что тот сможет развить эпистемологическую программу Рассела, представленную, например, в «Нашем познании внешнего мира», и Маха. Действительно, в 1925 году некоторые из участников семинара в Вене читали большую рукопись Карнапа, которая тогда называлась «Konstitutionssystem der Begriffe» («Система конструирования [эмпирических] понятий»). В этой выдающейся работе, опубликованной в 1928 году под заголовком «Логическое построение мира», который предложил Шлик, Карнап предпринял попытку логической реконструкции понятий эмпирического зна-

[15] Carnap R. Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre (Ph. D. thesis) // Kant-Studien. Ergänzungshefte. № 56. B., 1922; Carnap R. Dreidimensionalität des Raumes und Kausalität: Eine Untersuchung über den logischen Zusammenhang zweier Fiktionen // Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik. 1924. S. 105–130; Carnap R. Physikalische Begriffsbildung. Karlsruhe, 1926; Reichenbach H. Die Einsteinsche Raumlehre // Die Umschau. Bd. 24. 1920. S. 402–405; Reichenbach H. La signification philosophique de la théorie de la relativité // Revue Philosophique de la France et de l'Etranger. V. 94, 1922. P. 5–61; Reichenbach H. Axiomatik der relativistischen Raum-Zeit-Lehre. Braunschweig, 1924; Reichenbach H. Metaphysik und Naturwissenschaft // Symposion. 1925. V. 1. S. 158–176; Reichenbach H. Wahrscheinlichkeitsgesetze und Kausalgesetze // Die Umschau. Bd. 29. 1925. S. 789–792.

ния[16]. Логическая форма этой реконструкции, по сути, представляла собой символическую логику Рассела–Уайтхеда. В «Principia Mathematica» Рассел и Уайтхед попытались показать, что все понятия чистой математики могут быть введены посредством последовательных определений на основе понятий модернизированной логики. Карнап сходным образом предпринял попытку конструирования системы основных научных понятий посредством установления логических взаимосвязей между маховскими «элементами», т.е. элементами, принадлежащими непосредственному опыту. Это было реальное воплощение исходных установок маховского позитивизма и блестящее применение средств современной логики к некоторым давним проблемам эпистемологии. Отметим также, что в 1926 году в г. Карлсруэ Карнап опубликовал книгу «Physikalische Begriffsbildung» («Построение физикалистских понятий»).

Таким образом, члены Шликовского семинара практически одновременно – в начале 1925 года – познакомились с «Логическим построением мира» Карнапа и «Логико-философским трактатом» Витгенштейна.

По словам Нейрата, с помощью Карнапа был сделан *главный* шаг во внутреннем развитии Венского кружка: он однозначно поместил в центр концепции научного миропонимания проблему научного языка и представил современную логику как основной инструмент этой концепции. Книга Р. Карнапа «Логическое построение мира» активно и подробно обсуждалась членами Венского кружка с 1926 по 1928 годы, что отражено в первом томе журнала «Erkenntnis» («Познание»).

[16] «В отношении своих методов настоящее конструкционное исследование отличается, главным образом, тем, что в нем предпринята попытка соединить два научных направления, которые до сих пор развивались отдельно друг от друга. С представленной здесь точки зрения, только их объединение дает возможность сделать значительный шаг вперед в развитии науки. Рассел и Уайтхед построили логистику (символическую логику) таким образом, что теперь у нас имеется теория отношений, которая позволяет рассмотреть почти все проблемы чистого учения о порядке. С другой стороны, в новейшее время был поставлен и отчасти разрешен вопрос о сведении «реальности» к «чувственно данному» Авенариусом, Махом, Пуанкаре, Кюльпе и, прежде всего, Циеном (Ziehen) и Дришем (упоминая только некоторые имена). Теперь эту *теорию отношений нужно применить для анализа реальности*, с тем чтобы представить логическую формулировку конструкционной системы понятий. Нужно более четко задать базис этой системы и попытаться с помощью имеющихся логических форм построить систему понятий на этом базисе (хотя бы только в общих чертах)» (Журнал «Erkenntnis» («Познание»). С. 75–95).



Во время первого года своей работы в Вене (1926) Карнап настоял на систематическом изучении «Трактата» Витгенштейна. Он и руководил этими вторыми чтениями[17]. Карнап утверждает: «В Венском кружке значительная часть книги Л. Витгенштейна «Tractatus Logico-Philosophicus» читалась вслух и обсуждалась предложение за предложением. Часто требовались долгие размышления для того, чтобы понять, что же имелось в виду. Подчас мы не находили никакой ясной интерпретации. И все же мы многое поняли в нем и живо обсуждали то, что поняли»[18]. По словам Нейрата, «эта работа помогла открыть отсутствие смысла в метафизических высказываниях. С одной стороны, “Трактат” вводил определенного рода метафизику или даже теологию, с другой – он опирался на традиции, придававшие особенную важность анализу языка для критики философии. Венский кружок приложил немало усилий для того, чтобы извлечь логическое ядро из “Трактата”, столь высоко оцененного Расселом, чтобы освободить его из метафизического конверта. Непосредственным результатом стали очень ценные идеи; в частности, что логику нужно рассматривать как синтаксис языка. Логика и математика создают аналитические высказывания, “тавтологии”, необходимые для науки, чтобы преобразовывать предложения о реальности. Невозможно было избежать возражений, высказанных в Венском кружке против метафизики Витгенштейна; многие из его тезисов не встретили всеобщего одобрения, но никто не отказывался, в свою очередь, от анализа таких вопросов, как “Как отличить ‘философские’ высказывания, ‘логические’ высказывания и ‘научные высказывания о реальности’”? … сам Витгенштейн отбросил “высказывания о высказываниях”, поместив их в промежуточную область “поясняющих указаний”, просто выражаемых, или как не имеющих смысла; внутреннее изучение, более глубокое, проведенное участниками Кружка включило и “высказывания о высказываниях” в язык науки. Стало ясным, что логика и наука о реальности представляют собой

[17] Menger K. Introduction // Hahn H. Empirism, Logic, and Mathematics. Philosophical Papers / B. F. McGuinness (ed.). Dordrecht, 1980. P. ix–xviii. Были предприняты попытки установить контакты с квази-мистическим автором (посредством писем с конца 1924 года и личных контактов с начала 1927 года). «Однако сам Шлик после их первой встречи в 1927 году рассказывал о своем впечатлении в следующих словах: «Каждый из нас подумал, что другой, должно быть, сумасшедший» (Engelmann P. Letters from Ludwig Wittgenstein, with a Memoir. Oxford, 1967. P. 118).

[18] The Philosophy of Rudolf Carnap / Schilpp P. A. (ed.). La Salle, Ill., 1963. P. 24.



систему правильно построенных, осмысленных предложений определенной формы. Таким образом, мы получили *последний элемент* (курсив мой. – *О. Н.*), отсутствующий в логическом эмпиризме, для того чтобы стать четко сформулированной эмпиристской концепцией. Больше не было предубеждений против логики»[19].

Таким образом, «Трактат» Витгенштейна не стал для Венского кружка ни главным или программным текстом, ни, тем более, Библией. К моменту знакомства с «Трактатом» концепция научного миропонимания была уже практически сформулирована, уже существовал набросок «Логического построения мира», т.е. была реализована в общих чертах программа Маха–Рассела. Афоризмы «Трактата» были обременены неприемлемыми для кружковцев метафизикой и мистикой. Можно, пожалуй, говорить лишь о том, нашли ли члены шликовского кружка в нем яркое и резкое выражение некоторых собственных идей, или же «интуитивные озарения», которые были переработаны для целей собственной научной концепции: 1) критика традиционной философии[20] была доведена Витгенштейном до высказывания о том, что в метафизических высказываниях отсутствует смысл; 2) мысль о новой задаче философии, которая виделась

---

[19] Neurath O. Le developement du Cercle de Vienne et l'avenir de l'empirisme logique // Actualites scientifiques et industrielles. № 290. P., 1935.

[20] Р. Карнап пишет об этом так: «Как только начинают предъявлять к философии требование научной строгости, так с необходимостью приходят к выводу о том, что *нужно исключить метафизику из философской области*, ибо ее утверждения не допускают рационального обоснования. Каждое научное положение должно быть рационально обосновано. Однако это не означает, что научные идеи возникают благодаря рациональному рассуждению. Важнейшие принципы и новые пути исследования открываются не размышлением, а чувством, интуицией, талантом. Это верно не только для философии, но и для самых строгих наук – для математики и физики. Но решающим является следующее: для обоснования своих положений физик обращается не к иррациональным вещам, а к эмпирико-рациональным аргументам» (Карнап Р. Логическое построение мира // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). С. 77). Теперь приведем слова Витгенштейна: «Большинство предложений и вопросов, трактуемых как философские, не ложны, а бессмысленны. Вот почему на вопросы такого рода вообще невозможно давать ответы, можно лишь устанавливать их бессмысленность. Большинство предложений и вопросов философа коренится в нашем непонимании логики языка» (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.003 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. С. 18–19).



Витгенштейну[21] в «логическом прояснении мыслей», предложений («Трактат». 4.111, 4.112), а Карнапу – в логическом анализе языка; 3) мысль о прямой связи структуры языка со структурой реальности, которую принял Шлик и отвергли Карнап и Нейрат; 4) мысль о существовании «высказываний о высказываниях»; 5) идея о том, что «предложения логики суть тавтологии» («Трактат». 6.1), решившая вечную проблему эмпиризма. Шлик потом их истолкует как *правила* преобразования научных предложений. Считалось, что эта идея принадлежит именно Витгенштейну, и именно она оказала решающее влияние на формирование концепции Венского кружка. Но К. Менгер, присоединившийся к Венскому кружку в 1927 году, исследовал и другой подход к тавтологиям, вне таблиц истинности, предложенных Витгенштейном, а именно введение логиком Эмилем Л. Постом тавтологий и противоречий посредством позитивных и негативных функций в рамках пропозиционального исчисления Г. Фреге. Студентом Фреге был и Р. Карнап; значит, этот подход к тавтологиям был известен и ему. Иными словами, данная идея уже существовала, обсуждалась, и члены Венского кружка пусть иным путем, но пришли бы к этой необходимой для их концепции идее.

Итак, чтение и обсуждение «Трактата» Витгенштейна, состоявшееся, в основном, благодаря рекомендации Рассела, послужило интересным материалом для более четкой формулировки как индивидуальных точек зрения, так и общей «платформы», но в целом «Трактат»

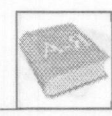
---

[21] См. мнение Макса Блэка, высказанное на страницах журнала «Erkenntnis»: «Логический позитивизм обязан (в особенности, благодаря посредничеству Витгенштейна) в большей мере, чем это признается, влиянию Дж. Мура в пропагандировании философского стиля, который может быть сформулирован как убеждение в том, что “все, что может быть сказано, может быть сказано просто и ясно в любом цивилизованном языке или с помощью подходящего символического языка, и что словесная неясность практически всегда есть признак неясности мыслей”» (Black M. Relations between Logical Positivism and the Cambridge School of Analysis // Erkenntnis. Bd. VIII. 1939–1940. S. 24–36; цит. по: Broad C. D. Critical and Speculative Philosophy // Contemporary British Philosophy: Personal Statements (First Series) / J. H. Muirhead (ed.). L., 1924. P. 81). Ср.: «Все, что вообще мыслимо, можно мыслить ясно. Все, что поддается высказыванию, может быть высказано ясно» (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.116 // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Ч. I. С. 25).



Витгенштейна не оказал влияния на миропонимание и деятельность Венского кружка. Более того, полагаю, что именно анализ афоризмов «Трактата», проделанный Венским кружком, и сделал этот текст понятным и известным мировому философскому сообществу как концепция Витгенштейна[22].

[22] Сошлемся на мнение Б. Рассела о рукописи Витгенштейна «Bemerkungen»: «Теории, содержащиеся в этой новой работе Витгенштейна, обладают новизной, очень оригинальны и, несомненно, важны. Истинны ли они, этого я не знаю. Как логик, который любит простоту, я хотел бы пожелать, чтобы они не были таковыми, но из того, что я прочитал, я с полной уверенностью могу сказать, что он должен иметь возможность для их разработки, *поскольку в случае завершения вполне может оказаться* (курсив мой. – *О. Н.*), что они составляют целую новую философию» (Цит. по: Wright G. H. von. Wittgenstein. Minnesota, 1982. P. 26).



Обсуждаем статьи «Автопоэзис»

В. П. ФИЛАТОВ

Возникновение рубрики «Энциклопедия» в нашем журнале было связано с тем, что параллельно с его изданием велась большая работа по подготовке первой отечественной «Энциклопедии эпистемологии и философии науки». В этой ситуации редколлегия журнала посчитала важным публиковать в данной рубрике в альтернативных или дополняющих друг друга вариантах энциклопедические статьи, посвященные важнейшим категориям познания. В результате за последние годы в журнале были представлены такие статьи энциклопедического характера, как «Знание», «Сознание», «Теория», «Объяснение», «Рациональность», «Деятельность», «Значение», «Историзм», «Рефлексия», «Интенциональность» и другие.

Ныне работа над Энциклопедией завершена, издание готовится к выходу в свет. Но означает ли это, что пора закрывать рубрику «Энциклопедия» в журнале? Обсудив этот вопрос, редколлегия пришла к мнению, что это нецелесообразно. Во-первых, в любом энциклопедическом издании всегда обнаруживаются те или иные пробелы. Поэтому, думая о перспективах, полезно эти пробелы выявлять и заблаговременно готовить материалы. Во-вторых, что более важно, ныне серьезно изменяется, по сравнению с классической эпистемологией и философией науки, поле изучения знания и познания. Складывающаяся неклассическая эпистемология отказывается от фундаментализма, субъектоцентризма и ряда других традиционных предпосылок теоретико-познавательного анализа. Существенно меняются образ науки и понимание социальных условий производства и функционирования знания в современном обществе. Развитие целого комплекса когнитивных наук постоянно обогащает язык эпистемологии и философии науки. Все это придает актуальность обсуждению понятийного аппарата данных областей философского знания на страницах журнала.



Вместе с тем направленность рубрики «Энциклопедия» будет изменена. Основное место в ней будет отведено экспликации и обсуждению понятий и проблем, которые еще не приобрели общепринятого «энциклопедического» статуса, но которые отражают новые реалии и сдвиги в познании и в его философском осмыслении.

Понятие «автопоэзис», несомненно, относится к такого рода новым понятиям. Первоначально введенное для объяснения специфики феномена жизни, оно оказалось применимым и к сознанию, и к обществу. Оно позволяет преодолеть традиционное эпистемологическое предубеждение, состоящее в различении субъекта и объекта познания и признающие познанием лишь такую деятельность, которой удается избежать переплетения со своим предметом. Между тем не только субъекты обладают самореференцией, но и многие сложные объекты являются таковыми – самоописывающими, автопоэтическими.

Е. Н. Князева

Автопоэзис в буквальном смысле означает само-производство (от греч. *αυτος* – сам, *ποιησις* – производство, созидание, творчество) и выражает диалектическую связь между структурой и функцией сложной системы. Термин был введен чилийскими учеными У. Матураной и Ф. Варелой в 1973 году. «Автопоэтическая машина, – пишут они, – это машина, организованная (определяемая как единство) как сеть процессов производства (трансформации и деструкции) компонентов, которые 1) через их взаимодействия и трансформации непрерывно регенерируют и реализуют сеть процессов (отношений), которые производят их, и 2) образуют ее (машину) как конкретное единство в пространстве, в котором они (компоненты) существуют, определяя свойства топологической области их реализации как такой сети»[1]. *Автопоэтическая система* (машина) в корне отличается от *аллопоэтической* системы (машины), такой, например, как автомобильный завод, которая использует сырье (компоненты, поступающие извне), чтобы строить организованные структуры, представляющие собой нечто иное, чем она сама. Автопоэтическая система строится по принципу самоотнесенности, циклической организации, она производит саму себя из самой себя.

Матурана и Варела стремились найти ключевое свойство всякой живой системы, сущность жизни. Последняя, с их точки зрения, заключается не в способности к репродукции, самовоспроизведению, как это принято считать, а в способности живой системы поддерживать свою идентичность. Ученые исходили из разработанной ими экс-

[1] Maturana H. R., Varela F. J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht, 1980. P. 78.



периментальной компьютерной модели искусственной жизни, некоего варианта клеточного автомата, имитирующего зарождение замкнутых на себя структур из неупорядоченного субстрата – набора клеток с добавлением к ним катализирующих элементов. Образовавшиеся структуры проявляли способность к самоподдержанию и восстановлению нарушенных связей между клетками в случае разрушающих воздействий извне. Данная модель показывала, что структуры обладают способностью каким-то образом «узнавать» о нарушении связей, с тем чтобы восстановить их. Это «узнавание» и легло в основу определения сущности феномена жизни, а затем и феномена познания. Это был новый, нетривиальный подход в понимании сущности жизни.

В понятии автопоэзиса фиксируются три важных момента. Во-первых, это – автономия. То есть,живые системы управляемы эндогенно, сами себя организуют. Этим модель автопоэзиса отличается от предшествующей ей кибернетической модели Н. Винера и У. Маккаллоха. В последней автономия, по сути, не существует, так как акцент падает на входы (*inputs*) и выходы (*outputs*) системы, обрабатывающей информацию. Системы, изучаемые кибернетикой, – это системы, по определению, гетерономного типа: именно элемент *heteros* («иное»), а не петля, не *autos* («само») является для них специфическим и определяющим. Во-вторых, это – производство, действие (поэзис), что легло впоследствии в основу развитого Варелой в когнитивном плане понятия «инактивации». В-третьих, это – не просто возвращение системы к самой себе, самовосстановление, итерация, повторение пройденного, но и ее самодополнение, самодостраивание, самообновление. Цикл автопоэзиса никогда не является замкнутым, и эта его незамкнутость есть открытость к новому, к творчеству.

Основные положения концепции автопоэзиса таковы:

– биологическая обусловленность человеческого познания, когнитивных структур: «человек познает, и его способность познавать зависит от его биологической целостности»;

– жизнь есть познание: «живые системы являются когнитивными системами, и жизнь как процесс является процессом познания»;

– живые системы являются автономными, операционально закрытыми; их организация носит циклический характер; определяющей для них является гомеостатическая функция, самоподдержание, самоотнесенность;

– живые системы – это исторические системы: «релевантность их настоящего поведения всегда определяется прошлым опытом», т.е. жизнь живого содержит тот нарративный аспект, важность которого была подчеркнута позднее в философии самоорганизации, в частности И. Пригожиным;

– происходит коэволюция автопоэтической системы и ее окружения; они коэволюционируют в общем историческом течении[2].

[2] Ibid. P. 5, 13, 27.



Впоследствии концепция автопоэзиса получила признание научного сообщества и была успешно распространена на понимание социальных систем, в первую очередь Н. Луманом, и сложных самоорганизующихся систем вообще. Сам же Варела был более осторожен и предостерегал от прямого перенесения биологических моделей автопоэзиса на социальный уровень.

Автопоэтические системы обладают двумя важными свойствами – *операциональной замкнутостью* и *структурной сопряженностью* со средой. Сложная система, способная к самоорганизации, не просто открыта, – она операционально замкнута. Она одновременно и отделена от мира, и связана с ним. Ее граница подобна мембранной оболочке, которая является границей соединения/разделения. Мембрана позволяет системе быть открытой миру, брать из окружающей среды нужные вещества и информацию и быть обособленной от него, во всех своих трансформациях и превращениях поддерживать свою целостность, сохранять свою идентичность. Рост сложности систем в мире означает рост степени их избирательности.

Выражаясь образным языком, сложная система, возникнув и развиваясь, испытывает мир, бросает ему вызов, но и мир оказывает влияние на нее. И система, и окружающая среда обоюдно активны. Если процесс их взаимного испытания не завершается распадом системы, то в результате они оказываются взаимно подогнанными друг к другу. Система адаптируется к окружающей среде, которая, в свою очередь, также видоизменяется. Процесс налаживания их сосуществования, обустройства их совместной «жизни» называют процессом коэволюции, а результатом этого процесса является *структурное сопряжение* сложной системы и среды (в живой природе – организма и среды его обитания).

Понятие автопоэзиса применимо к пониманию сознания, его когнитивных и креативных функций. *Автопоэтичность* работы сознания – это его непрерывное самопроизводство, поддержание им своей идентичности через ее постоянный поиск и ее становление. В автопоэзисе всегда есть не только сохранение состояния, но и его преодоление, обновление. Можно, вероятно, говорить и об *автопоэзисе мысли*, что означает наличие в ней вектора на самодостраивание, на изобретение и конструирование, на достижение цели и построение целостности. Познание автопоэтично в том смысле, что оно направлено на поиск того, что упущено, на ликвидацию пробелов. Определяя сущность познания, Варела подчеркивал: «Познание есть действие, направленное на нахождение того, что упущено, и на восполнение недостающего с точки зрения когнитивного агента»[3].

---

[3] Varela F. J. Patterns of Life: Intertwining Identity and Cognition // Brain and Cognition. Vol. 34. 1997. P.85.



Самодостраивание имеет место в визуальном восприятии, в распознавании образов. На самодостраивании основывается работа синергетического компьютера, о котором пишет в своих книгах Г. Хакен. *Самодостраивание* лежит в основе работы творческой интуиции, озарения, инсайта. Происходит восполнение недостающих звеньев, «перебрасывание мостов», самодостраивание целостного образа вокруг выбранного ключевого звена. Интуиция всегда холистична, в отличие от логики, которая аналитична. Развертывается процесс самосборки целого из частей в результате самоусложнения этих частей. Сам поток мыслей и образов, в силу своих собственных потенций, усложняется и спонтанно выстраивает себя. Из простой структуры вырастает более сложная.

А. Ю. Антоновский[1]

Понятие *автопоэзиса* введено биологами У. Матураной и Ф. Варелой для обозначения единства в организации живых систем. Автопоэзис понимается как процесс производства и трансформации компонентов, которые посредством взаимодействия и подсоединения друг к другу непрерывно регенерируют и создают сеть процессов и связей, которые, в свою очередь, создают подобные элементы. В результате создается некоторая единая, пространственно замкнутая целостность (организм, машина). При разработке концепции автопоэзиса У. Матурана, Ф. Варела, а позднее Н. Луман, опирались на так называемую «логику различений» британского математика Дж. Спенсера-Брауна. Эта логика отказывается от таких классических философских фигур, как объекты или субъекты, которые понимаются как функции и следствия тех или иных различений. Реально существующими полагаются границы, различения и различия. Познающая инстанция при этом репрезентирована не человеком или его сознанием, а самими процессами разграничений, разделяющими (и этим только и конструирующими) мир на две части или стороны и, тем самым, порождающими объекты.

Классическим примером автопоэзиса служит биологическая клетка как некоторое целое, состоящее из создаваемой ею самой продуктов: нуклеиновых кислот, белков, из которых она выстраивает свою воспроизводящуюся и взаимосвязанную структуру: ядро, органеллы, клеточную мембрану и цитоскелет, которые и обеспечивают воссоздание компонентов и поддержание пространственно-замкнутых границ клетки. В основании автопоэтического процесса лежит способность живых систем осуществлять различения между собой и внешним миром, причем сам акт репликации клетки и является таким

[1] Статья написана в рамках грантов РГНФ 07-03-00308(а) и 08-03-00239а.



различением, поскольку производится именно клетка, а не окружающий ее мир.

Понятие автопоэзиса было распространено Н. Луманом и на социальные системы, и на системы личности, в которых автопоэзис приобретает свою специфику. Основную роль играет не пространственная замкнутость автопоэтического процесса, а его временна́я определенность.

Для анализа автопоэтического процесса привлекается различение *операция/наблюдение*, призванное заменить классическую эпистемологическую дихотомию *субъект/объект*. Каждая клетка является результатом внутренних осетевленных операций живой системы. Каждая операция (деление клеток, последовательные активации нейронных сетей) живой системы служит предпосылкой следующей операции и тем самым обеспечивает закрытый характер и единство системы. То же самое относится к коммуникациям и переживаниям сознания (мыслям), которые, однако, являются и просто операциями, и операциями наблюдения.

На уровне *операций* система решает проблему ее простого воспроизводства путем подсоединения новой операции к прошлой. Такое воспроизводство может протекать слепо, безотносительно к функциям системы, к ее целям или потребностям приспособления к условиям среды. Для живых систем не существует времени; каждая операция «современна» окружающему систему миру. Эти системы не способны различать между составляющими их будущими и прошлыми событиями и, следовательно, наблюдать: представлять себя как нечто целостное, длящееся во времени. Речь идет о базовой самореференции или самоотнесении, где единство системы и ее отличие от внешнего мира не наблюдаются, а лишь осуществляются. Автопоэтические системы характеризуются замкнутым характером их операций, обеспечивающим автономию систем. В случае живых систем процессы, обеспечивающие производство новых клеток, осуществляются исключительно внутренне, хотя для воспроизводства организма и задействуются внешние для клеток вещества (органические молекулы). То же самое относится и к другим автопоэтическим, в частности социальным, системам и системам личности. Коммуникация, сознание, жизнь – три обособленных автопоэтических процесса, предполагающих осетевление своих элементов: коммуникация может подсоединяться только к коммуникациям, мысль может подсоединяться только к мысли как бы автоматически, поскольку каждое событие просто следует друг за другом. Каждая операция, подсоединяясь к предшествующей и образуя закрытую сеть, осуществляет самоотличение от внешнего мира. Являясь автономными, системы коммуникации и системы личности вступают в структурные сопряжения. Это означает, что коммуникативный акт, сообщение, оказывается, обнаруживает свой коррелят и в потоке мыслей, но тем не менее последовательности коммуникаций и последовательности мыслей образуют независимые истории, с собственными зависимостями.



Способность автопоэтических систем задействовать различения является своеобразной формой протопознания, которая совпадает с процессом самоосуществления, или автопоэзиса. Желудок в процессе пищеварения не переваривает свои собственные стенки и, следовательно, отличает себя от своего внешнего мира.

Уровень *операций системы* отличают от уровня операций *наблюдения*, где последние, в свою очередь, являются операциями, выделяющими себя из внешнего мира, т.е. задействуют различения. Но при этом они способны не просто осуществлять различение, как это делается на уровне операций, но и *обозначать* одну из его сторон и тем самым перерабатывать информацию, фиксируя связь одной, в данный момент наблюдаемой, стороны с возможными подсоединяющимися к ним операциями. Наблюдения осуществляются смысловыми системами, а именно – системами личности и системами коммуникаций. Закрытый характер социальных систем вытекает из согласованности самих прошлых и будущих коммуникаций, несмотря на то что авторство каждой конкретной операции может приписываться внешнему для нее миру, т.е. сознанию коммуницирующих лиц. Однако такое приписывание есть результат применения именно коммуникативной схемы – различения внутреннего (собственно-коммуникативной причины коммуникации) и внешнего (сознания ее участников как причины коммуникации), что является собственным достижением коммуникации и обеспечивает особый характер ее протекания, зависящий от того, какая сторона данного различения была выбрана как отправная для продолжения ее автопоэзиса.

Смысл понимается как соотнесение актуальной операции и возможных будущих событий, на которые она указывает. При этом всякая операция наблюдения задействует то или иное различение (система/внешний мир, целое/часть, гештальт/фон и другие), требует выбора той или другой его стороны, что делает возможным переход к следующим наблюдениям (различениям), *осмысленным* в контексте прошлого наблюдения.

Операция наблюдения высвобождается от временной согласованности с актуально данным внешним миром, способна отличать свои собственные внутренние процессы от процессов во внешнем мире, констатировать причинные связи между ними, приписывать себе цели. При этом операции наблюдения, оставаясь автопоэтическими *операциями*, протекают слепо по отношению к производству своих собственных операций. Они не способны различать самих себя, являются по отношению к себе «слепым пятном». Так, при помощи различения *истинное/неистинное*, задействованного социальной системой науки, невозможно осуществлять наблюдения, т.е. констатировать истинность или неистинность самого этого различения. Для такого наблюдения требуется наблюдения второго порядка, способные фиксировать сами различения как таковые, их единство, а не сосредоточивать-

ся на той или другой стороне различения. Поэтому в социальной системе науки выделяется особая инстанция – эпистемология, способная делать предметом наблюдения сами средства наблюдения, в частности дистинкцию истинное/ложное, сопоставлять их с другими средствами наблюдения, используемыми прочими социальными системами. Но и наблюдение второго порядка остается автопоэтической *операцией*, не способной уловить собственные средства наблюдения, в частности дифференцию операция/наблюдения, которую фиксирует наблюдение третьего порядка, например теория социальных систем. Наблюдение, таким образом, не является особенной, привилегированной формой познания, обладающей доступом к реальности самой по себе. Мир не может наблюдаться извне. Всякая наблюдающая инстанция уже самим фактом наблюдения трансформирует мир, раскалывая его посредством собственных различений.

Вторым и особым случаем наблюдения как автопоэтической операции является самонаблюдение. Наблюдение здесь оказывается операцией наблюдаемой системы и участвует в автопоэзисе, однако наблюдается не сама операция наблюдения (это невозможно в силу моментального характера любого наблюдения), а уже осуществившееся наблюдение как принадлежащее к некоторому целому или единству. Так, в отношении социальных систем, рудиментарное самонаблюдение состоит в том, что всякая коммуникация должна учитывать и то, кто осуществляет коммуникацию, и то, какие формы она принимает, т.е. коммуницировать также и по поводу того, что речь идет именно о коммуникации, а не внешнем мире системы, являющейся содержанием данной коммуникации. Однако самонаблюдение как автопоэтическая операция остается событием, т.е. моментальным актом, не допускающим его континуализации во времени; оно всегда привязано к некоторой наличной ситуации. Для координации наблюдений друг с другом требуются тексты, лежащие в основании третьей формы социальной самопоэзии – самоописания систем. Тексты обеспечивают повторение однажды случившихся наблюдений. При этом с ходом эволюции происходит переход от экстернализирующих самоописаний, предполагающих разделение между описанием и его объектом, к автологическим самоописаниям, требующим учета того обстоятельства, что факт описания общества, в свою очередь, является коммуникацией и в этом качестве составляет часть этого общества, что делает самоописания дефинитивно неполными, не успевающими за объектом описания, обогащающимся благодаря актуально осуществляющемуся описанию. Объект, в данном случае общество или система коммуникаций, должен быть описан как самоописывающийся.

Внутри системы мирового общества (под которым понимаются последовательности всех возможных коммуникаций) возникают внутренние автопоэтические системы с собственным типом операций, т.е. с собственными определяющими их автопоэзис дистинкциями (на-



пример, истинное/ложное, законное/незаконное и т.д.), при помощи которых система отделяет себя от ее внутреннего (т.е. все-таки внутриобщественного) внешнего мира, в виде которого выступают иные коммуникации. При этом коммуникации внутри подсистем замкнуты внутри себя и указывают на внешний мир (инореференция) лишь опосредованно – в форме, специфической для данной системы темы коммуникации, которые могут включать и саму форму протекания коммуникаций (самореференция).

ЛИТЕРАТУРА

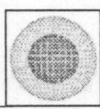
Матурана У. Р., Варела Ф. Х. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания. М., 2001; Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // СОЦИО-ЛОГОС. М., 1991; Луман Н. Общество как социальная система. М. 2004; Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных систем. М., 2007; Maturana H. R., Varela F. J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht, 1980; Luhmann N. Essays on Self-Reference. N.Y., 1990; Luhmann N. Wissenschaft der Gesellschaft. F/M., 1990; Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. F/M., 1997.

Познание мифического как методологическая проблема

О. Ф. СМАЗНОВА



Современное состояние гуманитарных наук характеризуется повышенным интересом к взаимоотношениям науки, мифа, религии, традиции как моделей сознания, мышления и практики. Успехи этнографии, этнологии, культурной антропологии и фольклористики второй половины 19 – середины 20 веков привели к приросту сведений о многообразии вненаучного, в том числе мифического, нарратива. Однако исследование мифологий, их топики и структурно-логических характеристик, вытеснило на периферию вопрос о сущности *мифического* как такового. Поэтому когда в научном сообществе стала утверждаться идея об исторической неизбывности мифического сознания и непрерывности мифотворческого процесса в современных культурах, внимание к новейшим феноменам мифического оказалось методологически неподкреплённым. До сих пор современное мифическое не вполне поддаётся рациональному научно-гуманитарному и философскому анализу, о чём свидетельствует преобладание тенденций оценочно-насыщенного мифоразоблачительства в научно-гуманитарном публикационном



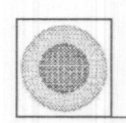
потоке. Эта ситуация требует активной теоретико-методологической рефлексии.

Первое обращение к проблеме современного мифа связано с именем Э. Б. Тайлора (1832–1917). Стремясь выработать общую дефиницию мифического, учёный постулировал, что миф представляет собой *объяснение действительности*, но объяснение искаженное, неверное. Непреднамеренное искажение связано с «принципом ассоциации идей». Его действие иллюстрировалось историческими казусами (народ ожидал смертельного исхода болезни короля, «потому что самый старый лев в Тауэре, почти ровесник короля, только что умер») и прорицаниями астрологов: «Около 1524 г. Европа ожидала в молитве и страхе второго потопа, который, по предсказаниям, должен был произойти в феврале этого года. <…> Потоп этот был предсказан великим астрологом Штефлером <…> Его выводы имеют то преимущество, что они совершенно понятны и до сих пор: в феврале 1524 г. три планеты должны были сойтись в водяном знаке Рыб»[1]. Тем не менее интерпретировать содержание мифических рассказов только с помощью «принципа ассоциации» Тайлору не удавалось. Поэтому происхождение мифологий древних и современных он связывал также с «преувеличением и извращением фактов» и с «превращением умозрительных теорий и ещё менее существенных вымыслов в предполагаемые исторические события»[2]. Так или иначе, тайлоровская модель мифоведения не предполагала отличий мифа от повседневных ошибок, дезинформации или научных рабочих гипотез, не прошедших процедуры верификации. Учёный полагал, что современное мифическое может быть представлено как совокупность познавательных сообщений, условно разделяемых на рубрики: «мифы философские, или объяснительные; мифы, основанные на реальных, но неправильно понятых, преувеличенных или искаженных описаниях; мифы, в которых предполагаемые происшествия приписываются легендарным или историческим личностям; мифы, основанные на реализации фантастической метафоры; мифы, созданные или примененные для распространения нравственных, социальных или политических учений»[3].

Мифическое сознание познает действительность, но познает неправильно: мифический рассказ сообщает о фактах и предлагает их истолкования, но те и другие ложны. Миф – познавательная фикция, «смешение истины и лжи». При этом «истиной» в мифе является только само стремление к объяснению действительности, некий рациональный познавательный порыв, присутствующий, как полагал Тайлор, в мифотворчестве. Изучить мифическое – значит обнаружить ошибку, ложь или фальсификацию в том или ином сообщении:

«Рассказывают, что в числе учеников живописца Давида находился многообещающий мальчик, сын торговца овощами, по имени *Шик*.

[1] Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 96, 103.
[2] Там же. С. 204.
[3] Там же. С. 178.



Юноша этот умер в 18 лет, но Давид и впоследствии выставлял его своим ученикам как образец артистической восприимчивости, и отсюда возник всем известный термин "шик". Этимологи вообще не страдают недостатком смелости, но и они едва ли когда-либо шли дальше этой нелепой утки; слово "шик", во всяком случае, существовало уже в XVII в.»[4].

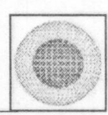
Это развенчание этимологического «мифа» – характерный пример тайлоровского мифоведения, которое представляло собой россыпь критики древних и современных познавательных заблуждений.

Пресловутое «смешение истины и лжи» в мифических рассказах («мифологиях») по сей день служит неиссякаемым источником разоблачительного дискурса. При этом упускается из виду, что мифическое мифологии не тождественно. Конечно, мы *непосредственным образом имеем дело только с мифологией, то есть с мифической речью*, (рас)сказом. Но означает ли это, что методологически существует одна, и очень ограниченная, возможность изучения мифического – анализ истинностных характеристик мифического повествования, которое и предпринимал Тайлор, отождествляя мифическое с недостоверным сообщением, с ложной речью?

Чтобы выяснить это, установим различие двух типов речи, двух регистров говорения. Первый – речь в широком смысле «прозаическая», пропозициональная и денотативная. Она несёт информацию и, в известном смысле, ею исчерпывается, получая ценность от несомого ею сообщения. Если она сообщает о ложном факте, то и сама квалифицируется как ложная. Существуют помехи в передаче данных и трудности взаимопонимания адресата и адресанта, связанные с нечёткостью языка и фоном субъективного опыта, но служебных функций речи это не отменяет. «Прозаичность» речи охватывает обширные области практики: речь научная и речь обыденная преимущественно основаны на принципе передачи-приёма данных. А потому не удивительно, что первая реакция на любое повествование (говорение, рассказ) – «вычитать» сообщение и определить его информационную ценность, руководствуясь критериями достоверности, доказательности, когерентности.

Тем не менее автоматизм этой реакции способен сыграть злую шутку, если, вопреки ожиданиям, говорение будет происходить в ином регистре – в регистре «поэтическом». Поэтическая речь осуществляется *помимо* передачи сообщения. Её целью и назначением не является снабжение адресата информацией, хотя, конечно, если эта речь ведётся, то ведётся она о чём-то, а потому при желании в ней можно вычитать (или в нее «вчитать») информацию о предмете и сделать заключение об истинности или ложности «сообщения». Но такое обращение с поэтической речью будет чревато взаимонепониманием субъектов, находящихся в ситуации непримиримого несходства «языковых игр».

[4] Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 194.



Обратимся к простому примеру. И. Бродский, вспоминая свой опыт общения с поэтессой Анной Ахматовой, тяжело переживавшей политические репрессии сына, замечал: «Анна Андреевна мучилась и страдала из-за судьбы сына невероятно. Но когда поэтесса Анна Ахматова начинала писать… Когда пишешь, то стараешься сделать это как можно лучше. То есть подчиняешься требованиям музы, языка, требованиям литературы. А лучше – это не всегда правда. Или: правда бóльшая, чем правда опыта. То есть ты стремишься создать трагический эффект тем или иным образом, той или иной строчкой, и невольно как бы грешишь против истины: против собственной боли»[5]. В. Вейдле, также рассуждая о лирическом даровании поэтессы, замечал: «Не о её друге стихи:

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать,
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
<…>

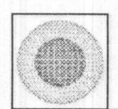
И эти не о её сыне:

<…>
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далёкой
Миноносец свой водил.
На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на божий свет»[6].

Размышляя о лёгкости перехода Ахматовой от фактов собственной жизни к примысленным фактам из жизни чужой и только возможной (воображаемой), литературовед подчёркивал, что подходить к творчеству поэта с информационно-познавательными мерками истины и лжи недопустимо. Каковы бы ни были адресаты и прототипы стихов, кому же придет в голову, что поэтесса ставила перед собой задачу привести подлинные данные о количестве огнестрельных, резаных и колотых ран на теле погибшего друга, или же сообщить о родственных связях, образе жизни и вкусовых пристрастиях морского офицера? Эта мысль выглядит нелепой. Очевидно, что не истина факта является целью поэтической речи. Мы должны различать здесь смену правил восприятия: не сообщать факт и информировать о факте, а устанавливать смысл и запечатлевать собственное «я», – неважно, в какие квази-факты («ложные факты»!) поэтического «сообщения» оно отливается. В стихах Ахматовой, о ком и чём бы они ни были, есть только сама Ахматова: её стихи – изъявление её личностного

---

[5] Анна Ахматова: pro et contra. Т. 2 СПб., 2005. С. 647–648.
[6] Там же. С. 334.



типа. Только поэтому они создают возможность отклика со стороны человека, их воспринимающего.

В этом смысле литература и искусство всегда «поэтичны» и неинформационны. Они представляют собой персональный язык – язык, в котором слово используется не для сообщения чего-то другим людям. «Если читательнице N сообщают, что некая женщина по имени Анна Каренина в результате несчастной любви бросилась под поезд, и она, вместо того чтобы приобщить в своей памяти это сообщение к уже имеющимся, заключает: “Анна Каренина – это я” – и пересматривает своё понимание себя, свои отношения с некоторыми людьми, а иногда и своё поведение, то очевидно, что текст романа она использует не как сообщение, однотипное всем другим, а в качестве некоторого кода в процессе общения с самой собой»[7], – рассуждал Ю. М. Лотман. Это происходит потому, что роман «Анна Каренина» воспринят поэтически – не как «информационный блок», не как изложение фактов жизни главной героини (к которым уместно применить верифицирующие процедуры), а как символ, личностный тип, отображенный писателем Л. Толстым и неизбежно несущий на себе отпечаток этоса автора (то, что принято именовать «идеей» произведения).

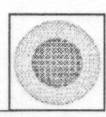
Для личностного изъявления пригодны любые высказывания; но устанавливать их истинность, чтобы тем самым определить их ценность, – действие не по правилам, обессмысливающее *поэтическую модель речевого поведения*. «Какой эффект получается, – рассуждал А. А. Потебня, – если мы какое-нибудь стихотворение (вообще поэтическую речь) превратим в прозу, изложим своими словами, речью немерною? < … > В этом случае (помимо порчи эстетического впечатления) получается либо изложение конкретного факта, либо общее положение, к которым мы должны уже применить общие приемы исследования и критики. Тут уже являются вопросы: да правда ли это? да действительно ли так?»[8]. Конечно, уловив рифмованную строфу, мы обуздываем верифицирующий механизм рассудка, и в специально организованном, отмежёванном от привычного пространстве художественного слова-действия (театр, опера, кинематограф) желание «получить информацию» угасает ввиду отчётливо ощущаемой его неуместности. Но – заметим – поэтичность свойственна и «немерной» речи. Можно столкнуться с «поэтической речью» даже там, где нет никаких намёков на смену регистра – ни рифмы, ни размеренности, ни специально учреждённого социального действа.

Поэтическая речь (в широком смысле, включающем в себя и речь поэтическую по сути, но прозаическую по форме) иносказательна, то есть говорит не о том, о чём *по видимости* говорит. Поэтическая речь выступает не как *инструмент* сообщения, а как *манифестация* лич-

---

[7] Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2004. С. 173.

[8] Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления // Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. С. 231.

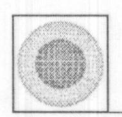


ности субъекта речи. Если она и служебна, то это служебность не информационная, а экзистенциальная. Трактуя её как изложение конкретного факта или, как общее положение, препарируя с помощью истинностных критериев («да правда ли это?»), мы неверно её воспринимаем; или, точнее, не воспринимаем вообще. Эта речь не создавалась для того, чтобы снабдить нас той или иной информацией, и потому её «разоблачение» и истинностный анализ того, что якобы *сказано*, и того, как есть *на самом деле*, – неуместны. И, в свою очередь, непонимание этого закономерно заставляло бы квалифицировать собственно поэтическое творчество только как распространение вымыслов и заблуждений, вредное с информационно-знаниевой точки зрения: «Поэт и в наше время имеет ещё много общего с умственным состоянием нецивилизованных племен на мифологической стадии мысли»[9], – замечал Э. Б. Тайлор, не подвергая сомнению необходимость истинностного анализа.

Тайлористская версия мифоведения не допускает даже возможности разнорегистрового восприятия речи, трактуя любое высказывание только как прозаическое, информирующее. Очевидная непродуктивность такой позиции, не способной разграничить мифическое и немифическое и открывающей только возможность повсеместной разоблачающей критики любых ошибочных или ложных высказываний, требовала внесения корректив в этот подход к изучению мифического. И всё же сосредоточенность на анализе мифологических «сообщений» сохранили даже наиболее успешные мифоведческие проекты 20 века. Так, изучение мифологий (актуальных или реликтовых, то есть фольклорных, образцов мифической речи), освобожденное от тайлористской тенденциозности при сохранении исключительного внимания к «сообщениям» мифических высказываний, осуществлялось в рамках «структурной антропологии» К. Леви-Строса (1908–1987). «Объективные» (то есть независимые от произвола рассказчика) схемы сочетания, взаимодополнения и превращения распространенных сюжетов, базирующиеся на логических оппозициях, – предмет его исследовательского интереса. При этом, как указывал учёный, «не существует ни реального предела анализа мифов, ни скрытой целостности, которую можно было бы выловить в итоге работы по декомпозиции. Темы множатся до бесконечности»[10]. Принципы и технология структурного анализа универсальны и могут быть одинаково успешно применены не только к древней мифологии и фольклору, но также к бесконечно множащимся сюжетам политического, повседневного дискурса и современной литературы. Что, впрочем, не означает, что тем самым будет обоснован их мифический статус, – для этого требуется выход за пределы структуралистского рассмотрения предмета. Структуралистский метод не привносит ничего нового в решение во-

[9] Тайлор Э. Б. Первобытная культура. С. 147.

[10] Леви-Строс К. Мифологики: В 4-х т. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.–СПб., 1999. С. 15.

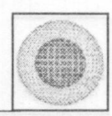


проса о границах современного мифического; он оперирует тем материалом, что уже поименован «мифологией» и чей мифический статус заявлен по привходящим основаниям.

К. Хюбнер (р. 1921), представитель наиболее интересной ветви современного мифоведения, отказавшись от критики мифической речи с позиции научного знания, также сохранил тайлоровский постулат о познавательном характере мифического. Мифическое высказывание, как и высказывание научное, располагается в сфере прозаического говорения; с этой точки зрения их принципиальное разграничение невозможно, а потому следует, скорее, подчёркивать сходство мифа и науки как параллельных, равновозможных систем сообщения о действительности, в чём и состоит исследовательская задача: «Миф вовсе не лишен логики. Лежащая в его основе онтология построена не менее систематично, чем онтология науки, и каждой части научной онтологии соответствует элемент онтологии мифа. С формальной точки зрения мифическая модель объяснения идентична научной. Научный и мифический опыт имеют одинаковую структуру. Наука и миф применяют одну и ту же модель объяснения. И там, и там мы можем различить чистый и предпосылочный опыт. Чистый опыт дан интерсубъективно необходимым образом»[11]. Миф отличается от науки «недостатком сквозной логики», отсутствием строгой систематичности, но и это связано всего лишь со спецификой мифической онтологии, а не с дефицитом объяснительной мощи мифа. Сосредоточившись на выявлении принципов античной мифической картины мира (среди них – единство идеального и материального, допущение существования нуминозной субстанции как основы мироздания и др.), Хюбнер убедительно показал, что мифология, как речь, в которой закодированы принципы мифического мироосмысления и мировосприятия, действительно может быть переведена в квази-научный язык. Но и исследовательская программа Хюбнера применима только к тем высказываниям и повествованиям, которые уже признаны мифическими; в этом смысле она *ретроспективна*. Обращаясь к современному мифическому, Хюбнер выявляет его на основе уже реконструированных постулатов, скроенных из материала античных мифологических образцов. Очевидно, что мифическое будет узнаваемо только в той мере, в какой оно основывается на мирообъяснительных шаблонах, восходящих к античности; новые феномены мифического неузнаваемы, и новая мифология не распознаётся.

Проблема сущности мифического вновь становится принципиальной: мифическое должно быть исследовано как модальность (форма) человеческого сознания, придающая речи мифический статус и делающая её «мифологией». Тем самым вновь должен быть поставлен вопрос: о чём сообщает мифическая речь, и сообщает ли? Для начала, следуя примеру К. Хюбнера, обратимся к тем сказовым областям, мифический статус которых обычно не подвергается сомнению (хотя

[11] Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 254, 264.



на самом деле мифичность любой древней, «застывшей» мифологии всегда гораздо более сомнительна, чем мифичность живой речи). Как продемонстрировал Хюбнер, из мифологии, путём реконструкции, можно извлечь пункты мифической онтологии (представления о мифической субстанции, о мифическом времени и пространстве), сопоставимые по своему знаниевому характеру с постулатами онтологии научной. Но только ли это? И, прежде всего, – это ли?

Представим себе картину: вы рассказываете о мифологии человеку, совершенно не знакомому с этим явлением, излагаете античный миф о Дедале и Икаре, и ваш оппонент замечает: «Этого не могло быть!». Действительно: воск и птичьи перья – не подходящий материал для того, чтобы сделать из него летательный аппарат для побега из Минойского дворца на Крите; Икар в любом случае не смог бы преодолеть силы гравитации и в прямом смысле приблизиться к Солнцу; и даже если предположить, что он просто высоко поднялся над поверхностью земли, то атмосферная температура должна была бы не повышаться, а, наоборот, понижаться, и воск не расплавился бы, и т.д. Следовательно, рассказ о Дедале и Икаре – ложь, информация, не заслуживающая доверия.

Эти возражения показали бы только, что вашему собеседнику, видимо, оказался недоступен «литературный» аспект рассказа. Выслушав «истинностную» критику мифа, вы поймете, что в буквальном смысле разговаривали с вашим оппонентом на разных языках, – ваши мысли, суждения и чувства принадлежали к разным языковым играм, и попытка играть на чужом поле по своим правилам влекла за собой только *недо*-разумение. Разве речь шла о факте, будь он достоверным или явно ошибочным? Конечно, нет. События, свершившиеся с Дедалом и Икаром – происходили они в действительности или только в воображении, – это символическая ситуация, трагедия благоразумия и легкомыслия, скромности и тщеславия, или, может быть, полета гениальности и связанных с ним жертв.

Но и *за этим* внешним поэтико-символическим пластом открывается иной, самый важный смысловой континуум. Само рассказывание о Дедале и Икаре, ведение речи о них, осуществлялось не с целью «информировать» или «сообщить» о чём-либо, в том числе и о том, что Дедал и Икар – это какой-то символ или знак. Пытаясь познакомить с мифологией человека, никогда не имевшего с ней дела, вы стремились передать ему «дух» мифа. Его возглас: «Этого не могло быть!» должен был бы вызвать ответный: «Разве не может быть человека, для которого повествование о Дедале и Икаре стало частью его жизни, его жизненным кредо?». Пересказ мифа предполагает не столько изложение жизненных перипетий того или иного мифологического персонажа, сколько приобщение к особому (античному в данном случае) личностному типу. Здесь «текст используется не как сообщение, а как код», «он не прибавляет нам каких-либо новых сведений к уже имеющимся, а трансформирует самоосмысление порож-

дающей тексты личности»[12]. Живое мифоговорение, сотворение или рецитация мифологий – это личностное событие, *изъявление собственного или воссоздание чужого этоса*. В свою очередь, понимание мифологий – это со-переживание другому «я»; здесь нет передачи информации, а только экзистенциальное взаимодействие. Поэтому мифическое «принципиально непереводимо в план иного описания, в себе замкнуто – и, значит, постижимо только изнутри, а не извне. В некотором смысле понимание мифологии равносильно припоминанию»[13]. Конечно, кроме этого, рецитации мифа могут воссоздавать и передавать некоторое знаниевое, мирообъяснительное содержание, конкурируя с наукой, но не это образует их специфику.

Если область древней мифологии всё же отграничена от обыденного общения, *привычно воспринимается как «литература» или «фольклор»* и тем самым несколько гарантирована от неправомерных верифицирующих посягательств, то неопределенность статуса *современного мифоговорения* создаёт ему дискриминационный режим. Мифическое, осуществляясь повсеместно, повсеместно же *не признаётся и не узнается*. Рассуждение о мифическом (и осуждение мифического), насильственно переносящее миф в чуждый ему регистр «прозаического», информационно-фактического сообщения, встречается как в научно-гуманитарной литературе, так и в обыденном словоупотреблении. Это настолько устоявшаяся практика, что тайлористский постулат «мифическое – значит ложное» почти не подвергается не только сомнению, но даже сколько-нибудь вдумчивому рассмотрению. Но, если признать существование иного регистра говорения и восприятия речи, придётся отказаться от автоматического отождествления мифа с информирующим сообщением (будь то сообщение тотально подозреваемое, как в концепции Э. Б. Тайлора, или объективно-логичное и равно-достойное научному высказыванию, как в мифоведении К. Леви-Строса и К. Хюбнера).

Мифическое располагается, скорее, в сфере нормотворчества, этического (практического) восприятия. Мифотворчество антропологически константно, это неотъемлемое качество человеческого бытия. Оно заявляет о себе всякий раз, когда субъект выходит за пределы простого реактивного или исчисляюще-информативного взаимодействия с окружающим миром в пространство созидания смыслов. Мифическое – это *поэтическое, включённое в повседневность*: «Мы склонны высказывать нечто такое, что не является сообщением»[14], – замечал Л. Витгенштейн. При этом речь может *выглядеть* как прозаическое сообщение. Это происходит, когда высказывание не обращено ни к себе, ни к другому, а является изъявлением, обнаружением

---

[12] Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 172–173.

[13] Лотман Ю. М. Миф – имя – культура // Там же. С. 535.

[14] Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Ч. I. M., 1994. С. 184.

душевного состояния. Или когда высказывание *как будто* обращено одновременно к себе и к другому, подразумевая призыв, побуждение, но не являясь прямым приказом или командой. И эта вторая ситуация – частный случай первой: субъект речи на самом деле ничего не сообщает и ничего не приказывает, но *утверждает самого себя, ни о чём более ничего не утверждая*. Изъявлять себя и утверждать себя – совсем не то же самое, что сообщать о чём-то. Здесь нет даже сообщения о результатах интроспекции – её замещает непроизвольная манифестация «Я» и чистая, не замутненная никакими рефлексивными усложнениями максима-императив-призыв. Субъект речи не сообщает: «Я чувствую то-то» или «Я считаю, что другие, как и я сам, должны быть такими-то», – он всего лишь *это чувствует* и *таким является*, и его речь об этом *не сообщает, а произрастает на* этом чувстве и этом персональном императиве, внешне сосредоточиваясь на любой теме или предмете. В этом смысле язык мифа – язык не направленного вовне сообщения, а сконцентрированного на субъекте речи само-утверждения. С помощью речи субъект делает более прозрачными для себя *собственные* максимы и практические (экзистенциально-этические) константы. Он осуществляет «поэтическое действие»[15]

Мифическое присутствует там, где происходит подразумевание и над речью непроизвольно надстраивается личностное этико-экзистенциальное самовыражение; тогда речь может быть квалифицирована как мифическая (как «мифология»). Идея о «надстроечном» характере мифического была заложена в концепции Р. Барта (1915–1980) и в его семиологическом подходе, так и не освободившемся, правда, от примеси оценочного и истинностного разоблачительства. Понимание мифического как «отрешённой» речи, пронизывающей повседневность, разрабатывалось и А. Ф. Лосевым (1893–1988).

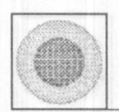
Требование «изучать миф мифически», выдвинутое А. Ф. Лосевым, означало: «изучать *мифическое в мифе*», не соблазняясь речевым материалом. Мифическая речь, что бы ни выдвигалось в качестве её внешнего предмета или темы, ведётся исключительно о самом субъекте мифоговорения, постоянно имея в виду соотнесенность вещей и событий, о которых создан мифический сказ с его личностным бытием. Миф есть личностная форма, он есть «в словах данная чудесная личностная история»[16]. При этом «по факту, по своему реальному существованию действительность остается в мифе *тою же самою, что и в обычной жизни*, и только меняется её смысл и идея»[17].

---

[15] В этом смысле истолкование термина ποίησις как про-из-ведения (выведения в область явленного) вполне приложимо к отношению между личностью субъекта и его поэтической речью. См.: Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 224.

[16] Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 169.

[17] Там же. С. 63, 65.



Мифическое мировосприятие эгоцентрично; оно озабочено отысканием верных максим поведения, и событийно-вещная реальность здесь средство, а не цель: в ней читаются императивные, экзистенциальные *намёки*. Знание о реальности драматизируется и персонализируется – мифотворец ощущает себя центром событийной коллизии, которую сам и сценарирует, исходя из любого событийного багажа (обыденно-вещного, биографического, исторического). Выходя за пределы дихотомии истина/ложь, мифическая речь предстаёт как действие-самопрезентация, конструирование «автобиографической драмы»[18]. Поэтому характеристики мифической речи вторичны, мифичность способна существовать в минимальных речевых конструкциях; миф-сказ может быть сколь угодно «свёрнут», не достигая уровня повествования, собственно рассказа. И предметность мифа безгранична: всё может быть мифически осмыслено, хотя не всё является мифическим в данный момент для конкретного субъекта. Мифично то, с чем возможен смысловой «диалог». На устоявшемся философском языке это обозначается термином «символизация». Усматривать в чём-либо символы и рассказывать об этом мифы (символические сказы) – значит создавать, домысливать вокруг себя «неравнодушную» реальность, но не значит изучать (исследовать) реальность или сообщать о ней.

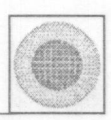
Роль мифической речи заключается не в информировании и поставлении сведений. Миф не замещает собой науку, не является и прото- или паранаукой. Мифические сказы напоминают об образе действия и о мировоззренческих константах лица, а не удовлетворяют исследовательский интерес к окружающей действительности. Только по видимости будучи захвачен внешним предметом, мифический рассказ говорит (свидетельствует) о личности мифического субъекта, попутно *пред*-ставляя ту или иную вещь, воспринимаемую субъектом говорения как символ, знамение, знак императива.

Свершалось ли событие, о котором ведётся мифическая речь, происходило ли оно так или иначе, было ли оно в действительности или только мнимо, – не имеет значения. Мифическое говорение располагается вне спора о достоверности и недостоверности. Их установление ничего не прибавляет к мифу и ничего не отнимает от него. Задача мифа-сказа формальна, а не содержательна. Предмет рассказа, лежащий на поверхности, – только *субстрат мифической субъектности*. Для субъекта мифического рассказа важна не истинность факта, а то, что этот факт включён в его жизненный мир.

Но здесь нам открываются и границы возможного при исследовании мифологий. Развернуть подразумеваемое смысловое содержание мифического сказа означает реконструировать субъективное, личное восприятие смысла, возникающее в процессе создания и рецита-

---

[18] Okpewho I. Oral Tradition: Do Storytellers Lie? // Journal of Folklore Research. 2003. Vol. 40. № 3. Department of Folklore and Ethnomusicology, Indiana University, 2003. P. 227–228.



ции мифа. Таким образом, любой миф является персонально-символическим сказом-интерпретацией, оспорить которую невозможно; можно только отвергнуть её в принципе, отказав мнимому мифу в статусе действительного мифа; или предложить свою, исправленную и переработанную версию, подтверждающую правильность словоупотребления, наделяющего рассказ или образ именно мифическим статусом. Но этим ли следует заниматься, исследуя мифическое? Конечно, нет. В противоположность тайлористской версии изучения мифического, сосредоточенной на мифологиях (отдельных мифических рассказах), эта линия мифоведения акцентирует внимание на том, *как возможен миф*, занимаясь вопросом об условиях осуществления и возможностях распознавания и понимания не-сообщающей речи («утверждений», в ответ на которые *неуместно* сказать ни «да», ни «нет», ни согласиться, ни опровергнуть[19]). Эта тенденция включает мифоведческие проекты в широкий методологический контекст, связывая их с проблемой познания смысла речи и действия, или речедействия[20].

Мифическое и мифология (мифическая речь) не совпадают; непосредственно дана лишь мифология, мифоговорение. Именно это создаёт методологическую трудность: что следует изучать, выстраивая исследовательские программы мифоведения? Существует альтернатива: подвергать критике (Тайлор), структурированию (Леви-Строс) или реконструкции (Хюбнер) сообщения, содержащиеся в мифологии, в её предметах, темах и сюжетах; или, пренебрегая внешней стороной мифоговорения, исследовать антропологические и культурологические основания самой мифотворческой способности, порождающей языковую игру «повседневно-поэтического действия». Первая линия мифоведения не проблематизирует процесс понимания мифологий, отождествляя их с более или менее явным и объективно-читаемым сообщением. Вторая мифоведческая традиция ставит вопрос о значении мифической речи, сопрягая её со скрытым действием символизации, или личностного смыслополагания, и подвергая сомнению сообщающий характер мифического говорения. Если первую методологическую возможность можно считать успешно и многогранно реализованной, то вторая до сих пор остаётся открытой.

---

[19] Витгенштейн Л. Лекции о религиозной вере // Вопросы философии. 1998. № 5. С. 125.

[20] Bazin J. Questions of Meaning // Anthropological Theory. Vol. 3. № 1. March, 2003. P. 416–433.



Дни науки философского факультета, Киевский университет, апрель 2008. (Личные впечатления участника и обзор секции «Теоретическая философия»)[1]

П. С. КУСЛИЙ

В Киевском государственном университете им. Тараса Шевченко 16–17 апреля этого года прошла международная научная конференция «Дни науки философского факультета-2008». Можно предположить, что такое общее название («Дни науки») конференция получила потому, что была не полностью посвящена обсуждению проблем, относящихся к области философии. Так, из 17 секций непосредственно философской проблематике было посвящено 11, 1 секция – религиоведению, 4 секции – вопросам политологии и текущей политики, и 1 секция – украиноведению. На заседаниях пяти проведенных круглых столах обсуждались вопросы, связанные с философией М. Хайдеггера, с гендерным равенством, с коммуникацией как способом формирования общностей, с перспективами развития исламского вероучения в Европе и в Украине, мировой политикой.

Помимо немалого числа представителей различных украинских высших учебных заведений на конференцию также прибыли ученые, аспиранты и студенты из России и Белоруссии, присутствие которых и придало конференции статус международной.

Что касается студентов и аспирантов, то надо сказать, их было несравнимо больше, чем профессоров, доцентов и научных сотрудников. Малый процент последних от общего числа участников, похоже, был лишь формальным препятствием, в силу которого данную конференцию нельзя было назвать студенческой. Этим, кстати, многие приехавшие российские профессора были несколько удивлены. Отдельным подтверждением ориентированности конференции на моло-

---

[1] Обзор подготовлен при поддержке гранта РГНФ № 06-03-00304а.



дых исследователей стало и то обстоятельство, что многие ученые, представлявшие Киевский университет и вынужденные по своему статусу руководить заседаниями, не выступили, или не успели выступить, с собственными докладами, т.к. пропускали вперед студентов. Кроме этого, в конце заседания каждой секции присутствующие должны были голосовать за лучший студенческий доклад, причем голосовать можно было только за выступления студентов Киевского университета. Последние, как было сказано, в случае избрания их доклада лучшим, могли рассчитывать на денежную премию от руководства факультета.

Не возникло сомнений и в том, что именно на студентов была ориентирована и приветственная речь исполняющего обязанности ректора Киевского университета, известного украинского политика В. М. Литвина, в рамках которой он, по собственному признанию, воспроизвел выступление, с которым ему предстояло спустя час выступать в расположенной неподалеку Раде. В речи Литвина, несмотря на присутствие гостей из России и общую научную, а не политическую ориентированность мероприятия, были затронуты весьма щекотливые вопросы внешней политики Украины, по которым у двух стран в настоящее время нет общей позиции. Так, выражение общей радости относительно большого числа молодых людей в зале перетекло в тезисы о самобытности украинской культуры и государственности, за которыми, в свою очередь, следовали утверждения о неизбежности и необходимости вступления Украины в НАТО. Удивительно, но речь исполняющего обязанности ректора была встречена аплодисментами практически всего зала.

Последовавшие за выступлением Литвина вступительное слово декана философского факультета члена-корреспондента НАН Украины А. Е. Конверского и доклады гостей из России профессора СПбГУ О. Е. Душина «Современная российская философская медиевистика: перспективы и стратегии развития» и профессора ИФ РАН В. В. Казютинского «Философия и космология» уже не были столь политизированы и способствовали тому, чтобы настроить участников на научную работу.

Хотелось бы также сказать о некоторых положительных и отрицательных впечатлениях, оставшихся после конференции. И те и другие по большей части происходили именно из ориентированности конференции на студентов и аспирантов. Так, к преимуществам, в первую очередь, пожалуй, следовало бы отнести открытость, демократичность, доброжелательность и непредвзятость общей атмосферы, которая всегда свойственна мероприятиям с участием молодых исследователей. Из недостатков хотелось бы упомянуть два основных: первый заключался в отсутствии регламента и элементарной упорядоченности



в очередности докладов, вопросов и дискуссий в некоторых из секций, где руководителями были сами студенты; второй, пожалуй, наиболее досадный для международной конференции, выразился несколько в «школярском» характере многих докладов. При личном общении некоторые студенты признавались, что со стороны руководства факультета им было «настоятельно рекомендовано» принять участие в конференции и выступить с докладами. Вероятно, именно это привело к тому, что многие доклады представляли собой не столько попытки сформулировать собственный тезис по какой-либо проблеме и предложить его обоснование, сколько пересказы прочитанных студентами классических философских работ или прослеживание присутствия той или иной темы в наследии изучаемого ими мыслителя. Так, в общем списке докладов по философии встречались такие названия, как «Философия Ф. Ницше», «Концепция научных революций Т. Куна», «Интуитивизм А. Бергсона», «Проблема языка в философии Х. Г. Гадамера» и т.п.

Таковы, в общем виде, личные впечатления о конференции. Что касается содержательной части обзора, то ее хотелось бы посвятить секции «Теоретическая философия (онтология, феноменология, теория познания)», в которой автору довелось принять участие. Из расширения названия секции понятно, какого рода проблематика рассматривалась в докладах. Хотелось бы также добавить, что на заседаниях секции представлялись также доклады по проблемам герменевтики и социальной эпистемологии. Содержание некоторых из них представлено ниже.

Доцент СПбГУ Е. М. Ананьева в своем докладе «О философских основаниях классической герменевтики» сформулировала утверждение о том, что общепринятое понимание эволюции гуманитарного знания является неполным, т.к. не учитывает влияние кантианства на становление герменевтики и систематическую проблему соотношения веры и разума. Для прояснения двух указанных моментов докладчица обратилась к наследию Ф. Шлейермахера, в частности к его проекту встраивания герменевтики, как частной дисциплины, в общефилософскую систему. Ананьева указала, что центральная для герменевтики проблема безусловного происходит из кантовской критики метафизики и полемики вокруг «спинозизма» Г. Э. Лессинга. Разрабатывая проблематику безусловного, Шлейермахер обратился к методологии диалектического исследования и пришел к выводу, что идея знания «не сводима к методологическому образцу научного знания». Именно здесь, по мнению Ананьевой, встает вопрос о природе веры и затруднительности рационализации данного феномена.

В докладе «Вера, знание и судьба философии» А. Н. Исаков (доцент СПбГУ) попытался предложить философское осмысление про-



блемы внутри самой западной философии, а именно проблемы соотношения философской традиции античности и христианского религиозного опыта, который первая не способна выразить. Исаков предложил историко-философский анализ, указывающий на то, что знание и вера являются двумя разноплановыми измерениями мысли в европейской философии, и сформулировал тезис, согласно которому указанную оппозицию следует дополнить еще одним измерением: отношением к языку, с одной стороны, как к логосу, а с другой – как к мифосу.

В своем докладе «Бытие и проблема обоснования знания» профессор БашГУ А. Ф. Кудряшев исследовал вопрос о природе знания и обоснования, а также о специфике их философского понимания. Отличие того, что А. Ф. Кудряшев назвал «философской проблемой обоснования знания», от аналогичной научной проблемы заключается в том, что философский анализ, в отличие от научного, обладает интегральной цельностью. Основание, которое философия предлагает знанию, заключается в единстве бытия и небытия. Исследование данного единства приводит профессора Кудряшева к выводу, что методологическое значение философской интерпретации знания и обоснования заключается в том, что она соответствует классическому образу науки, который, в свою очередь, продолжает конфликтовать с постнеклассической методологией.

Автор данного обзора выступил с докладом под названием «Функция истины», в котором предложил вариант дефляционного подхода к понятию истины, согласно которому истину не следует понимать как нечто, что предстоит открыть и что разрешит все проблемы. Вопрос о природе истины должен сводиться к анализу смысла термина «истинный». А сам по себе этот смысл является функциональным, т.е., скорее, заключается лишь в отнесении суждения (предложения, верования) к некоторому классу суждений (предложений, верований). Вопрос же о том, к какому именно классу суждений будут относиться истинные суждения (к классу суждений, соответствующих реальности, более полезных и т.д.), решается индивидуально для каждой отдельной теории.

Аспирантка Львовского университета Н. Д. Малицка в своем докладе «Интерсубъективность как основа жизненного мира в феноменологическом анализе социального мира А. Шюца» предложила эпистемологическое исследование темы повседневности. Основываясь на работах К. Вальденфельса, И. Т. Касавина и Н. М. Смирновой, она заключила, что шюцевское понимание повседневности как субстанциональной сферы реальности следует заменить на его понимание как на функциональное свойство реальности, конструируемое в сознании. Малицка утверждает, что «объективное» исследование понимаемой



в таком виде повседневности невозможно, и поэтому ее следует анализировать в терминах интерсубъективности, которая недостаточно исследована в современной философии.

В своем докладе «Два мира» к.ф.н. А. И. Швырков (СумГУ) исследовал проблему соотношения («сопряжения») внутренней субъективной реальности каждого отдельного человека и внешней объективной реальности. Швырков предложил рассмотрение возможных последствий описания единого объективного мира в терминах представлений, являющихся по своей природе более устойчивыми и независимыми, чем представления, конституирующие субъективный мир.

Среди других докладов также хотелось бы упомянуть доклад научного сотрудника НИИ Украиноведения В. М. Терлецкого «Оценка кантовского априоризма в советской философии», доцента СумГУ А. Е. Лебедя «Кое-что об определении понятия бытия» и доцента НУНГСУ (г. Ирпень) В. Г. Лавского «Феномен свободы в системе координат "добра" и "зла": философско-теологическая интерпретация», которые способствовали созданию общей научной атмосферы заседания.



Силлогистика как выражение совершенства Логоса[1]

Ю. В. ГОРБАТОВА



Красота есть лицо истины.

Дж. Маццини

Квадрат можно рассматривать как родителя всех форм визуального мира.

К. Малевич

Преподавая логику не первый год, я, как и всякий преподаватель, часто оказываюсь в роли адвоката своей науки. Студент, столкнувшись со сложным для понимания предметом, первым делом, не давая себе труда вникнуть в происходящее, переходит к нападению: «Зачем я должен изучать Ваш предмет? Как он поможет мне в профессиональной деятельности в частности и в жизни вообще?» Однозначного ответа тут нет и быть не может. Но, конечно, есть наработанные варианты объяснения, поскольку я и сама когда-то таким вопросом задавалась и другим студентам пыталась ответить на него уже обоснованно.

Конечно, помимо прямых объяснений необходимости или полезности ло-

[1] Данная статья продолжает обсуждение проблем, поставленных в статье И. А. Герасимовой «Натурфилософия античности в зеркалах науки и культуры. Математика и логика» (Эпистемология & философия науки. 2007. № 3).





гики, можно использовать косвенные способы убеждения. В первую очередь, к ним относится регулярное разъяснение насущности той или иной темы, области ее применения, круга решаемых ею задач. Не стоит дожидаться, когда об этом спросят; легче предупредить подобные вопросы подробным рассказом.

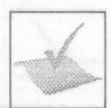
Однако и этого недостаточно. Самым действенным средством среди мне известных является заинтересованность студента непосредственно в процессе обучения. Этому способствуют разнообразные факторы: отношение самого преподавателя к излагаемой дисциплине, его же отношение к студентам и умение попасть с ними на одну волну, а также стремление сделать занятия не только полезными, но и разнообразными, а зачастую и веселыми. То, что изучалось весело, радостно, то запоминается надолго.

Собственно, все темы, которые студент обычного вуза слушает в рамках стандартного курса логики, при верной подаче самоочевидно становятся полезными в рамках любой профессиональной деятельности. Умение логически рассуждать, четко формулировать свои мысли, давать точные определения и проводить красивые и полезные классификации никому еще не вредило. Однако насыщенность и «полезность» тем все-таки разнится.

Темой, которая видится мне как безусловно полезная, является силлогистика. Силлогистика не просто самая древняя формализованная логическая теория; она является красивой, удобной и одновременно простой теорией. Выводы, осуществляемые в ее рамках, прозрачны и интуитивно ясны.

Именно с силлогистики начала когда-то свое триумфальное шествие наука логика. В далеком 4 в. до н.э. Аристотель сформулировал ее основы. Этой прекрасной логической теории без малого две с половиной тысячи лет, но и по сей день она актуальна. Ее законы просты, ее выводы часто напрашиваются сами собой. Меняется мир, меняется жизнь, умирают одни языки и рождаются другие, но силлогистика все так же естественна и так же востребована, как и в Древней Греции.

В наше время царицей наук почитается математика – строгая, четкая, ясная и без всякой психологической примеси. Философия же – наука крайне запутанная и, с точки зрения студентов, даже сомнительная во многом. Тем важнее помочь студентам увидеть ту связь, что имеется между философией и абсолютно любой наукой, даже такой «сверх-научной», как математика. Во все времена числа имеют особый, магический статус. Именно потому и в наше время математика кажется такой прекрасной и стройной, чистой и незамутненной, что ее объекты – числа – не похожи ни на какие иные объекты исследования. Тем интереснее связь между царицей нынешних наук математикой, строгой логикой и древней восхитительной философией.



Еще во времена Пифагора (6 в. до н.э.) представления о числах имели для греков сакральный оттенок. В свидетельствах древних мы читаем о Пифагоре: «Природой числа он полагает декаду, так как все эллины и все варвары считают до десяти, а дойдя до десяти, опять заворачивают к единице. А потенция десяти, говорит он, заключается в четырех и четверице, и вот почему: если начав с единицы, [последовательно] складывать числа до четырех, то получится число десять, а если перейти четверицу, то и [сумма] превысит десять. […] Поэтому монадическое число – в десяти, а согласно потенции – в четырех. Вот почему пифагорейцы клялись четверицей, почитая ее величайшей клятвой:

Нет, клянусь передавшим нашей главе четверицу,

Вечной природы исток и корень в себе содержащу»[2]

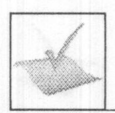
Пусть теперь уже никто не утверждает, что весь мир состоит из чисел, но традиция сохранила за многими числами определенные архетипические представления. Так, число «4» является символом устойчивости, прочности, завершенности. Четверка – это квадрат; его равные стороны, диагонали, углы завораживают совершенством и законченностью.

Число у пифагорейцев – основа мироздания, его главная и абсолютная характеристика. Макрокосм–Природа и микрокосм–Человек равно подчиняются закону чисел ведь все подлежит счету, а значит в основе всего – число. Число объединяет миры, связует элементы целого, оно – основа целостности, совмещает несовместимое: конечное и бесконечное, физику и психологию.

Подобный объединяющий принцип, на котором базируется все сущее, востребован и в современной науке и культуре. Студенту полезно увидеть связь времен, общность взглядов там, где, казалось бы, ничего общего нет. Однако под верхним культурным слоем скрываются единые источники целостности. Так логика поворачивается новой гранью – выступает в контексте целостного мировоззрения.

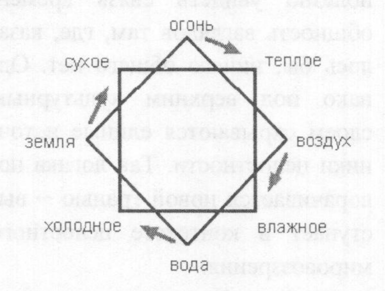
Число «4» оказалось привлекательным и для Аристотеля. Материальность и практически осязаемая устойчивость этого числа настоятельно требовали участия в устройстве мироздания. Для Аристотеля существуют именно 4 причины существования каждой вещи, а именно: форма (эйдос), материя, движение и цель. Согласно Аристотелю, все тела состоят из одного и того же вещества, но это вещество может принимать различные свойства. Этих свойств четыре (две пары): теплое–холодное; сухое–влажное. Соединяясь по два, эти свойства создают систему четырех стихий:

[2] Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989. С. 473.



огонь – сухой и теплый, воздух – влажный и теплый, вода – влажная и холодная, земля – сухая и холодная.

Используя схему, визуализируя знание, мы делаем его более доступным для восприятия. То, что кажется сложным в описании, легко запоминается в виде изображения. С одной стороны, схема упрощает восприятие, с другой – делает знание более прозрачным, придает смыслу законченную красивую форму:



В данном случае имеет место не просто квадрат или число «4». Тут мы имеем дело с четырьмя состояниями, которые, разнообразно сочетаясь, снова дают число «4», но уже на более высоком уровне. Прочно фундированное здание Космоса порождает не менее прочные последствия. Мир устойчив и гармоничен, в нем все ясно и обоснованно – нужно лишь внимательно вглядеться.

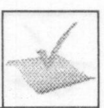
Обратимся теперь непосредственно к силлогистике. Что же мы увидим при самом поверхностном взгляде на эту, во всех отношениях удивительную, систему?

С самого начала число «4» будет сопутствовать нам при рассмотрении силлогистики. Высказывания, попадающие в рассмотрение, делятся по количеству на частные и общие (единичные – вырожденный случай общих), по качеству – на утвердительные и отрицательные. Как такое деление удивительно схоже с делением свойств вещества на пары холодное–горячее, сухое–влажное! Дальше – больше. Различные комбинации исходных видов высказываний дают опять же четыре разновидности высказываний, которыми, собственно, и будет заниматься силлогистика: общеутвердительные (*A*), общеотрицательные (*E*), частноутвердительные (*I*) и частноотрицательные (*O*)[3]. Эти четыре вида высказываний «рождаются» так же, как и четыре стихии, из которых состоит вещественный мир. Логос, мир невещественный, покоится на тех же основаниях, что и Космос – мир вещественный.

Основным способом рассуждения в силлогистике, естественно, является силлогизм. Казалось бы, его устройство должно нас разочаровать. Магия числа «4» как будто бы закончилась: посылок в силлогизме две, терминов – три. Но это только на первый, самый беглый взгляд. Три термина в двух посылках могут располагаться всего лишь четырьмя способами. Отсюда – четыре фигуры силлогизма:

---

[3] Asserit A, negat E, verum generaliter ambo; Asserit I, negat O, sed particulariter ambo. (Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. М., 1997).



1 фиг.	2 фиг.	3 фиг.	4 фиг.
M — P, S — M ⊢ S — P	P — M, S — M ⊢ S — P	M — P, M — S ⊢ S — P	P — M, M — S ⊢ S — P

Сам Аристотель описывает только первые три фигуры. Это отнюдь не означает, что он не знал о существовании четвертой. С его любовью к четверояким принципам, с его дотошностью в изучении мельчайших тонкостей любого исследуемого вопроса, Аристотель не мог не видеть, что фигур четыре. Причина отказа Аристотеля от рассмотрения IV фигуры кроется в самой фигуре, в ее «неестественности». С чем связана эта «неестественность»? Вглядимся в фигуры. Как бы ни выглядели посылки, заключение у них всегда одинаково – переход от *S* (субъекта) к *P* (предикату); от меньшего термина, минуя средний, к большему. Теперь снова посмотрим на посылки. Первая фигура является наиболее простой и прозрачной: она подводит частный случай под общее положение и с предельной ясностью демонстрирует отношения между терминами силлогизма. Гармония и безусловная красота первой фигуры очевидны: субъект заключения и в посылке выполняет функцию субъекта, предикат заключения и в посылке – предикат. Вторая и третья фигуры не столь совершенны: во второй только субъект заключения выполняет ту же функцию в посылке, в третьей – только предикат заключения оказывается предикатом и в посылке. Отсюда вытекает неестественность четвертой фигуры: субъект и предикат заключения в ней как будто «заблудились» и в посылках занимают не свойственные им места.

Сам Аристотель полагал, что «иное из существующего по своей природе таково, что не может о чем-либо сказываться, ибо каждый чувственно воспринимаемый предмет, пожалуй, таков, что не может в чем-либо сказываться, разве что привходящим образом. Говорим же мы иногда, что [...] то, что идет к нам, – Каллий»[4]. То есть, материальные объекты не могут выступать в качестве предиката заключения. Однако вот правильный силлогизм IV фигуры (модус BRAMANTIP):

Все амебы флегматичны.

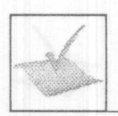
<u>Все флегматики миролюбивы.</u>

Некоторые миролюбивые существа – амебы.

Умозаключение всем хорошо, но вывод режет слух своей неесте-

[4] Аристотель. Первая аналитика. 27, 30 // Аристотель. Собрание соч.: В 4-х т. Т. 2. М., 1978. С. 174.

Мастер-класс преподавателя



ственностью. Ведь куда как естественней звучит заключение «Некоторые амебы миролюбивы». То есть налицо ситуация, когда обращение вывода лучше самого вывода. Действительно, мы имеем полное право получить и такое заключение. Однако получим мы его уже не по четвертой, а по первой фигуре (модус BARBARI).

Понятно, что если правильные модусы четвертой фигуры так легко преобразуются в правильные модусы первой, возникает искушение от четвертой отказаться. С другой стороны, как известно, правильные модусы второй и третьей фигур тоже посредством обращения можно свести к правильным модусам первой, за что последние и получили название «совершенных». Тем не менее от второй и третьей фигур Аристотель не отрекается. Некоторая неестественность в выводах по четвертой фигуре, безусловно, имеет место, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, – фигур, тем не менее, все равно четыре.

Правила фигур, которые сформулировал еще Аристотель, укладываются в подобное представление о фигурах. Правила первой фигуры: 1) Большая посылка должна быть общей; 2) Меньшая посылка должна быть утвердительной. Что же происходит с ними относительно второй и третьей фигур? Они «распределяются» по этим фигурам и мы снова встречаемся с ними. Правила второй фигуры: 1) Большая посылка должна быть общей; 2) Одна из посылок должна быть отрицательной. Первое правило соответствует первому правилу первой фигуры. Правила третьей фигуры: 1) Меньшая посылка должна быть утвердительной; 2) Заключение должно быть частным. Первое правило соответствует второму правилу первой фигуры. Это разделение правил приводит к «разделению» заключений. По второй фигуре можно получать только отрицательные заключения, по третьей – только частные. Правила же четвертой фигуры являются гораздо более громоздкими, чем правила трех первых фигур. Но и в них можно обнаружить некоторые связи с правилами других фигур. Взглянем на первое правило четвертой фигуры: «Если одна из посылок отрицательная, то большая должна быть общей». Что это, как не изящное использование правил второй фигуры? Второе правило четвертой фигуры содержит в себе сложное преобразование одного из правил третьей фигуры: «Если большая посылка утвердительная, меньшая посылка должна быть общей». Что касается третьего, последнего, правила четвертой фигуры, то оно вполне самостоятельно и аналогов у него нет: «Общий вывод может быть только при общеотрицательной меньшей посылке».

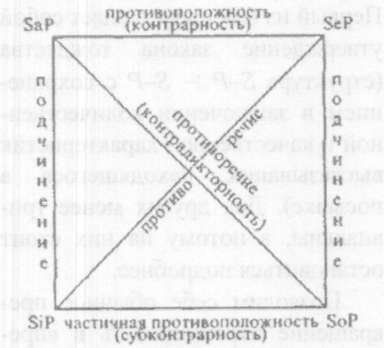
Однако встречи с числом «4» никак не исчерпываются всем вышеперечисленным. Всего существует 256 модусов силлогизма – это 4^4. Правильных модусов – 24, а это 4×6. Для каждой фигуры в отдельности правильных модусов – 6, но 4 из них – основные,



а два – вспомогательные, которые образуются за счет изменения общего заключения правильного модуса на частное того же качества.

Таким образом, все фигуры не просто обладают самостоятельным существованием, но имеют глубинные взаимосвязи, обнаружение которых приводит к лучшему пониманию связей языковых в правильных рассуждениях подобного типа.

Давайте рассмотрим теперь безусловное чудо силлогистики – логический квадрат. Это не просто мнемоническая фигура, позволяющая запомнить правильные непосредственные умозаключения сразу четырех похожих друг на друга видов. Логический квадрат – это зримое выражение самой сути силлогистики, совершенной четвероякости логоса. И, опять-таки, квадрат является визуализацией знания, что позволяет воспринимать последнее легче, а запоминать быстрее. Вот как он выглядит обычно:

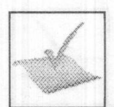


На квадрате имеют место ровно четыре вида отношений: подчинение, контрарность, субконтрарность и контрадикторность. Последняя занимает на квадрате особое место. Инверсия контрадикторных высказываний проявляется в мельчайших деталях. Общеотрицательное высказывание противоречит частноутвердительному, частноотрицательное – общеутвердительному (то есть инвертируется одновременно и качество, и количество высказывания).

Теперь о тех выводах, которые можно получить с помощью логического квадрата. При помощи квадрата запоминаются выводы четырех логических структур: $S–P \vdash S–P$; $S–P \vdash \neg S–P$; $\neg S–P \vdash S–P$; $\neg S–P \vdash \neg S–P$. Общее число правильных выводов по квадрату равняется шестнадцати, то есть 4^2. Выводов, которые можно осуществить из посылки вида «$S–P$» – восемь, то есть 4×2. Столько же (4×2=8) выводов можно сделать из посылки вида «$\neg S–P$».

По логическому квадрату из общего высказывания (все равно – утвердительного или отрицательного) можно сделать три вывода, из его отрицания – один; из частного высказывания (как утвердительного, так и отрицательного) – один вывод, из его отрицания – три. Что же мы видим? Из произвольного высказывания, вкупе с его отрицанием, по логическому квадрату мы обязательно получим четыре вывода.

Удивительна «симметричность» как самих высказываний, располагающихся на логическом квадрате, так и тех выводов, которые можно получить на их основе, как относительно вертикальной,



так и относительно горизонтальной оси.

Как похожи оказываются утвердительные и отрицательные высказывания! Снова мы перед лицом результата, приводящего нас к числу «4». Из общего высказывания – три вывода, из частного высказывания – один вывод. В сумме, конечно же, четыре. Из отрицания общего высказывания – один вывод, из отрицания частного высказывания – три. В сумме снова четыре.

Но частные и общие высказывания похожи не менее, чем утвердительные и отрицательные. Восемь (4×2) выводов из высказываний в верхней части квадрата, восемь (4×2) из высказываний в нижней.

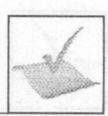
Вся позитивная силлогистика пронизана разнообразными четверками.

Помимо логического квадрата известны еще несколько видов непосредственных умозаключений. И это последнее, к чему мы обратимся в поисках логической гармонии, захватив тем самым и основы негативной силлогистики, о которой до сих пор не упоминалось.

Широко известны умозаключения следующих видов: обращение (структура *S–P* ⊢ *P–S*), превращение (структура *S–P* ⊢ *S– ~P*) и противопоставление предикату (структура *S–P* ⊢ *~P–S*). Менее известны, но используются такие виды непосредственных умозаключений, как противопоставление субъекту (структура *S–P* ⊢ *P– ~S*) и противопоставление субъекту и предикату (структура *S–P* ⊢ *~P– ~S*). Нет ли и здесь какого-нибудь результата, таящего в себе число «4»? Есть! Обращение, противопоставление субъекту, противопоставление предикату, а также противопоставление субъекту и предикату дает нам новую четверку: поменявшись местами в обращении, субъект и предикат по очереди «получают» терминное отрицание, а в противопоставлении субъекту и предикату они оба оказываются с терминным отрицанием. Эти виды умозаключений, безусловно, образуют еще одну четверку в череде уже имеющихся.

Представление непосредственных умозаключений в таком виде подсказывает вопрос: почему не использовалось превращение? Неужели в силлогистике есть умозаключение, которое имеет настолько самостоятельное значение? Ответ на этот вопрос отрицательный. Хотя в обычном случае и не принято, однако вполне возможно, ввести еще три вида непосредственных умозаключений. Первый из них представляет собой утверждение закона тождества (структура *S–P* ⊢ *S–P* с сохранением в заключении количественной и качественной характеристик высказывания, находящегося в посылке). Два других менее тривиальны, а потому на них стоит остановиться подробнее.

Позволим себе обычное превращение переименовать в «превращение предиката». Тогда новых два вида умозаключений будут носить названия «превращение субъекта» и «превращение



субъекта и предиката». Структура их окажется следующей: для превращения S – S–P ⊢ ~S–P, для превращения S и P – S–P ⊢ ~S–~P. Синтаксически такие преобразования вполне допустимы. Другое дело, что с семантической точки зрения они имеют крайне узкую область применения в силу большого количества ограничений, которые на них накладываются, чтобы между посылкой и заключением сохранялось отношение логического следования. Так, превращение S возможно только для общеотрицательных высказываний (во всех остальных случаях нарушается правило о крайних терминах), однако и в этом случае вывод возможен только при условии, что предикат не пуст. Превращение S и P возможно только для общих высказываний как результат превращения S, примененный к превращению P и опять-таки только при условии непустоты P.

И снова мы видим четверку: начав с закона тождества (оба термина на своих местах, без терминных отрицаний), переходим к превращению субъекта и превращению предиката, где, сохраняя свои исходные места, термины по очереди получают терминное отрицание. В конце концов, мы получаем превращение субъекта и предиката, где оба термина обладают терминными отрицаниями, сохраняя свои места.

Что же можно сказать о силлогистике, рассмотренной под таким углом? Аристотель, рьяный поклонник классификаций и разбиения полученной информации на категории, увидел в Космосе закономерности, подчиняющиеся принципу четвероякости. Прекрасный, гармоничный Космос насквозь пронизан удивительными соотношениями, которые можно представить в виде квадрата, законы и явления этого Космоса подчинены числу «4», что делает Космос устойчивым и совершенным. Что же Аристотель увидел в логосе? Он увидел сходство с космосом с точностью до изоморфизма. Логос – тот же Космос, он подчиняется тем же законам, он так же устроен. Логос так же прекрасен и устойчив, как Космос. Вот что такое силлогистика – подтверждение идеи тождества логоса и Космоса, их идентичности и, в силу этого, красоты.

Заметим, что сам Аристотель обнаружил далеко не все прекрасные грани алмаза, именуемого силлогистикой. Но те открытия, что были совершены после него, ничуть не противоречат идее, которую сам Аристотель искал и нашел в силлогистике: при любом повороте новая грань силлогистики так же прекрасна, совершенна и кратна четырем, как и любая другая.

Как правило, логичность понимают в следующих аспектах:

1) гносеологически – как некоторую связь понятий или высказываний между собой;

2) онтологически – как связь событий (одно за другим, одно вытекает из другого).

Но логичность можно понимать еще в одном аспекте, не



менее важном, чем два предыдущих:

3) эстетически – как структурную гармонию, нечто завершенное и потому прекрасное.

Данная работа может считаться еще одним аргументом в пользу трактовки четверки как числового архетипа греческой культуры.

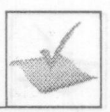
Стоит отметить, что сейчас стало модно исключать силлогистику из начального курса логики, мотивируя этот шаг погружаемостью традиционной силлогистики в логику предикатов. Считается, что силлогистика – схоластическая, устаревшая теория. Однако же логика предикатов – теория сложная. Перевод на ее язык сам по себе является задачей непростой и требующей значительных интеллектуальных затрат. Силлогистика же в чистом виде – проста. Рассуждения, относящиеся к ее сфере, даже при очень небольшом навыке, становятся заметными повсюду, в самой бытовой ситуации; применение правил осуществляется легко и непринужденно.

Силлогистика – теория, дающая студентам одно из самых ярких представлений о том, как часто мы пользуемся логикой и как важно уметь пользоваться ею правильно. Л. Кэрролл так пишет об этом: «Овладев ее методами, вы получите увлекательное развлечение, не требующее ни специальных досок, ни карт и к тому же полезное независимо от того, чем вы занимаетесь. Методы эти позволят вам обрести ясность мысли, способность находить собственное, оригинальное решение трудных задач, выработают у вас привычку к систематическому мышлению и, что особенно ценно, умение обнаруживать логические ошибки и находить изъяны и пробелы у тех, кто не пытался овладеть увлекательным искусством логики»[5].

С помощью силлогистики осознаешь, как красиво и гармонично строятся правильные рассуждения, как некрасивы и режут слух рассуждения неверные. Например, очевидно неверным кажется рассуждение «Все металлы – твердые тела. Ртуть – металл. Следовательно, ртуть – твердое тело». Удивление вызывает сам факт того, что после проверки данный силлогизм оказывается верным. Но стоит лишь приглядеться, как мы увидим, что первая его посылка – ложное высказывание, а значит и заключение может оказаться в данном случае ложным. Если же обе посылки будут истинны, то и заключение в таком силлогизме окажется непременно истинным.

С другой стороны, вполне логичным выглядит рассуждение: «Железо твердое, потому что железо – металл». Однако простейшая проверка в рамках силлогистики приводят нас к заключению, что такое рассуждение неверно, ведь латентно оно содержит предпосылку, что все металлы твердые, а это, как уже известно, не

[5] Кэрролл Л. История с узелками. М., 2001. С. 199.



верно. Такие тонкости в рассуждениях очень важно учитывать; они не бросаются в глаза, но без их понимания и навыка устранять подобные проблемы, правильно рассуждать будет попросту невозможно.

Силлогизмы, их более сложные формы – полисиллогизмы, а также их «урезанные» формы – энтимемы, очень часто встречаются в обыденной жизни. Стоит только приглядеться, как они тут же лукаво подмигивают почти из каждого рассуждения. Их первыми приметами в языке являются выражения «так как» и «потому что»; часто используемые в речи, они вызывают затруднения при анализе рассуждений.

Рассмотрим рассуждение: «Все ежики забывчивы, потому что они не помнят своего дня рождения». Где здесь посылка, а где заключение? Казалось бы, ответ очевиден, но вопрос, заданный в явной форме, ставит в тупик. Нередко можно услышать от студента ответ, что первая часть предложения – посылка, а вторая – заключение. Просто потому, что подсознательно такой порядок кажется для рассуждения естественным. Энтимема, взятая как пример, заставляет сосредоточиться и проанализировать информацию. При непродолжительном раздумье правильный ответ (первая часть предложения – заключение, вторая – посылка) кажется уже совершенно очевидным. Не менее важной является способность восстанавливать энтимему и обнаруживать сокрытую информацию. Почему ее попытались скрыть: потому, что она очевидна, или потому, что она сомнительна (ложна)? В данном случае энтимема не может быть восстановлена до правильного силлогизма, поскольку имеющаяся посылка – отрицательное высказывание, а заключение – утвердительное. Энтимема некорректна.

Навык замечать силлогизмы и его производные в речи, умение определять их корректность – серьезный вклад в будущую профессиональную деятельность студента. Развитие аналитических способностей, внимание к деталям – необходимые элементы любой работы. Опыт показывает, что наиболее продуктивными в этом отношении являются следующие виды упражнений:

1. осуществление всех возможных непосредственных умозаключений (при этом особое внимание следует уделить отрицанию высказываний);

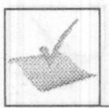
2. проверка категорических силлогизмов с помощью общих правил и правил фигур;

3. сведение модусов II–IV фигур к модусам I фигуры (используя непосредственные умозаключения);

4. логический анализ и проверка энтимем (особое внимание следует уделить разоблачению некорректных энтимем);

5. проверка полисиллогизмов и соритов (их редукция к цепочке категорических силлогизмов).

Помимо стандартных упражнений необходимо практиковать разного рода самостоятельные работы студентов: рефераты, эссе,



творческие исследования и т.д. Обсуждения полученных результатов может быть организовано в рамках студенческих конференций, круглых столов, панельных дискуссий. В качестве наиболее интересных тем можно назвать следующие:

1. Принцип простоты как выражение совершенства научной теории.

2. Естественный язык и силлогистика.

3. Проблема поиска новых эффективных мнемонических приемов.

4. Нетрадиционная силлогистика Льюиса Кэрролла.

5. Синтаксические и семантические методы проверки силлогизмов.

6. Анализ литературных произведений средствами силлогистики.

7. Онтологические, гносеологические и эстетические предпосылки силлогистики.

8. Античная силлогистика: четверка как числовой архетип греческой культуры.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на многовековую традицию преподавания силлогистики, ее методико-педагогический потенциал далеко не исчерпан. Развитие современной символической логики не только не отодвигает силлогистику на обочину педагогического процесса, но открывает ее новые и неожиданные грани.



Проблема истинности знания на современном этапе научно-технического развития

Д. А. СТЕБАКОВ

Представляется очевидным, что вопрос об истине необходимо включается в основания науки и определяет весь облик науки – от методов организации исследовательской деятельности до форм обобщенного теоретического знания; а также определяет как саму возможность, так и мощность прогностического аппарата науки.

Вместе с тем вопрос о научной истине отнюдь неоднозначен. В 20 веке наметился серьезный методологический кризис, связанный с осознанием ряда трудностей на пути обоснования научного знания как истинного. Кризис этот можно свести к кризису корреспондентной теории истины, чему есть ряд внутринаучных (ряд научных открытий, продемонстрировавших невозможность однозначного определения истинности знания) и вненаучных детерминант (включение в тело науки и техники исторически внеположенных элементов – социо-культурных целей и ценностных установок). Как следствие кризиса корреспондентной теории, многими философами подчеркивалась, и подчеркивается по сей день, необходимость иного понимания истины, либо вообще отказа от этого понятия как регулятива научного знания.

Постепенный отказ от обоснования научного знания как истинного прослеживается уже в ходе эволюции позитивизма. Во втором позитивизме часто можно встретить положение, согласно которому научная теория есть просто инструмент для предсказаний. Она, таким образом, выполняет определенную полезную функцию. Она характеризуется с точки зрения «удобства», но не истинности[1]. Подобные воззрения весьма

[1] См.: Сокулер З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001.





выражены и у постпозитивистов: конвенционализм в отношении истины Т. Куна, реляционизм П. Фейерабенда и т.п. Идея объективной истины присутствует, однако, у К. Поппера, но и у него между объективной истиной и реальностью существует фундаментальный разрыв, на что отчетливо указывает невозможность обосновать истину через ее критерии[2].

Трудности корреспондентной теории истины привели, с одной стороны, к попыткам обосновать истинность знания по-иному. Так, широко обсуждаются концепции конвенциональной истины, когерентной истины, прагматической истины, вероятностной истины и т.п. С другой стороны, названные трудности привели к идее об отказе от категории истины в философии и науке. Сторонники этой идеи делают акцент на том, что сегодня понятие истины *избыточно*, оно уже не несет никакого философского смысла и должно быть элиминировано, вычеркнуто из философского языка, либо его употребление должно значительно сузиться (дефляционные теории истины)[3].

Следует отметить, что кризис корреспондентной теории в 20 веке и утвердившийся впоследствии плюрализм в отношении истины имеют реальную базу внутри самой науки. Анализируя методологию и современное состояние ряда научных дисциплин, нетрудно заметить множество препон на пути обоснования научного знания как истинного с точки зрения корреспондентной теории.

Чтобы не быть голословным, проиллюстрирую сказанное конкретными примерами на материале двух наук о человеке, на первый взгляд совершенно различных в собственных основаниях, но обнаруживших в 20 веке серьезную методологическую связь, имеющую огромное практическое значение. Речь идет о научной (экспериментальной) психологии и медицине.

Метод эксперимента был разработан в психологии по образу и подобию эксперимента в естественнонаучных дисциплинах и выражал стремление построить психологию как объективную науку. Психологами по сей день проводится множество экспериментальных исследований, несмотря на массу серьезных возражений против эксперимента как гаранта истинности знания, некоторые из которых будут приведены ниже.

Представления об истинности знания выражаются здесь через связь категорий «реального» и «идеального эксперимента» (термин Д. Кэмпбелла)[4].

---

[2] См: Поппер К. Предположения и опровержения. М., 2004.

[3] Данилов В. Н. Дефляционные теории истины: дис. ... филос. наук. М., 2003. С. 3.

[4] См.: Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980.



Идеальный эксперимент – эксперимент, результатом которого является истинное знание об исследуемой реальности. Сам по себе эксперимент выступает в качестве абсолютно «прозрачного» звена, соединяющего реальный объект исследования и знания об этом объекте. Идеальный эксперимент – абстракция, своего рода регулирующий принцип познания, идеал, к которому необходимо стремиться в реальном эксперименте[5]. Результаты идеального эксперимента можно онтологизировать, это своего рода дань традиции классической науки. Все промежуточные звенья, вкрапленные в структуру эксперимента и включенные в схему научного познания – влияние субъекта, средств измерения, самого факта эксперимента и т.п. – выносятся в данном случае за скобки.

Реальный эксперимент есть противоположность эксперимента идеального. Объект исследования выступает здесь не отдельным элементом в рамках приборной ситуации, а всей ее структурой. Исследователь должен таким образом строить реальный эксперимент, чтобы тот максимально приближался к эксперименту идеальному: насколько это представляется возможным, элиминировать всю «нагруженность» эксперимента и сделать прозрачным звено субъекта и средств измерения с целью получения истинного знания. Но в реальной практике данный идеал недостижим, и истинность знания заменяется на его «достоверность», «соответствие».

Таким образом, истина, как идеал познания, выступает в качестве регулятивного принципа. Вместе с тем в реальной экспериментальной практике этот идеал недостижим, исследователь может к нему лишь стремиться.

Истинность получаемого в реальном эксперименте знания превращается в достоверность, выражающуюся в веротностных определениях. Речь идет о многообразии «валидностей», соответствий, достоверностей. Валидность – в общем смысле есть вероятность того, что данные, полученные в реальном эксперименте, являются истинными. Как ни парадоксально, но эта вероятность определяется при помощи других реальных экспериментов, либо методом экспертной оценки – т.е. через одобрение научным сообществом. И в целом валидность можно определить как соответствие конкретного исследования принятым стандартам.

Таким образом, знание, полученное в реальном эксперименте – это знание вероятностное и знание по соглашению. Практика эксперимента в психологии связана с максимально детализированной экспликацией всех экспериментальных процедур с целью выявления инвариантного, не имеющего отношения к влиянию внешних

[5] См.: Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб., 2001. С. 85.



факторов, содержания. В этом выражается неклассический (постнеклассический) тип рациональности в естественнонаучной психологии: признание факта зависимости результатов эксперимента как от субъекта познания, так и от средств, им используемых. Субъект познания, средства и результат слиты в единую триаду. Инвариантным же элементом естественнонаучной психологии и критерием достоверности знания является сам метод эксперимента, процедура которого, однако, также может быть скорректирована либо изменена научным сообществом, т.е. форма эксперимента – это также знание по соглашению.

Множественность моделей одного и того же объекта действительности является следствием осознания многомерности изучаемых современной наукой объектов, что обусловливает необходимость междисциплинарного подхода к их изучению. Это еще больше усугубляет проблему обоснования знаний с точки зрения истины. Сказанное можно проиллюстрировать на материале современной неклассической медицины, имеющей на данном этапе развития сильные междисциплинарные связи с психологией.

В медицинской науке в настоящее время вскрывается ряд неординарных вопросов, от решения которых будет зависеть ее облик. В неклассической медицине усложняется понимание этиологии и природы заболевания. Рассмотрение болезни в качестве следствия органических нарушений уступает место различным психосоматическим концепциям. В соответствии с этим изменяется и понимание природы многих болезней, усложняется их диагностика, методы лечения претерпевают перестройку. В тело медицины, наряду с традиционно медицинскими концепциями, проникают чуждые доселе медицинскому знанию конструкты, что еще более усугубляет проблему оснований медицинской науки.

Начиная с работ З. Фрейда, в медицине была осознана сложная психосоматическая природа многих заболеваний. Медицинский анализ сосредоточился не только на изучении телесных проявлений болезни, но также на особенностях личности пациента, его жизни, на произошедших с ним событиях. Концепция болезни была дополнена психосоциальным содержанием, а методы лечения – психотерапевтическими практиками.

Современная психосоматическая медицина не представляет собой однородного явления и распадается на множество направлений, различным образом интерпретирующих природу заболеваний: характерологически ориентированные направления (Э. Кречмер, У. Шелдон, Ф. Данбар), психоаналитические концепции (З. Фрейд, В. Бройтигам, М. Шур), интегративные модели (Г. Вайнер, Т. Икскюль, У. Везиак, В. Вайцзеккер) и другие[6].

[6] См.: Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. М., 1999.



Основная предпосылка многообразия психосоматических концепций заключается в том, что о реальности психосоматических и соматопсихических влияний ученые судят по косвенным проявлениям. Эту реальность невозможно изучить объективно, увидеть непосредственно, «пощупать». Она дана нам в особенностях течения заболевания, симптоматики, в отчетах пациентов, в причинно-следственных связях, выстраиваемых на основании анализа множества разрозненных индикаторов.

Основными методами анализа психосоматических и соматопсихических феноменов в медицинской науке и практике являются наблюдение, клиническая беседа и психологическое исследование. Данные, полученные в результате их применения, соотносятся с результатами объективных клинических методов, на основании чего формируется модель исследуемой реальности. Нетрудно заметить, что множественность моделей одного и того же объекта действительности обусловлена в данном случае самим фактом исследования, используемыми методами. Особенности психосоматической модели зависят также от преморбидных свойств личности пациентов, установок исследователя и т.д.

Познание в медицине, диагностическое мышление, опосредовано, с одной стороны, многообразием и многоуровневостью моделей изучаемой реальности, исходным знанием, «теоретической нагруженностью» сознания познающего субъекта. С другой стороны, выбор той или иной модели, особенностей диагностики и лечения, опосредован квалификацией специалиста, его когнитивно-ценностными установками. Усложнение предметной реальности медицинской науки предполагает также междисциплинарный подход, включающий ее рассмотрение сквозь призму социогуманитарных, технических, экономических и естественно-научных знаний.

Целью философско-методологического анализа, таким образом, должно стать расширение поля рефлексии над научной и практической медицинской деятельностью, что характеризует постнеклассический тип рациональности. Необходимо учитывать соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем должна эксплицироваться связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями.

В этой связи возникает серия вопросов, специфичных для науки и техники в целом. Каким образом возможно соединение научного познания и внешних для него ценностных установок? Каковы последствия этого соединения, не приведет ли оно к деформациям истины, идеологическому контролю за научной деятельностью и т.п.[7]

---

[7] См.: Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000.



Последний вопрос, на наш взгляд, является для науки особенно болезненным, поскольку без отсылки к истине как критерию (либо регулятивному принципу познания), результаты научного познания могут быть приравнены к мнению, что, в свою очередь, может привести к размыванию границ науки и породить принципиальные трудности в ее определении.

Подводя итог сказанному, повторим, что в современной науке вопрос об истинности и критериях истинности научного знания является неоднозначным и проблемным. Истина в ее классическом понимании не выдерживает критики как регулятив научного познания. Вместе с тем деструктивных последствий для прогресса науки данный факт не имеет, а проблема истинности научных знаний сравнительно редко артикулируется в научной литературе[8]. Несмотря на это, положение дел в теории истины предполагает поиск ясности и адекватных решений в философии науки относительно того, каким должно быть научное знание, и какие регулятивы опосредуют и конституируют процесс познания в науке.

---

[8] См.: Никифоров А. Л. Философия науки: история и теория. М., 2006.



Антропологический подход к определению научного творчества

А. В. ЧУХНО

Творчество обычно понимают через его результат, как создание нового: ранее не бывшего, «принципиально нового» (П. П. Гайденко), «прогрессивно нового» (А. М. Коршунов), создание оригинальных ценностей (А. С. Спирин) и другие. Подобный подход закреплен в словарях и энциклопедиях, в учебниках, учебных пособиях и учебных программах. В этом есть своя правда. Вместе с тем такой подход к определению творчества ведет к целому ряду трудностей.

Далеко не всегда ясно, что именно считать новым. Говорят же: новое – это хорошо забытое старое. Ситуация осложняется и тем, что для разных социальных групп и коллективов новое может пониматься по-разному. Новое может оказаться регрессивным, даже реакционным (с точки зрения общественных идеалов, устремленности в будущее), консервативным, антигуманистичным (например, изобретение орудий пыток, концлагерей, или технических новшеств, практикуемых террористами).

Далее. Понимание творчества как создания нового лишает возможности многие виды деятельности оценивать с позиции творческого подхода. Что нового несет, например, труд шахтера, продавца, врача, преподавателя в их обычных массовых повседневных занятиях (мы оставляем в стороне новаторов своего дела, которых единицы)?

Нам представляется более приемлемым *рассматривать творчество не с точки зрения результата труда, а, ориентируясь на сам процесс получения результата, поставить во главу не то, что достигнуто, а как оно было получено.* В таком случае ценность поступка будет определять не его объективный результат, а внутренний психологический мотив.





Соответственно выстраивается следующий план-схема, своего рода алгоритм творчества.

В исходном пункте лежит *целеполагание*, назначение которого в том, чтобы задание, проблему перевести на уровень личностного осознания, то есть принять задачу – кем бы она ни была поставлена – как свою собственную проблему. Подобная операция принципиально меняет отношение к делу. Поскольку теперь это *моя* проблема, *я* буду относиться к ней соответственно моему персональному настрою.

Однако перевод познавательной проблемы в сугубо личностный план, в русло моего *Я* не реализуется безжертвенно. Для этого требуются, как минимум, два условия: воля и вера. Творчество – это, прежде всего, территория воли. Ведь не просто преодолеть себя и сесть за письменный стол, заставить себя работать, когда вовсе нет желания этим заниматься. Многие ученые (и не только они) как раз обращали внимание на этот факт самопреодоления: пересилить момент, когда не хочется трудиться.

Вторым условием включения в творческое начинание является *вера*. Стоит лишь позволить себе усомниться в себе, в своей способности выполнить замысел, как намечаемая работа теряет всякий смысл. В таком случае вы действительно не достигнете желаемого.

Вера в такой ситуации олицетворяет собой вербально невыразимый в своих критериях взгляд на дело, полагающий достаточность внутреннего самоустройства для набросанного плана как намеченного событийного ряда собственной актуализации – проекции намерения.

После того, как целеполагание совершилось и проблема освоена как мое личное задание, творческий процесс переходит во вторую стадию – «психологическое исполнение».

Поскольку задача осознана как моя собственная, появляется интерес: а что получится? как подступиться к решению? Заинтересованность порождает увлечение делом, что перерастает во влюбленность, без которой подлинно творческое отношение к работе состояться не может. Если человек увлечен своим трудом, естественно появляется стремление сделать нечто как можно лучше, довести до совершенства. Это вносит эстетическое начало в творчество. Оно воплощается как в самом процессе творения, так и в его результатах.

Первый директор института математики Новосибирского отделения академии наук С. Л. Соболев, выступая перед научной общественностью, произнес запоминающиеся слова: «Математик – не просто тот, кто решает задачу, а тот, кто решает ее красиво».

Эстетическая составляющая творчества играет очень большую роль. Совершенство и красота сопровождают творчество на всех его этапах, отражаясь в его результатах. Нередко эстетический показатель становится кри-



терием в пользу выбора теории среди конкурирующих. Критерий красоты как «сияния истины» наиболее продуктивно применяется в математике и физике. Убедительно звучит, например, признание в том, что красота – первый пробный камень математической идеи. Как-то в тридцатые годы ушедшего века перед физиками выступал П. Дирак. У них было принято, что особо знатные гости оставляют на стене аудитории автограф с любимым выражением. Дирак написал: «Физический закон должен быть математически красив»[1].

Этап исполнения в своей высшей точке реализуется *полной самоотдачей* автора, что составляет третий этап научного поиска (как и любого поискового процесса) и характеризуется как основной закон творчества.

В литературе (философской, психологической и другой) основной закон творчества определяется следующим образом. Надо выполнять дело так, будто оно – первое и последнее в твоей жизни. То есть действовать так, словно больше уже никогда этого делать не будешь. Значит – не жалея сил, не оставляя на потом, сберегая себя. Так, например, многие ученые работали на грани изнашивания, сполна отдаваясь решению проблемы. После того, когда в 19 веке Ж. Леверье на основе расчетов был обнаружен Нептун, астроном задался целью разработать теорию движения больших планет. В этот грандиозный замысел мало кто верил: выполнение программы требовало колоссальных вычислений, причем высокой точности. Леверье провел их и достиг успеха, отдав этому упорному изнуряющему труду 28 лет жизни.

В течение шестнадцати лет Тихо де Браге, буквально заточив себя в обсерватории, систематически днем и ночью наблюдал движение Марса. На основе столь тщательно составленных таблиц И. Кеплеру удалось сформулировать закон эллиптической формы движения планет; для этого ему пришлось затратить целых девять лет, работать так, что порой утомлялся, по его собственному признанию, «до сумасшествия». Отметим попутно и то, что Кеплеру было свойственно эстетическое восприятие явлений природы. По его убеждению, геометрия – прообраз красоты мира.

По своему характеру творчество есть воспроизведение окружающей действительности. Конечно, воспроизводить мир способен любой человек. Но в высшей степени это доступно только особо выдающимся людям. И. В. Гете называл их «демоническими личностями», С. Б. Крымский использует термин «монадная личность», подразумевая характеристику лейбницевской монады как основополагающего начала сущего. Самовыражение именно такой личности способно представить окружающее творчески, то есть перевести подлинность бытия во внутренний мир

[1] Дирак П. Электроны и вакуум. М., 1937.



человека, развернуть определение внешне данного в категориях человеческой сущности, выстроить его в форме вселенской сущности творящего. Так бесконечно разнообразный мир воплощается в границах отдельного представителя человеческого рода.

Вершиной творческих отдач выступают наука и искусство, где полнее всего реализуются сущностные потенции человека.

Обращаясь к научному творчеству, мы выходим на антропный космогонический принцип. Он вошел в культуру как поиск ответа на вопрос: что такое человек, если он способен познавать окружающий мир, и что такое мир, если человек способен его понимать? Антропный принцип позволяет говорить о *взаимосогласованности природы и человека*, в их взаимной «причинности» по отношению друг к другу. Это проявляется, например, в удивительной взаимной адаптации – человек адаптирован к внешнему миру, но и внешний мир адаптирован к человеку.

Выделим два смысла антропного принципа. В соответствии со слабым смыслом, человек таков, какова природа. В сильном же варианте принципа природа такова, каков человек. В нашем участке Вселенной человек и не может быть иным, и мы являемся участником определенных закономерностей, иного же рода закономерности осуществляются вне нашего участия. Так, в земной атмосфере наличествует ровно 21% кислорода. Будь его меньше, окислительные процессы – а, значит, жизнь и человек – существовать не смогли бы. Если же кислорода имелось больше, чем 21%, все живое выгорело бы.

Следовательно, не только человек не может быть иным, но и природа не должна быть другой, иначе она не отвечала бы условиям существования человека, и в этом состоит смысл ее адаптированности к человеческому существу. Возможно, подобно тому как реализуется программа, зашифрованная кодом ДНК и определяющая этапы развития живого индивидуума, как реализуется программа эволюционного развития живой материи от примитивных организмов сквозь ее поступательный ход к завершению в человеке, – действует и программа наиболее высоких форм организации материи, устремленная к появлению таких систем, которые способны порождать мыслящие существа. А те системы, которые на это не способны, сходят с магистрального пути развития мировой Вселенной.

Таким образом, человек в актах научного творчества не просто отражает мир, а находит в нем бесконечные проявления человеческого начала.

Можно утверждать, что не только природа выступает образной моделью человека, но и человек – моделью природы. Только во втором случае требования к установлению подобия выше, чем в первом. Реализация сущностных сил в творческих



прорывах осуществляется как на родо-видовом, так и на персональном, субъективно-индивидуальном уровне, когда в ткань научного и художественного текста внедряется сугубо личностное.

Английский физико-химик М. Полани в книге «Личностное знание»[2] пишет, что в научное познание должен быть внесен страстный личный вклад исследователя. И хотя в математическом, физическом анализе это осуществимо не столь полно и зримо, то в работах гуманитарного профиля подобный путь обязателен. М. К. Мамардашвили, обращаясь к указанному сюжету, говорил, что если в процессе исследования ты пришел к результату, который исключает тебя как личность, значит исследование было проведено неправильно.

Резюмируя сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что смысл творчества не сводится к результату, который может быть ценен лишь как средство. Напротив, в процессе творчества разворачивается диалогичное самовыражение, соединяющее внутреннее слышание проблемы с подачей «собственного голоса» в бытии, в котором реализуются глубинные потенции человека.

[2] Полани М. Личностное знание. М., 1985.

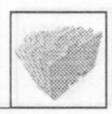
ИСТИНА ФИЛОСОФИИ И ИСТИНА НАУКИ

А. М. РУТКЕВИЧ

Доклад К. Ясперса «Философия и наука» был зачитан им в 1948 году в Базельском университете, куда он незадолго до того перешел из Гейдельберга. То, что Ясперс покинул Германию ради Швейцарии (а в дальнейшем и стал гражданином альпийской республики), связано с целым рядом обстоятельств личного характера. Достаточно указать на то, что ему было чрезвычайно трудно работать вместе с профессорами и доцентами, которые еще несколько лет назад были членами НСДАП и писали соответствующие тексты. Доклад посвящен тем проблемам, которые находились в центре внимания Ясперса в то время, когда он, будучи отставленным от преподавания в 1938 году, продолжал напряженно работать. Помимо публицистики («Вопрос о вине», новое издание «Идеи университета») в 1946 году вышло целиком переработанное и втрое увеличившееся по объему 4-е издание «Общей психопатологии»; через год выходит его фундаментальная работа «Об истине. Философская логика»; в 1948 году появляется «Философская вера», а в 1949-м – «Об истоке и цели истории». Многие современники обратили внимание на то, что в послевоенных работах Ясперса хотя и не пересмотрена экзистенциальная философия начала 30-х годов, но акценты расставлены иначе. В известной степени это относится и к его взглядам на науку и технику.

Разумеется, Ясперс никогда не был «иррационалистом» и «антисциентистом». В отличие от большинства своих коллег-философов, он не просто был хорошо знаком с научными теориями, но и сам был видным ученым. Проучившись полтора года на юридическом факультете, он закончил медицинский, а потом несколько лет занимался научной работой, защитил обе свои диссертации (Promotion, Habilitation) по психологии. Вы-

[1] Стоит отметить, что эта книга регулярно переиздается и до сих пор служит учебником для студентов-медиков.

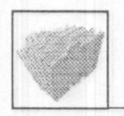


шедшая в 1913 году «Общая психопатология» была признана крупным вкладом в психологию и психиатрию[1]. Более того, уже в силу предмета своей научной работы, Ясперсу пришлось уделить значительное внимание проблемам методологии естественных и гуманитарных наук. Как его критика «мифологии мозга» (Hirnmythologie) и концепций бессознательного психического той эпохи, так и применение наработок феноменологической психологии к психиатрии доныне заслуживают внимания. Понимание наук о человеке у Ясперса сформировалось под немалым влиянием М. Вебера, которого трудно причислить к «иррационалистам». Наряду с Кьеркегором и Ницше, Ясперс всегда относил к своим «духовным отцам» и Канта, и Спинозу.

Тем не менее в послевоенных работах он куда четче, чем ранее, различает науку как таковую и выступающую как «служанка науки» философию. К последней его отношение ничуть не изменилось, и в докладе это отношение к неокантианству, феноменологии Гуссерля и особенно к логическому эмпиризму, выражено со всей возможной ясностью. Еще отчетливее выражено его неприятие марксизма, в котором ограниченная правомерность экономических теорий смешивается с претензией на тотальное знание исторического процесса, и с «экзистенциальной истиной» участника борьбы за бесклассовое коммунистическое общество. То же самое Ясперс еще в 30-е годы писал и о расовой теории, и о психоанализе[2]. В целом, его оценки марксизма и психоанализа сходны с оценками К. Поппера; если иметь в виду исключительно естествознание, представления о науке обоих этих философов окажутся чрезвычайно близкими[3]. Отличия связаны с тем, что для Ясперса изобретение какой бы то ни было «философии науки» является абсурдным занятием. Философия лежит за пределами научного познания, она и «больше», и «меньше» науки. В докладе в краткой форме изложены основные тезисы трактата «Об истине»: научная истина опирается на опыт, она принудительна, но она зависит от исторически изменчивых предпосылок, а потому сама она завтра может превратиться если не в ложь, то в полуправду и будет забыта; философская истина вневременна, безусловна для ее исповедующего, беспредпосылочна, но она связана с тем опытом, который Ясперс именовал «философской верой». Можно сказать, что Ясперс выдвигает обновленную версию

[2] Яркая критика психоанализа присутствует уже в первом издании «Общей психопатологии»: Ясперс не был противником ряда гипотез Фрейда, но не принимал как теорию инстинктов, так и всю натуралистическую мифологию тогдашнего психоанализа.

[3] Общим источником является Кант (а отчасти и неокантианство).



средневековой теории «двух истин». Кантовское различение познания и мышления (мыслить мы можем и непознаваемую вещь-в-себе) лежит в основе дистинкции науки и философии. При этом философия есть высший, в сравнении с наукой, опыт мышления: наука есть лишь одна из разновидностей применения мысли к действительности, философия соприродна человеку. Как он писал через несколько лет: «Быть человеком означает быть мысля. Мысля, понимает человек свой мир и себя самого: он пробуждается. Мысля, связывается человек со своим истоком и целостностью бытия. Философия – способ, каковым человек сознает бытие и себя самого и каковым он в целом живет, исходя из этого сознания. Поэтому философия является столь же древней, как сам человек»[4].

Главный тезис доклада Ясперса сводится к тому, что и наука, и философия требуют «чистоты». Философия помогает науке избавляться от всякого рода псевдонаучных поделок; изгоняя философию, ученые обрекают себя на то, что тайком в их труды будет проникать далеко не лучшая философия. Однако некая «царица наук» сегодня может быть только несостоятельной и пустой метафизикой. В свою очередь, философия должна отречься от прежних претензий на тотальное знание. Даже если далеко не все философы 17–18 веков соответствовали рисуемой Ясперсом картине «науки наук» (как быть с Юмом, не говоря уже о Паскале?), он ничуть не менее неопозитивистов отвергает метафизику.

Доклад был произнесен 60 лет назад. Изменилось что-либо во взаимоотношениях науки и философии? Главным изменением можно считать то, что философию еще более потеснили чрезвычайно разросшиеся науки о человеке. Специализация наук сделалась еще более глубокой. Сегодняшний ученый все больше знает о все меньшей предметной области. Если 60 лет назад средний европейский естествоиспытатель имел за спиной неплохую гуманитарную выучку в гимназии, то сегодня о Платоне и Канте он в лучшем случае что-то когда-то слышал. Иными словами, «очищение» науки от философии шло весьма успешно, но результат его вряд ли порадовал бы Ясперса. При этом большинство естествоиспытателей (да и большинство представителей социальных наук) чаще всего исповедуют ту или иную разновидность наивного реализма или материализма. Это и неудивительно, поскольку «чистая наука» в изображении Ясперса, строго говоря, невозможна. Весь корпус современного естествознания опирается на некоторое число постулатов, к которым относятся реальность

[4] Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 65.



внешнего мира, его структурность, непрерывность и т.п.[5] Научное сообщество с равнодушием относится к экзотическим для него доктринам вроде «деконструкции» или феминистской квантовой физики. Поэтому, хотя в самой философии возникали и исчезали новые разновидности сциентизма и антисциентизма, на научное сообщество эти философские дебаты не оказали сколько-нибудь серьезного воздействия.

Философия также все более «очищается» от науки, поскольку в подавляющем большинстве своем философы просто не обладают соответствующей квалификацией. Если представители американской аналитической философии нередко компетентны в тех или иных разделах психофизиологии, генетики или даже computer science, то континентальные философы иногда неплохо разбираются в теориях историков и филологов. Как всегда, имеется некоторое число шарлатанов, которые либо владеют чудесной отмычкой от всех дверей, либо соревнуются с литераторами и устроителями «инсталляций». О происходящем на отечественных просторах лучше будет и не вспоминать, поскольку к огромной части публикуемого как философские сочинения лучше всего подходит заглавие шуточной книги немецкого гуманиста: «Письма темных людей».

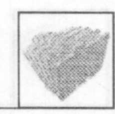
Наконец, надежда Ясперса на то, что преподающие философию в университете профессора и доценты сохранят любознательность и почтение к науке, но в то же время будут хранителями прошлого философской мудрости (или «веры»), оправдалась лишь в некоторой степени. Во-первых, ни в США, ни в Западной Европе философии практически не обучают на естественнонаучных, медицинских, инженерных и т.п. факультетах. Ее либо учили в лицее (гимназии), а потому не учат, либо не учили и не собираются учить. Она сохраняется как набор факультативных курсов, систематически ей обучают только самих философов. В США их учат презираемой Ясперсом *логистике*, в Европе – почитаемой им истории философии; в обоих случаях удается воспроизводить философскую культуру хотя бы самих философов – требовать от факультетов большего вряд ли реально. В отличие от практически всех прежних времен, философы все чаще отождествляются с «гуманитариями», т.е. с непрактичными людьми, избравшими бесперспективные антикварные профессии – их можно оставить в покое, да и в школьных учителях есть нужда. Имеющуюся потребность в политической философии удовлетворяют политологи, выучившиеся настолько, что без труда противопоставят «тоталитаризму» либеральный символ веры.

---

[5] Неплохой список таких постулатов дан в работе: Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998. С. 47–53.



Подводя итог, можно сказать, что отрекшаяся от претензий на «тотальное знание» философия все больше напоминает школы позднего эллинизма, в которых учат комментировать труды великих предшественников, а также «жизненной мудрости»; таковой может оказаться и идеологическая доктрина, и какой-нибудь модный вздор, выражающий некое «жизненное чувство». Очевидно, что Ясперс желал совсем другого. Собственно говоря, центральным можно считать следующий тезис доклада: в обозримом будущем настоящую философию будут создавать не профессора философских факультетов, а философски мыслящие ученые. Основанием технической цивилизации является наука, и до тех пор, пока характер этой цивилизации неизменен, философское знание будет выступать как составная часть научного познания. Вместе они отвечают на кантовский вопрос: «Что я могу знать?» Но так как человеческое существование не сводится к научному исследованию, на неизбежно возникающие и зачастую куда более важные вопросы («Что я должен делать?», «На что могу надеяться?» и т.п.) будет отвечать именно философия.



ФИЛОСОФИЯ И НАУКА[1]

К. ЯСПЕРС

С самого своего начала философия выступала как наука; более того – в качестве *науки* как таковой. Целью, воодушевлявшей тех, кто ей служил, было высшее и самое достоверное познание.

Вопрос о том, является ли она вообще наукой, становится понятным только с учетом развития специфически современных наук. Они развивались в 19 веке чаще всего помимо философии, иногда в оппозиции к ней, а под конец – в полном к ней равнодушии. Когда теперь от нее требуют, чтобы она была наукой, имеют в виду нечто совсем иное, чем прежде; а именно: она должна быть наукой, наподобие этих современных наук, добившихся столь убедительных достижений. Если она на это не способна, то она стала беспредметной и обречена на исчезновение.

Несколько десятилетий тому назад широкое хождение получило следующее рассуждение: философия была своевременна до тех пор, пока из нее как изначальной универсальной науки не развились все нынешние науки. Теперь же, когда все подлежащее исследованию поделено между ними, время философии истекло. Вместе с осознанием того, как науки обретают свою принудительную общезначимость, стало ясно и то, что философия не отвечает этим критериям. Она имеет дело с пустыми рассуждениями, ибо выдвигает бездоказательные предположения; она игнорирует опыт; она соблазняет иллюзиями; она отнимает силы у настоящего исследования, растрачивая их на ничтожные общие речи о целом.

Такой образ философии возник в свете науки как методичного, принудительного, общезначимого познания. Можно ли тогда вообще считать философию наукой?

На это последовали две реакции.

Для *первой* из них нападки на философию признаются правомерными. Представители филосо-

[1] K. Jaspers. Philosophie und Wissenschaft. Перевод осуществлен по изданию: Jaspers K. Ueber Bedingungen und Moeglichkeiten eines neuen Humanismus. Stuttgart: Reclam, 1951. S. 3–21.

фии должны поэтому ограничить свои задачи. Если философия подходит к своему концу (ибо она раздала все свои предметы наукам), то ей остается знание собственной истории, которая была поначалу одним из факторов истории самой науки, а затем феноменом истории духа – как история заблуждений, отклонений, как история освобождения, в котором философия сделала саму себя избыточной. Наконец, история философии хранит знания о философских текстах, а они уже как эстетически интересное явление заслуживают прочтения из-за стиля и настроя (хотя и лишены всякой научной значимости).

Другие следовали за современными науками в том отношении, что они объявляли несостоятельной всю прежнюю философию и желали основать философию как строгую науку. Так они понимали остающуюся за философией задачу, которая относится и ко всем наукам, а именно, вопросы логики и теории познания, феноменологии. Чтобы вернуть философии ее репутацию, они делали это посредством имитации и желания услужить, превращая ее в служанку науки. Она должна была с помощью теории познания обосновывать право на научную значимость; помимо этого у нее не было никаких вопросов; иначе говоря, она оставалась чем-то избыточным. Правда, как логика, она развилась в специальную науку, которая в силу всеобщности своего предмета – формы всякого правильного мышления – выступала как *mathesis universalis* и должна была занять место всей предшествующей философии. Логистику многие сегодня принимают за философию в целом.

Итогом этой первой реакции является следующее представление: философия есть одна из наук среди прочих, одна из многих дисциплин. Как и все прочие, она требует специалистов, образует свой узкий круг разбирающихся в предмете, проводит свои конгрессы и имеет свои специальные журналы.

Против этого усердного онаучивания возникла *вторая* реакция. Нападки на существо философии были отклонены уже потому, что было вообще отвергнуто притязание на научность. На деле философия не является наукой. Она основывается на чувстве и интуиции, на фантазии и гении. Она представляет собой понятийное заклинание, а не познание сущего. Она означает порыв души или зоркое видение желанной смерти. Иные шли еще дальше: философии вообще несоразмерно занятие наукой, ибо ей явственна сомнительность всякой научной истины. Современные науки в целом являются ложным путем уже в силу разрушительных последствий рациональной жизни для души и бытия вообще. Философия не есть наука – именно поэтому она несет подлинную истину.

Обе реакции – как подчинение науке, так и ее отклонение как принудительного, методического и общезначимого познания – кажутся концом философии. Будь она похвалой науке или ее отри-



цанием, в обоих случаях она уже не является философией.

Видимый триумф наук над философией на протяжении нескольких десятилетий создавал ситуацию, в которой из разных источников вновь начался поиск истинного философствования. При наличии такового можно найти ответ и на вопрос об отношении философии и науки, как по существу, так и в конкретных деталях. Это – настоящий вопрос первостепенной важности.

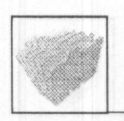
Весомость этой проблемы станет понятной, если рассмотреть ее историческое происхождение. Она возникла из запутанного сочетания трех мотивов: 1) смысла современной науки; 2) старого и все время возобновляющегося притязания философии на тотальное знание; 3) философского понятия истины, впервые обнаруженного Платоном.

Наукой как методичным познанием, являющимся принудительно точным и общезначимым, располагали уже греки. Однако современные науки не только прояснили этот основополагающий смысл всех наук (в целом решение этой задачи еще и не завершено); они по-новому сформировали и обосновали смысл, объем и единство своих исследований. Я обозначу некоторые важнейшие характеристики.

Современная наука *ни к чему не равнодушна*. Ей подходит все что угодно, было бы оно только фактичным: самое малое и самое отвратительное, самое далекое и самое чуждое. Она стала поистине универсальной. Нет ничего, что избежало бы ее взгляда. Ничто не должно остаться сокрытым, умалчиваемым, тайным.

Современная наука, по сути своей, *не завершена*. Она устремлена в бесконечное, тогда как античная наука выступала как законченная, не осознавая своего собственного фактического развития (которое, впрочем, быстро завершилось). Современная наука поняла то, что всеобъемлющая картина мира, объясняющая наличное бытие из одного или нескольких принципов, является научно невозможной. У картины мира имеются другие источники, она выдвигает свои ложные притязания на значимость только за счет ослабления научной критики и абсолютизации частного. Великие унификации той же физики, которые были недоступны для прежнего познания, улавливают лишь одну сторону действительности. В целом, она стала столь разорванной и безосновной, каковой она никогда еще не представала для сознания. Из этого следует незакрытость современного мира в отличие от греческого Космоса.

Античные науки были *оторваны* друг от друга и не имели взаимосвязи. Они были лишены идеи конкретной полноты. Напротив, современные науки ведут свой поиск во *всесторонней взаимосвязи*. Если истинная картина мира для них уже невозможна, то таковой является идея единого Космоса наук. Недостаточность каждого отдельного познания ведет к поиску связи со всем познанным.



Современные науки невысоко ценят *возможности* мысли; они придают мыслям значимость только в рамках определенного и конкретного познания, когда оно прошло проверку, а тем самым существенно видоизменилось. Так, античная и современная теории атома какое-то время совпадали – пока речь шла об общей модели. Однако античная модель была уже готовой интерпретацией возможностей, применяемой к наличному опыту посредством убедительных истолкований; современная модель представляет собой непрестанную трансформацию самой теории как инструмента исследования, взаимодействующую с опытом через проверку и опровержение.

Современные науки доходят в своих вопросах до *крайности*. Например, мышление, противопоставленное видимости, уже начиналось в античности (скажем, в понимании перспективы и применении такого понимания к астрономии), но оно еще было привязано к созерцанию; в современной физике оно решается на самые парадоксальные гипотезы, а тем самым достигает реальности, подрывающей любую замкнутую картину мира.

Наконец, все это сделало возможной ту *научную позицию*, для которой все встреченное подлежит исследованию, ясному и четкому познанию, отличению познанного от непознанного. Она привела к неслыханной полноте познаний (сколь исчезающе мало знали греческий врач или техник). У современной науки есть свой этос: на основании ничем не сдерживаемого исследования и критики достигать надежного знания. Входя в ее пространство, мы словно начинаем дышать чистым воздухом и видим, как растворяются болтовня, более или менее убедительные мнения, своенравные толкования, слепая вера.

С современной наукой встречается *второй мотив*, а именно древнейшее стремление к *философскому тотальному знанию*. Философия изначально выступала как наука, несущая знание о целом – не бесконечно прогрессирующее фактическое знание, но как завершенное учение. Начиная с *Декарта*, современная философия отождествляет себя с современной наукой, но делает это таким образом, что сохраняет древнее философское понятие науки как тотального знания. Можно было бы показать, что именно поэтому Декарт ничего не понял в современной науке (скажем, в опытах *Галилея*), а то, что он сам делал, имело мало общего по смыслу с современной наукой, несмотря на то что он, будучи одаренным математиком, способствовал развитию этой науки. Последующие философы (в какой-то степени даже *Кант*) оставались пленниками этой доктрины тотальной науки. *Гегель* еще мог считать, что он создает подлинную науку о целом, и все науки занимают свое место в его космосе духа.

Такое отождествление современной науки и новейшей философии с ее старыми притязаниями на тотальное знание было прокля-



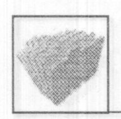
тием для обеих. Современные науки, в силу самообмана видевшие в великих философских системах 17 века и некоторых последующих опоры собственного здания, были загрязнены притязанием на абсолютное знание. У философии Нового времени, впрочем, было свое величие, поскольку, даже пребывая в этом состоянии самообмана, она была способна на творчество.

Наконец, *третий мотив*. Ни современное понятие науки, ни ее понимание как философского тотального знания в рамках системы, не совпадают с собственно философским пониманием науки, которое непревзойденным образом дал уже Платон. Сколь отлична эта истина, явленная Платоном в метафоре пещеры и затронутая в игре его диалектики – истина, которая касается бытия и того, что выше всякого бытия, – от истины наук, всегда имеющих дело только с явлениями сущего и не достигающих бытия. Сколь она отлична и от истины систем, полагающих, что они имеют в своем владении бытие в целом. Как далеки друг от друга истина, которую никак нельзя записать, которая хотя и открывается мысли (как мы читаем с седьмом письме Платона), но возгорается только в коммуникации между понимающими, и записанная истина, принудительная, общепонятная, обособленная и стоящая перед всяким разумным существом!

Три столь различных понятия науки – современной науки, философского тотального знания, проявляющейся в мышлении истины веры (учение Платона может служить примером) – теперь совмещаются, что ведет к сегодняшней путанице. Приведем один пример.

Постановка экономических вопросов и исследования в этой области сделали *марксизм* важным моментом развития науки. Но это он разделяет с рядом иных учений, и это не исчерпывает его влияния. Скорее, оно связано с философско-историческим тезисом о диалектическом ходе истории как тотальности, которая полагается прозрачной от начала и до конца. Так что марксизм выступает как философская доктрина, но с претензией на научную общезначимость. По способу мышления он тождествен философии Гегеля, понятийный метод которого остается орудием марксизма. Отличие лишь в том, что ядро исторического процесса полагается Гегелем в том, что он именует «идей», тогда как у Маркса это – способ производства человека, который, в отличие от животных, получает средства поддержания жизни посредством планомерного труда. Оба философа – как Гегель, так и Маркс – выводят из того, что для них предстают как такое ядро все явления. Поэтому Маркс по праву говорил, что поставил Гегеля с головы на ноги; но это касается содержания, тогда как гегелевский метод конструирования действительности посредством понятийной диалектики не был им оставлен.

То, что экономическое знание, сделавшееся научным, а потому частным и пребывающем в постоянном изменении, было отождествлено с диалектическим познани-



ем тотального процесса, полагаемым основополагающим и окончательным познанием, вело к той же самой ошибке, которая имелась у Гегеля (а в иных разновидностях присутствовала в философии Нового времени, начиная с Декарта); она была повторена Марксом. Происхождение абсолютного, исключительного притязания марксистов лежит в философии, понятой как система тотального знания, выступающего одновременно как результат современной науки, из которой такое притязание совсем не следует.

Но с этими двумя моментами соединяется третий: порыв к абсолютному, переполняющая стремления и чаяния человека истина – аналогичная платоновской, пусть и совсем иного характера. Она понимается как истинное сознание бесклассового человека. Лишь эта убежденность веры способствует современному фанатизму, ссылающемуся не на веру, но на науку, обвиняющая противников либо в глупости, либо в злой воле, либо в непреодолимой зависимости от своего класса. Им противопоставляется единственная и чистая человеческая истина, которая не привязана ни к какому классу, а потому абсолютна.

Сходные способы мышления, в которых некритически абсолютизируется ограниченно осмысленный научный поиск, превращаемый в тотальное знание, а затем и в веру, обнаруживаются в расовой теории, психоанализе и во многих других случаях.

Вследствие такого смешения разнородного в большом происходит то же, что случается и в малости повседневного: позиция всезнайства, довольствование внешней убедительностью, упрямство некритичного ви́дения и предположения, неспособность к настоящему исследованию, неумение слушать, взвешивать, проверять и основательно осмыслять.

Возмущает то, что от имени науки здесь предстает именно противоположное всякой научности. Ведь наука ведет к знанию того, на каких основаниях, в каких границах, в каком смысле мы знаем. Она учит знать, сознавая тот метод, которым было получено знание. Она приносит определенность, характерной чертой которой является относительность (в силу привязанности к предпосылкам и к методам исследования).

Поэтому имеющиеся у публики представления о науке сегодня двусмысленны. Настоящая наука в любые времена, включая и нынешние, может быть сокрытой, некой явленной тайной – она явлена, поскольку доступна каждому; она таинственна, поскольку далеко не все ее действительно понимают. Тем ярче сияние подлинной, неподдельной научности, которая именно посредством критического сознания своих границ дает место всем прочим человеческим поискам истины.

К этому добавляется еще одна чудодейственная сила самой науки: с развитием науки в нее вбирается только подлинно познанное, тогда как все прочее отбрасывается посредством критики. Тем самым образуется – пока остается

свободная дискуссия – предмет, возвышающийся над теми людьми, которые являются его носителями, ибо весь объем постигнутого недоступен каждому из них по отдельности.

В ситуации спутанности понятий науки возникают три задачи, соответствующие трем указанным выше мотивам.

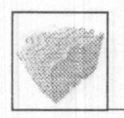
Во-первых, необходимо преодолеть выдаваемое за научное знание философское тотальное знание. Такое ложное тотальное знание критически разоблачается самими науками. Отсюда проистекает и противостояние философии, оправданное к ней презрение.

Во-вторых, необходимо достичь очищения самой науки. Эта задача исполняется только посредством практики познания и непрестанной борьбы за него. Основополагающая ясность науки и ее границы, вообще говоря, с легкостью признаются и теми, кто особенно часто нарушает и то, и другое. Речь, однако, идет о конкретном очищении каждой отдельной науки. Это осуществляется посредством критической работы самого ученого. Тому, кто желает философски установить истину научного познания, сталкивая тем самым философию и науку, следует идти за самим ученым.

В-третьих, необходимо разрабатывать философию в новых условиях, выросших вместе с современными науками. Это требуется и самим наукам. Ведь философия живет в самих науках и настолько от них неотделима, что чистоту как той, так и другой, можно достичь лишь одновременно. Отрицание философии незаметным образом способствует процветанию дурной философии. Исследователь – сознательно или не осознавая этого – философски направляет свое конкретное дело, которое он никак не может признать принудительным с научной точки зрения.

Например, мы не можем научно доказать необходимость самой науки. Направленность нашего интереса именно на этот предмет, избрание его из бесконечности сущего в качестве предмета исследования – этот выбор не имеет научного обоснования. Связующие нас друг с другом идеи входят в систематику исследования, но сами по себе они нами не исследуются.

Оставленная себе самой наука становится беспризорной. Рассудок – это шлюха, говорил *Николай Кузанский*, поскольку отдается любым вещам. Наука – это шлюха, так говорил и *Ленин*, поскольку она продается любому классовому интересу. Для Кузанца разум и, в конечном счете, богопознание придают рассудочному познанию смысл, опору и верность; для Ленина бесклассовое общество ведет к чистой науке. Чтобы убедиться в чем-то подобном, требуется философское осмысление. В самих действительно существующих науках скрывается философия как то, чем жив ученый, что придает серьезность его методичной работе и ее направляет. Тот, кто подкрепляет эту направленность рефлексией и самосознанием, философствует уже очевидным обра-



зом. Без такой направленности наука предается бесконечности произвольно избранного, равнодушной правильности, бессмысленной суете и готовности услужить.

Чистота науки требует чистоты философии.

Но как философия может стать чистой? Разве она не считает саму себя наукой и не стремится быть ею? Наш ответ таков: она есть «наука», но таким образом, что в смысле современного научного исследования она является и чем-то меньшим, и чем-то большим, чем наука.

Философию можно назвать наукой, поскольку *науки являются ее предпосылкой*. Не существует какой-либо значимой философии помимо наук. Осознавая собственные отличия, философия непременно связывает себя с наукой. Она не выступает против принудительности опыта. Тот, кто философствует, стремится получить опыт научных методов.

Тот, кто не получил подготовки в какой-нибудь специальной науке и не находится в постоянном контакте с научным познанием, будет и в философствовании сбиваться, представлять как законченное знание некритичные наброски. Через холод науки проходит то, что не выгорает как солома, идет ли речь о роскоши чувств и страстей или об упрямом фанатизме.

Более того, философствующего влечет к научному знанию, поскольку лишь оно дает единственный путь к подлинному незнанию. Наивысшее познание словно растет от того, что человек ищет ту границу, на которой познание останавливается, причем не ложным или временным образом, но поистине и окончательно – не из-за утраты чего бы то ни было, не от отчаяния, но означает истинное становление самого познающего. Только законченное знание делает возможным законченное незнание, только здесь происходит настоящее потрясение, в котором проявляет себя само бытие, а не только подлежащее изучению сущее.

Так как современная наука ведет к великому расколдованию мира, она пролагает и путь к созерцанию истинных глубин, подлинных тайн – только самое решительное познание выявляет всю полноту незнания.

Поэтому философия противится тем презирающим науки ложным пророкам, которые с подозрением относятся к исследованию и принимают за саму науку ее искажения, а то и делают науку («нынешнюю науку») ответственной за зло и бесчеловечность нашего времени.

Философия противостоит и псевдонаучным предрассудкам, и презрению к науке; она без всяких оговорок стоит на стороне современной науки. Наука выступает для философии как чудесный и ни с чем не сравнимый феномен, переломное событие в мировой истории; она является истоком грозных опасностей, но и еще больших шансов, будучи условием возможности человеческого достоинства. Философствующий знает, что без этой науки ничтожно и его собственное дело.

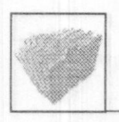


Это дело философа можно далее называть научным, поскольку философия действует *методически* и осознает свои методы. Однако эти методы, если сравнить их со всеми научными методами, отличаются уже потому, что у философии нет своего предмета исследования. Определенный предмет есть предмет специальной науки. Если я назову предметом философии целое, мир, бытие, то, как показала философская критика, эти слова уже не обозначают некий предмет. Философские методы суть методы трансцендирования предметного. Философствовать – значит трансцендировать. А это совершается, когда наше мышление не прикреплено к предметам, но снимает их движением мысли. Особого рода предметностями, выступающими как путеводные нити философского трансцендирования, являются великие творения философии. Поэтому ничем не заменимым является доносящийся до нас через тысячелетия глубокий язык метафизиков: соединение с философией в ее истоках позволяет нам понять ее не только как нечто бывшее, но и как то, что вело к нынешней жизни.

Большая часть именуемого философским знанием тех или иных предметов состоит из обособления и объективации того, что служило философу путеводной нитью, но всякий раз снималось как предметность. Когда мы думаем, что познаем нечто, обращаясь к этим предметам, это переворачивает и извращает философию – мы имеем дело с *capita mortua*, с черепами и костями великих метафизиков. Философствуя, мы не должны поддаваться тем предметностям, которыми всякий раз пользуемся. Мы должны оставаться господами собственных мыслей, а не их подданными.

В этом свойственном для нее трансцендировании, по форме мышления аналогичном науке, философия есть нечто *меньшее*, чем наука. Она не дает никакого зримого результата, никакого принудительного для всякого ума познания. Стоит иметь в виду и то, что научное познание распространяется по миру в одной и той же форме, тогда как философия – вопреки всем своим притязаниям на значимость – никоим образом и ни в одном из своих обликов не является общезначимой. Это – внешний признак своеобразного характера философской истины. Научная истина хотя и общезначима, но релятивна, зависима от методов и предпосылок; философская истина безусловна для нашедшего ее в исторической действительности, но высказывается она не общезначимым образом. Научная истина одна для всех; философская истина многообразна в своих исторических одеяниях, выявляющих ее уникальность; все эти истины правомерны, но ни одна с точностью не переводится на язык другой.

Единая философия, *philosophia perennis*, есть то, к чему стремятся все философские учения, но ни одно ею не владеет. Ей сопричастны все подлинно философствующие, однако она никогда не обретает значимой для всех



формы единственно истинного для всех здания мысли.

Тем самым философия есть не только нечто меньшее науки; она и *большее*, чем наука, а именно источник той истины, без которой не может обойтись научное принудительное знание. Подобной философии присущи такие определения: «философствование есть обучение тому, как умирать»; «оно является прорывом к божественному»; «оно есть познание бытия как бытия». Такие определения означают то, что философское мышление одновременно выступает как внутреннее действие; оно взывает к свободе; оно присягает трансценденции. Это можно сформулировать иначе: философия есть достоверность самого себя в подлинном смысле слова, мысль, присущая бесконечно просветляемой вере человека, путь внутреннего самоопределения человека посредством мышления.

Но ни одно из этих суждений не представляет собой правильной дефиниции. Не существует дефиниции философии, так как философию нельзя определить ни через что иное. Нет того рода, под который можно было бы подвести философию как вид. Философия определяет самое себя, непосредственно соотносится с божеством, обосновывает себя не полезностью. Она произрастает из того самого источника, который был дарован человеку.

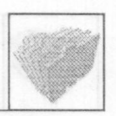
Подведу итог сказанному выше. Науки не включают в себя всю истину, но только принудительную для рассудка общезначимую правильность. Истина является объемлющей нечто большее. Она должна показать, явить себя разуму философствующего. С начала Средних веков писались философские труды, озаглавленные: «Об истине». Сегодня написание такого труда вновь стало столь же жизненно важной задачей, ибо в нынешних условиях накопленного научного знания и исторического опыта требуется ви́дение сущности истины во всем ее объеме.

Такое осмысление включает в себя и отношение между наукой и философией. Только при строгом их различении можно по-настоящему и во всей чистоте разглядеть неразрывную связь между ними.

В исследовании и обучении университет ищет практическое единство науки и философии. В университете науке всегда сопутствует мировоззрение.

Университет есть пространство, в котором встречаются все науки. Пока они просто собраны вместе, университет напоминает духовный склад товаров; стоит им собраться вместе в единство знания, и он похож на занятие тех, кто занят бесконечной постройкой храма.

Полтора века назад это казалось еще чем-то само собой разумеющимся: то, что исследователь приносит философу, развивается философом с максимально ясным сознанием. Теперь все стало иначе. Вместе со специализацией науки разбежались друг от друга. Ранее считалось, что свести вместе научные знания, сохраняя в чистоте отдельные результаты познания, способна философия.



Является ли расхождение наук последним и необходимым состоянием? Можно желать, чтобы была философия, способная переработать все созданное ранее и нести его в себе, прояснять все это и выражать – пусть в необычайно тонких мыслительных конструкциях, но в простых и находящих отклик у всякого суждениях. Однако сегодня у нас нет такой философии.

На старых университетских скипетрах 15 века помещались золотые фигурки, представлявшие, как Христос распределил обязанности по факультетам. Если бы такие скипетры были еще в ходу, то они уже не выражали бы того, что существует на самом деле, но лишь вновь и вновь указывали бы на задачу, а именно на единство знания.

Уже не теология, уже не философия образуют целое. Имеется ли сегодня вообще общий дух университета? От прежнего порядка остался некий общий и все время меняющийся план – без симметрии и без логики, без замкнутости, в постоянном расширении; все, что имеет статус науки, занимает в нем некое место. В нем встречаются самые чуждые друг другу предметы. Не располагая единством знания целого, в ситуации такой встречи каждый вынужден вглядываться в ему неведомое. Он учится тому, что даже самое чуждое его касается. Так разрастается духовная жизнь, устремленная в широту и свободу мышления. Общность духа заключается уже не в связующем содержании веры, но только в критическом поиске как таковом, в признании того, что логически или эмпирически неопровержимо, в решительном отрицании *sacrifitium intellectus*, в общении, в не знающем границ вопрошании, в добросовестности.

Этот дух есть порождение последнего столетия. Удовлетворится ли им университет на долгое время? Философии эта ситуация предоставляет необычайные возможности. Однако было бы абсурдом выдвижение некой программы для того, что возможно только как творение общего духовного мира, но не как обязанность, предписанная каждому.

Пока он верен себе, философствующий пребывает в незнании. С последним не следует путать неизбежную сегодня скромность *профессора* философии. Лучшие философы сегодня обнаруживаются, скорее, не среди тех, кто занят преподаванием философии. Ибо философия пребывает *в* науках, она охраняет их от растворения в том, что не имеет ценности знания, она воодушевляет научный поиск. Такова конкретная философия, осуществляющаяся в своей целостности в той или иной обособленной науке. Тем самым последняя способна представлять знание вообще, устанавливая связь данного предмета со всем познаваемым, находя ему тем самым глубинное основание.

Профессор философии служит этому устремлению, но он не является задающим тон вождем, а тем, кто вслушивается, учится и прослеживает значение во всей широте взаимосвязей.

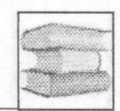
Он почитает иных великих философов, которые принадлежали к истинным творцам; таковых нет сегодня. Но он отвергает идолопоклонство, которое началось уже в школе Платона. Даже величайшие остаются людьми и ошибаются; нет того авторитета, которому следует безусловно подчиняться.

Он с почтением относится к любой науке, познание которой имеет принудительный характер. Но он отвергает гордыню науки, заявляющей, что все доступно познанию (или уже познано).

Его идеалом является разумная жизнь с другими наделенными разумом существами. Он вводит самого себя в сомнение, он жаждет спора и возражений, он готов к диалогу в безгранично углубляющейся коммуникации, в которой только и возможна истина и без которой ее просто нет.

Его надежда связана с тем, что, по мере становления разумным существом, ему будет даровано постижение того, что делает человеческую жизнь возможной, что, пока он честен с самим собой, его воля без всякого человеческого опосредования соприкоснется с трансценденцией.

Но как *учитель* философии он чувствует себя ответственным за то, чтобы не было предано забвению великое, чтобы философские методы мышления по-прежнему наставляли, а науки становились действеннее посредством философского способа мышления. Постигая наш век, вместе со своими студентами он хотел бы достичь ви́дения вечного.



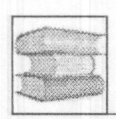
Социально-эпистемологический подход к проблемам сознания и языка

Н. А. КАЛЮЖНАЯ

В конце 20 века социальная природа познания, связанного с феноменами деятельности и общения, превратилась в одну из главных тем эпистемологии. При этом ключевая роль отводится языку как воплощению социальности. Множество фиксированных, но не всегда отрефлексированных значений, задаваемых «объективной» структурой языка, устоявшимися идиомами, метафорами, обусловливает зачастую латентную, требующую прояснения роль языка в процессе познания. Требуется экспликация скрытых языковых функций, отвечающих за специфические формы человеческого взаимодействия, особые механизмы социального поведения. Накопленный общественный опыт оказывается теснейшим образом связан с развитием конкретного языка данного этноса, социальной системы, института или субкультуры, особенности интеграции которых могут быть выявлены именно через его анализ. В этом смысле язык отражает общую модель социально-определяемой действительности, коллективные формы ее восприятия. Немалая роль отводится анализу роли языка в творческом, преобразующем процессе научного познания. Более того, проблема взаимовлияния элементов триады *язык–знание–социум* сегодня оказывается особенно актуальной в связи с развитием информационного общества, что повышает значимость именно социально-эпистемологических исследований. В них все большее внимание уделяется задачам междисциплинарной интеграции, в том числе философскому анализу социологии, психологии, лингвистики и когнитивных наук в целом. Проблемам взаимосвязи языка, знания и специфики социального в контексте современных эпистемологических дискуссий посвящена новая монография коллектива авторов, сотрудников сектора социальной эпистемологии Института философии РАН[1]. В книге представлены работы таких известных российских философов, как И. Т. Касавин, В. Н. Порус, Д. И. Дубровский, а также моло-

[1] Язык, знание, социум. Проблемы социальной эпистемологии / Под ред. И. Т. Касавина. М.: ИФ РАН, 2007. 180 с.

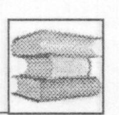




дых исследователей. Под углом вопросов, связанных с ролью языка в становлении форм сознательной деятельности, социальных отношений, с поиском методов постижения человеческой субъективности, соотнесения между собой, с одной стороны, социальных правил, культурного контекста, а с другой – смысла, интенциональности, ментальности, проанализирован целый ряд современных философских концепций (подходы С. Крипке, Х. Патнема, И. Пригожина, Н. Лумана, Д. Чалмерса, Д. Блура, К. Гирца, Д. Льюиса, Дж. Кима, К. МакГинна, Т. Берджа, Дж. Спенсера-Брауна и др.).

В методологическом введении в книгу («Предмет и методы социальной эпистемологии») И. Т. Касавин рассматривает историю становления данной дисциплины, ее предмет, методы, перспективы развития, а также прикладные возможности. Автор характеризует главную задачу социальной эпистемологии как понимание специфики социальности в контексте философского анализа знания. Предмет социальной эпистемологии – отношение знания к социальности и наоборот – анализируется через призму типологии социальности, включающей «внутреннюю», «внешнюю» и «открытую». Первый, внутренний, тип социальности представлен специфическими формами деятельности и общения. Внешняя социальность выражает зависимость пространственно-временных характеристик знания от состояния общественных систем со встроенными в них специфическими критериями его приемлемости. Открытая социальность, в свою очередь, предстает как включенность знания в культурную динамику, в культурное воспроизводство и творчество. Автор обосновывает мысль, что современную эпистемологию необходимо строить на новых основаниях, требующих снятия противоположности классического и неклассического подходов. Согласно И. Т. Касавину, постнеклассическая теория познания, сохраняющая роль философии, с одной стороны, и признающая важность междисциплинарного взаимодействия, с другой, открывает возможность синтеза разных методологических подходов, призванных способствовать развитию теоретико-познавательной дискуссии применительно к социально-эпистемологическим проблемам.

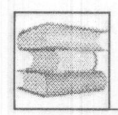
При этом авторы монографии признают, что и традиционный вопрос о предмете философии, в том числе и ее составляющей – эпистемологии, остается открытым и поныне. Перед философией всегда стояла задача осмысления той или иной реальности, но на первый план традиционно выносились проблемы человека, общества и природы, представавших в терминах так называемых культурных или природных универсалий (мир, душа, бытие, Бог), которые, однако, постепенно меняют свое содержание ввиду появления особых типов коммуникативной реальности и новых исследовательских задач. О трансформации роли философии и ее предмета рассуждает В. Н. Порус. В его статье «Философия науки: изменение контуров» анализируются актуальные проблемы философского исследования науки. Автор усматривает его уникальность в рефлексии по поводу научной



деятельности, которая не ограничивается лишь наукой как предметом изучения, но включает в себя и рассмотрение иных, внешних факторов, воздействующих на процессы научного познания, на его структуру и методы, на морально-нравственные основания и на следствия научно-технического развития для сопредельных с наукой областей. Особую роль в таком взаимовлиянии внутри- и вненаучных факторов получает сравнительно новая дисциплинарная область – синергетика, которая, по мнению автора, «не вытесняет классические идеалы научности, но требует их переосмысления».

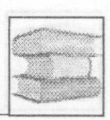
Сходные трансформации традиционной философской предметности имеют место и в философии сознания, что приводит к столкновениям среди представителей ряда признанных теоретиков в этой области и служит эвристическим импульсом к дальнейшим исследованиям. Так, Д. И. Дубровский дискутирует с Д. Чалмерсом по вопросу о сущности и роли субъективного опыта и его связи с информационными процессами, затрагивающими восприятие, мышление и поведение. Ответ на вопрос «Почему же некоторые информационные процессы не идут в темноте?» автор строит, опираясь на информационно-эволюционный подход. Д. И. Дубровский указывает на проблему, связанную с этим вопросом и представляющую большой исследовательский интерес, а именно – выяснение необходимых условий, при которых информационные процессы в головном мозгу становятся субъективно переживаемыми. Чтобы информация обрела форму субъективной реальности, необходимо, по крайней мере, двухступенчатое кодовое преобразование на уровне эгосистемы. Первое из них представляет для нее информацию как таковую (которая пребывает пока в «темноте»); второе преобразование «открывает» и тем самым актуализует ее для «самости», делает доступной для оперирования и использования в целях управления. Нейродинамическая система, которая является носителем «открытой» информации, т.е. не «идущей в темноте», представляет собой специфичный именно для эго-системы «естественный» код, как минимум, второго порядка. Развитие психики знаменует рост многоступенчатости и многоплановости производства информации об информации, что особенно ярко выступает в мышлении человека и в его языковой компетенции. В итоге Д. И. Дубровский на вопрос Д. Чалмерса дает следующий ответ: информация становится субъективно переживаемой при условии хотя бы одного цикла процесса «самоотождествления» и акта категоризации.

Остальные статьи посвящены, главным образом, вопросам философии языка. А. Ю. Антоновский («Смысл как коннективный механизм в языке, сознании и коммуникации») рассматривает проблему смысла в логике, социологии, лингвистике (семиотике) и психологии, раскрывает формы междисциплинарного синтеза, утвердившегося в ходе развития одного из влиятельных социологических подходов – теории социальных систем. Основной тезис статьи заключается в трактовке смысла как средства связи соответствующих элементов, свойственных



каждой предметной области: переживаниям в психике, коммуникациям в обществе, лингвистическим элементам (монемам, морфемам, фонемам) в семиотике. Соответственно, выделяются три вида смысла: языковой, коммуникативный и психический. Сам смысл рассматривается как механизм подсоединения (коннекции) одних элементов и исключения других; механизм, отвечающий за интеграцию коммуникаций в специфические социальные системы. Осмысленность ментальных переживаний выступает как коннективность, которая полагается в качестве основы всякой рациональности и общего критерия осмысленности. При этом А. Ю. Антоновского интересуют не столько сами коммуникативные смыслы, сколько структуры, лежащие в основании коммуникативного акта. Для понимания общей природы смысла автор предлагает обратиться к специфической «логике форм», разработанной учеником Б. Рассела, английским логиком Дж. Спенсером-Брауном. В ней формализованы и выражены аксиоматически основные эпистемические операции, составляющие основу любого познавательного процесса, задействующего смысл. Речь идет о процессах дистинкции и индикации. Смысл в общем виде выступает единством отличения и обозначения (с функцией подсоединения элементов соответствующих систем друг к другу), хотя и принимает в различных сферах и соответствующих науках специфические формы. Исследователь утверждает, что во всех науках возможна экспликация этого смысла, когда предметом дистинкций становятся сами дистинкции, а предметом обозначения становятся сами обозначения. Этот рефлексивный процесс наблюдения самих средств наблюдения или познания самих средств познания понимается как наблюдение второго порядка и обнаруживает свои проявления в каждой исследуемой сфере.

Проблема имплицитного смысла в конкретной коммуникативной ситуации в аспектах его интерпретации анализируется П. С. Куслием («Импликатура и теория интерпретации»), который, с использованием ряда примеров, показывает, что имплицируемое (второе) значение какого-либо сообщения, информации может зачастую считаться не менее, а даже более важным, чем первое, и обосновывает необходимость его исследования как одной из центральных задач теории коммуникации. В статье рассматривается проблематика теории речевых актов Дж. Остина и П. Стросона, теория импликатуры П. Грайса и некоторые современные проекты теории интерпретации имплицитных смыслов (С. Нил). Утверждается, что прагматическая теория интерпретации С. Нила предполагает возможность разработки концептуального инструмента, позволяющего установить прямую связь между сознанием говорящего и сознанием слушающего. Главным допущением этой теории является мысль о том, что имплицируемый смысл следует рассматривать как некоторую конкретную сущность, которая может быть воспринята слушающим. Проводятся параллели между проблемой интерпретации имплицитных смыслов и гипотезой о неопределенности перевода. Автор указы-

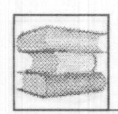


вает, что имплицируемый смысл не может быть однозначно детерминируемой сущностью, доступной для трансляции от говорящего к слушающему. Из этого делается вывод о том, что исследуемый проект теории интерпретации вряд ли может быть осуществим в силу того, что у слушающего нет иного пути, кроме как строить гипотезы относительно того, что сообщает ему говорящий.

Таким образом, П. С. Куслий полагает, что доводы о неосуществимости проекта теории однозначной интерпретации имплицируемых смыслов указывают на важную особенность природы коммуникации в целом: коммуникативную ситуацию неверно понимать как набор условий для перехода конкретных смыслов от говорящего к слушающему. Конкретных смыслов как сущностей нет, и поэтому интеракцию в коммуникативной ситуации следует рассматривать в терминах успешных и неуспешных гипотез по переводу прямых и имплицируемых смыслов.

В ряду исследований, связанных с проблемой понимания и интерпретации, находится и работа С. К. Матисова «Проблема контекста», значимость которой объясняется введением понятия контекста в устойчивый научный оборот и, вместе с тем, непроясненностью его смысла. Целью статьи является аналитический обзор существующих в западной философской и научной традиции исследовательских подходов, в рамках которых понятие контекста играет ключевую роль или является предметом анализа. Речь идет о двух основных подходах, условно обозначенных как «логико-эпистемологический» и «научно-методологический». В качестве примера первого подхода называется эпистемологический контекстуализм в аналитической философии, второго – общеметодологические исследования Дж. Геринга и ситуационные исследования (case studies) американского антрополога К. Гирца. Автор рассматривает ряд существенных характеристик понятия «контекст», что подводит к решению некоторых скептических парадоксов относительно знания об окружающем мире, а также к ответу на вопрос, каким образом возможны эпистемические суждения. С. К. Матисов считает, что в общей методологии социальных наук понятие контекста помогает выработать приемлемый критерий лучшего понятия или определения, но призывает учитывать его принципиально проблематичный характер.

Ю.С. Моркина в статье «Л. Витгенштейн – Д. Блур. Институциональная природа знания» рассматривает такие вопросы, как «интерпретация интерпретации», анализ понимания Д. Блуром, эпистемология Л. Витгенштейна. В работе показаны эпистемологические следствия развиваемой Д. Блуром концепции знания как социального института. Ю. С. Моркина отмечает, что теория значения позднего Л. Витгенштейна позволяет Д. Блуру продемонстрировать важность общественных практик и подчеркнуть их приоритет как объяснительного ресурса перед любыми индивидуальными проявлениями. Автор статьи говорит о специфичности прочтения Д. Блуром теории значения Л. Витгенштейна, анализирует следствия, выводимые им из поня-

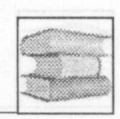


тия знания как социального института в книге «Витгенштейн: правила и институты».

Е.В.Вострикова в статье «Ментальное содержание: узкое или широкое?» рассматривает спор между интернализмом и экстернализмом в аспектах ментального содержания и анализирует вопрос о том, какие факторы – внешние или внутренние – являются определяющими для содержания сознания. Автор, обращаясь к взглядам известных представителей философии сознания (М. Даммита, Дж. Серла, Дж. Фодора, Дж. Кима, К. МакГинна, С. Крипке, Х. Патнема), показывает, что «ментальное содержание» невозможно определить в терминах философии сознания. Выдвигается тезис о том, что понятию интенциональности можно либо дать чисто метафорическое описание, либо определить его через философию языка, отождествив, таким образом, с понятием значения. В работе делается заключение, что само понятие интенциональности имплицитно предполагает определенную картину сознания, согласно которой последнее представляет собой разновидность языка мысли. Несмотря на то что многие исследователи признавали тождество понятий «ментальное содержание» и «значение», следствия этого тождества не были до конца осознаны. Автор демонстрирует, что различие между актом и объектом (или содержанием) проводится на основании структуры предложений. Ментальное содержание описывается в статье как значение выражений, следующих за выражениями типа «я считаю, что», «я верю, что», «я боюсь, что», т.е. как значение предложений в косвенных контекстах.

Что же касается спора между экстернализмом и интернализмом о значении (о том, что́ задает значение слова – сознание или внешний мир), то Е.В.Вострикова, рассмотрев основные аргументы экстерналистов и возможные ответы интерналистов, утверждает, что этот спор не может быть разрешен теми методами, которыми ведется. Участники данного спора пытаются решить проблему значения на априорных основаниях, произвольно выбирая отдельные виды факторов для объяснения работы языка, упуская из виду, что язык как реальный феномен обусловлен целым рядом предпосылок. Исследователь приходит к выводу, что для решения проблемы значения следует обратиться к изучению всего комплекса реальных механизмов функционирования языка.

В целом рецензируемая книга, авторы которой затрагивают различные аспекты исследования познания и языка, актуализирует целый ряд дискуссионных вопросов о феноменах интерпретации, контекста, значения, смысла, возможного мира и других, о понятиях, вызванных к жизни лингвистическим поворотом в западной философии 20 века и заслуживающих пристального внимания и анализа. Книга вносит вклад в прояснение сущности социально-эпистемологического подхода и одновременно показывает связь социальной эпистемологии с философией сознания и языка.



НОВЫЕ КНИГИ ПО ЭПИСТЕМОЛОГИИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ[1]

А. Ю. АНТОНОВСКИЙ

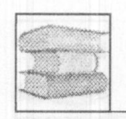
В новой немецкоязычной литературе по эпистемологии обращает на себя внимание развитие традиционных для континентальной философии проблем и подходов: о «реальности», или «действительности», того или иного объекта философского исследования («действительности мышления» у В. Хогребе, реальности массмедийных текстов у Г. Бентеле); об «условиях возможности» самого разнообразного познавательного опыта. При этом классические проблемы, например вопросы о границах познавательных способностей, получают новые формулировки, что, с одной стороны, сопряжено с развитием естественных наук, биологии, социологии и определяет мультидисциплинарный характер многих работ (книги Д. Мюллера, Й. Миттельштрасса); с другой стороны, тот же вопрос об условиях возможности познания применяется и к самым разнообразным реалиям мира человека – от веры и религиозного опыта (А. Хансбергер), до любви и интимных отношений (Р. Шиллинг).

***Hans-Jörg Rheinberger*. Historische Epistemologie zur Einführung. 160 S. Junius Verlag, 2007. ISBN-10: 388506636X**

***Ханс-Йорг Райнбергер*. Введение в историческую эпистемологию.**

Автор, профессор молекулярной биологии и директор берлинского Института истории науки имени Макса Планка, пытается расширить рамки классической теории познания, включив в нее не только рассмотрение истории научного познания, историческую трансформацию способов приобретения знания в истории науки и в различных научных дисциплинах, но также и историю самой эпистемологии как одной из научных дисцплин, соравноправной всем остальным и требующей эпистемологического изучения и сопоставления наравне с первыми. Рассматривается история наук и эпистемологии, начиная с 19 столетия и до современности.

***Martin Ebinger*. Neurophänomenologie: Ein Oxymoron als Lückenfüller. 292 S. Vdm Verlag Dr. Müller; 2007. ISBN-10: 3836447657**



Мартин Ебингер. **Нейрофеноменология: оксиморон заполняет пробел.**

В книге анализируется попытка чилийского нейрофизиолога Франциска Варелы синтезировать феноменологию и нейронауку. Последний в течение всей своей работы директором «Национального центра научных исследований» в Чили надеялся обогатить и дополнить естественнонаучные исследования исследованиями феноменологическими, стремясь при этом преодолеть гуссерлевские антинатуралистические установки. Мартин Ебингер критически рассматривает эту попытку, подробно разбирая аргументы Варелы против Гуссерля.

Wolfram Hogrebe, Jens Halfwassen, Markus Gabriel. **Die Wirklichkeit des Denkens. 101 S. Universitätsverlag Winter. 2007. ISBN-10: 3825353311**

Вольфрам Хогребе, Дженс Хальфвассен, Маркус Габриель. **Действительность мышления.**

Вольфрам Хогребе пытается разобраться с тем, что мы имеем в виду, утверждая, что мышление является реальным, по аналогии с реальностью объективных предметов вокруг нас, и реконструирует трехшаговый процесс становления этой реальности. На первом этапе *Другой* предлагает нечто для понимания и сам первоначально предстает в образе «темного Ты» – «первой загадки действительности мышления», формируя собой границы мышления, никак не прочерченные в самом объективном мире. Для истолкования и экспликации этих границ реальности мышления привлекаются тексты позднего Шеллинга, его теория суждения, согласно которой мышление не дано объективно и окончательно, а его последним прибежищем оказывается суждение об искусстве.

Günter Bentele. **Objektivität und Glaubwürdigkeit: Medienrealität rekonstruiert. 367 S. Vs Verlag. 2008. ISBN-10: 3531156373**

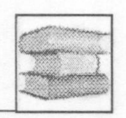
Гюнтер Бентеле. **Объективность и правдоподобность: реконструируем реальность медиа.**

Основной пафос статьи направлен на изучение теоретико-познавательных категорий *достоверности, доверия* и *веры, текста* и их реальностного содержания применительно к сфере массовых коммуникаций и масс-медиа.

Diether H. Müller. **Konflikte menschlichen Erkennens. Books on Demand GmbH. ISBN-10: 3833402806**

Дитер Мюллер. **Конфликты человеческого познания.**

В книге рассматривается классическая эпистемологическая проблема границ способностей человеческого познания. При этом автор начинает с анализа элементарных квантово-механических принципов и особенно глубоко анализирует поведение и свойства комплексных адаптивных систем в рамках их (нега) энтропийно-направленного про-



цесса возрастания комплексности. Для анализа свойств познания привлекаются данные эволюционной и генетической теорий. Во второй части автор обращается к социо-гуманитарному знанию, рассматривая специфически общественные формы развития знания и познания – искусство, экономику, политику, в свою очередь истолковываемые как комплексные адаптивные системы, обнаруживающие последние формы своей «сверхсложности» в виде так называемых «культур», сталкивающихся с миром «самим по себе», т.е. экологически понимаемой природой.

***Jürgen Mittelstraß*. Der Konstruktivismus in der Philosophie im Ausgang von Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen. 234 Seiten. Mentis-Verlag. 2008. ISBN-10: 3897855925**

***Юрген Миттельштрасс*. Конструктивизм в философии, беруций начало у Вильгельма Камлы и Пауля Лоренцена.**

Речь идет о юбилейном сборнике, изданном в честь 90-летия основателя методического конструктивизма, логика и математика Пауля Лоренцена и 100-летия ученика Хайдеггера, основателя философско-антропологического конструктивизма Вильгельма Камлы. Книга включает в себя работы из философского архива университета Констанца – как самих мэтров, так и их учеников П. Йаниха, Й. Миттельштрасса, О. Швеммера, Ф. Камбартеля, попытавшихся в рамках «эрлангенского конструктивизма» синтезировать два прежде самостоятельных направления. Автор и составитель книги Йурген Миттельштрасс – профессор университета Констанца, президент Academia Europaea (Лондон), председатель австрийского «Совета ученых».

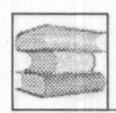
***Johann A. Schülein, Andreas Balog*. Soziologie, eine multiparadigmatische Wissenschaft. Erkenntnisnotwendigkeit oder Übergangsstadium? 240 S. Vs Verlag. 2008. ISBN-10: 3531157361.**

***Йохан Щюляйн, Антреас Балог*. Социология как мультипарадигмальная наука. Эпистемологическая необходимость или переходная стадия?**

Проблема, поставленная Йоханом Щюляйном, профессором социологии экономического университета Вены и президентом общества Зигмунда Фрейда, касается статуса и характера современного социологического знания, мультипарадигмальный характер которого, по-видимому, не дает основания говорить о его соответствии общенаучным критериям. Авторы надеются выявить некое «минимальное понимание», общее большинству социологических теорий, и на этой основе развить принципиально-единое представление об обществе, о предмете и методах социологической науки, а также о роли социологии в корпусе гуманитарно-социальных дисциплин.

***Andreas Hansberger*. Wird der Glaube durch Erfahrung gerechtfertigt?: Zum erkenntnistheoretischen Status des Gehalts religiöser Erfahrung (Münchener**





philosophische Studien). Kohlhammer. 2007. 200 S. ISBN: 317019545X

Андреас Хансбергер. **Оправдывает ли веру опыт?: К теоретико-познавательному статусу содержания религиозного опыта.**

Автор обращается к проблеме религиозных убеждений, потерявших, как он считает, характер естественно-понятной составляющей жизненного мира в условиях современного интеллектуального климата. Анализируется проблема коммуникации между верующими и секуляризированным, религиозно-критическим миром, что требует рассмотрения глубокой эпистемологической проблемы: может ли рационально ориентированный участник современного интеллектуального дискурса одновременно полагать себя верующим человеком? И здесь приходится выявлять причины и специфику «враждебности» к вере со стороны интеллектуальной установки: является ли ее причиной «неразумность», «интеллектуальная нереспектабельность», «необоснуемость» веры или что-то другое? Свой подход автор называет «теорией познания религиозных убеждений», в котором главное место отводит классическому вопросу о тех «условиях возможности», в которых религиозные убеждения на основании того или иного религиозного опыта могли бы оказаться рациональными, обоснованными или даже представать в виде специфической формы знания.

***Rainer Schilling*. Liebe als Erkenntnisweise: Aspekte der Liebe im Verhältnis zur objektivierenden Naturerkenntnis. 350 S. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 2008. ISBN-10: 3534189361.**

Райнер Шиллинг. **Любовь как способ познания: аспекты любви в отношении к объективирующему познанию природы.**

Автор рассматривает эпистемологический статус любовных переживаний и задается вопросом, являются ли они действительным познанием реального Другого, или же в них манифестируются исключительно способность к воображению. В книге подробнейшим образом рассматриваются возможности любви как способа познания, комплиментарного «объективирующему познанию природы». Проводится тщательный анализ сходств и различий обоих способов познания с привлечением данных как признанных научных дисциплин – биологии, медицины, – так и литературных произведений и работ таких авторов, как Стендаль, Клагес, Бубер.